9(37)+301(37)
У-868

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

*ИНСТИТУТ ИСТОРИИ*

С. Л. УТЧЕНКО

# ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В РИМЕ НАКАНУНЕ ПАДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

*(Из истории политических идей I в. до н. э.)*

БИБЛИОТЕКА
№ 173291

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Москва 1952

Ответственный редактор

проф. В. Н. ДЬЯКОВ

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая работа представляет собой опыт исследования политических идей и теорий периода упадка Римской республики (I в. до н. э.).

Нет нужды доказывать, что избранная эпоха представляет особый и выдающийся интерес для историка древности.

Военная диктатура в Риме, установление которой положило конец Римской рабовладельческой республике, утвердилась в результате ожесточенной классовой борьбы, в обстановке резко обострившихся социальных противоречий. Несомненно, что эти противоречия и эта борьба нашли свое отражение также и в идеологической жизни этого периода.

Проблема падения Римской республики и утверждения империи является одной из центральных проблем римской истории.

На протяжении многих десятилетий буржуазная наука пыталась дать свое объяснение и свою оценку этого исторического явления. Проблема падения республики заняла важное место также в работах советских историков древности[1].

Однако если социально-политические отношения этого периода можно считать в значительной мере изученными (хотя многие принципиальные вопросы еще не решены), то несравненно меньше внимания уделялось идеологическим процессам в жизни римского общества рассматриваемого периода. Буржуазная наука вообще оказалась не в силах дать какое-нибудь обобщающее

[1] См., например, капитальную работу Н. А. Машкина «Принципат Августа (Происхождение и социальная сущность)», М.—Л., 1949. Отдельные вопросы, связанные с общей проблемой падения республики и утверждения принципата трактуются в трудах А. В. Мишулина, С. И. Ковалева, В. С. Сергеева, В. Н. Дьякова и т. д. Из работ, вышедших в дооктябрьский период, наибольший интерес представляет исследование Р. Ю. Виппера «Очерки истории римской империи», 1908 (изд. 2, 1923).

исследование, посвященное политической идеологии римского общества [1].

Это, конечно, нельзя объяснить простой случайностью. Причина игнорирования буржуазной наукой идеологических проблем периода падения республики заключается в том, что серьезный научный анализ политической идеологии неизбежно приводит к вопросу о классовой борьбе в древности. Не увязывая идеологические явления с борьбой классов, не выводя их из фактов классовой борьбы, невозможно понять истинную их природу, дать им правильную историческую оценку и тем более невозможно систематизировать их в определенную концепцию, отражающую идеологическую жизнь эпохи. Буржуазная историческая наука, всячески стремящаяся извратить сущность классовой борьбы в античном мире, принизить ее значение, а то и вовсе исключить ее из истории человечества, оказалась не в состоянии дать правильную концепцию идеологической борьбы в древности.

Но именно по этим причинам избранная тема представляет выдающийся интерес для историка-марксиста. Вооруженный знанием законов развития человеческого общества, опирающийся на марксистско-ленинское положение о борьбе классов, как движущей силе исторического процесса, советский историк имеет все возможности подвергнуть глубокому и всестороннему анализу явления идеологической жизни, вскрыв до конца их классовую основу.

Это тем более важно, что «...общественные идеи, теории, политические учреждения, возникнув на базе назревших задач развития материальной жизни общества, развития общественного бытия,— сами воздействуют потом на общественное бытие, на материальную жизнь общества, создавая условия, необходимые для того, чтобы довести до конца разрешение назревших задач материальной жизни общества и сделать возможным дальнейшее ее развитие»[2].

В заключение следует отметить, что рассматриваемая тема представляет и специальный интерес; она может осветить сложную и не полностью еще решенную проблему исторического

---

[1] Единственной попыткой обобщающего труда является довольно широко известная работа R. P ö h l m a n n'a «Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt», 1925. (Русский перевод 1-го издания: Р. П е л ь м а н, История античного коммунизма и социализма, «Общая история европейской культуры», II, 1910.) Но, во-первых, выводы Пельмана для марксистской науки абсолютно неприемлемы, так как автор является одним из наиболее типичных представителей характерного для буржуазной науки модернизаторского направления, а во-вторых, римским политическим идеям в книге уделяется сравнительно мало внимания.

[2] «История ВКП(б). Краткий курс», 1945, стр. 112.

значения и социальной основы принципата с новой стороны — с точки зрения его идеологической подготовки.

Автор ни в коей мере не считает, что ему удалось решить эту сложную задачу. Проблема падения Римской республики и утверждения принципата, взятая хотя бы только в идеологическом аспекте, настолько грандиозна, что предлагаемое исследование нужно рассматривать лишь как попытку подойти к изучаемой проблеме. Поэтому в данной работе автор стремился установить ведущие тенденции в области идеологической борьбы, рассматривая ее как отражение социально-политических отношений эпохи.

Этим в значительной мере определяется и самое построение предлагаемой работы. Первая часть представляет собой введение, задачей которого является выяснение некоторых принципиальных вопросов общего характера. Само собой разумеется, что идеологическую жизнь любого классового общества историк-марксист не может изучать в отрыве от социально-экономической основы данного общества и конкретных явлений классовой борьбы. Следовательно, речь идет не о каком-то «имманентном развитии» идей, но об изучении развития их в живой ткани исторического процесса. Вместе с тем изучение политических идей, пожалуй, как никакая другая тема, представляет широкие возможности для выяснения взаимоотношений базиса и надстройки и активной роли надстроечных явлений, что с предельной ясностью освещено И. В. Сталиным в его гениальных работах, посвященных проблемам марксизма в языкознании.

В связи с этим исследованию политической идеологии римского рабовладельческого общества предпосылается определение некоторых особенностей его классовой структуры и основных тенденций развития социально-политической борьбы. Подобное введение тем более необходимо, что оно позволяет отказаться от эмпирически-описательного подхода к явлениям идеологической жизни и взамен этого построить определенную концепцию идейно-политической борьбы в римском рабовладельческом обществе I в. до н. э.

Вторая и третья части работы посвящены анализу ряда идеологических явлений и понятий, нашедших свое отражение в высказываниях двух наиболее ярких представителей идейно-политической борьбы этого времени — Саллюстия и Цицерона.

В конце работы в виде приложения дается перевод двух важных источников, которые в самой работе подвергаются подробному рассмотрению: писем Саллюстия к Цезарю и переписки Цицерона с Матием. Целесообразность подобного приложения обусловлена значением упомянутых источников для ряда основных положений, развиваемых в монографии.

Отдельные главы предлагаемой работы уже публиковались в нашей периодической печати. Так, главы, посвященные анализу политических воззрений Саллюстия, и глава «Учение Цицерона о смешанной форме государственного устройства и его классовая сущность» (в сильно сокращенном виде) были опубликованы в виде самостоятельных статей в «Вестнике древней истории», 1949, № 3 и 1950, № 1 и в «Известиях АН СССР, Серия истории и философии» (т. V, 1948, № 2).

# I

## Глава I

## ПОЛІΣ И CIVITAS

Издавна и вплоть до самого последнего времени буржуазная наука широко декларирует тезис о тесном родстве греческой и римской «цивилизации». Это утверждение стало своего рода отправной посылкой для подавляющего большинства буржуазных ученых, которые стремятся по возможности ярче подчеркнуть общие основы языка, греко-италийской религии, права, государственности и даже самой истории обоих народов [1]. Увлекаясь доказательством сходства, родства и единства греко-италийского мира, буржуазная наука совершенно незаконно игнорирует и оставляет в тени конкретно-исторические особенности, характеризующие как одно, так и другое общество. Все это делается с вполне определенной целью: буржуазные ученые хотят любой ценой доказать «кровное родство» и «духовную близость» этих двух народностей.

Некритическое отношение к этой традиционной для буржуазной науки точке зрения было бы серьезной ошибкой для советского историка. Советские историки не должны фетишизировать понятия «близости», «родства», «единства» греко-римского мира, не должны, удовлетворяясь подобными односторонними и общими формулами, отказываться от изучения конкретных

[1] Едва ли, конечно, можно всерьез считать позицию Моммзена в этом вопросе исключительной на том основании, что Моммзен говорит о «принципиальном» отличии римского народного характера или «духа» от греческого, наделяя первый такими свойствами, как отвлеченность религиозного сознания, неспособность к мифотворчеству и т. п. В новейшее время о необходимости подчеркивать не только общность, но и различия в греко-римском мире, писал E. Kornemann (см., например, его «Römische Geschichte», I, Sttutg., 1938 или «Staaten. Völker. Männer. Aus der Geschichte des Altertums», «Das Erbe des Alten», XXIV, Leipz., 1934), но он не вышел за пределы формальных и чисто внешних противопоставлений.

особенностей исторического развития каждого из этих обществ. Наоборот, следует обратить достаточно серьезное внимание на эти особенности, избрав их объектом самостоятельного исследования.

С другой стороны, менее всего, конечно, можно утверждать, что между греческим и римским обществом нет и ничего не может быть общего. Подобное утверждение немыслимо, но отнюдь не в силу «духовной близости» или «кровного родства» греков и римлян, а в силу того, что эти народности находились в определенный исторический период на одинаковой ступени развития производительных сил и соответствующих им производственных отношений, говоря иными словами, имели одинаковую социально-экономическую основу, т. е. принадлежали к той разновидности рабовладельческого общества, которая известна под названием античного и которая характеризуется в первую очередь тем, что именно здесь рабовладельческий способ производства достиг своего высшего развития. Но это обстоятельство отнюдь не исключает своеобразия тех путей развития, по которым шло как греческое, так и римское общество. Поэтому попытка вскрыть некоторые особенности, а иногда и довольно существенные различия, характеризующие классовую структуру, формы политической борьбы, государственные институты как греческого, так и римского общества, может оказаться плодотворной для развития нового, покоящегося на марксистско-ленинском историческом методе, представления об античном мире.

Уже исторически сложившиеся пути развития греческого полиса, с одной стороны, и италийской общины — с другой, далеко не одинаковы.

Самый процесс возникновения греческих полисов, поскольку о нем можно высказать определенное суждение (т. е. отбросив все гипотетические домыслы), представляется в этом смысле весьма симптоматичным.

На южной оконечности Балканского полуострова или на островах Эгейского моря уже довольно рано (в основном, с периода великой колонизации VIII—VI вв. до н. э.) возникают города-государства, полисы, ориентированные всем своим экономическим (и политическим!) развитием на морские торговые пути и порождающие, в свою очередь, все новые и новые города по берегам Средиземного и Черного морей.

Кстати сказать, определенная процедура, выполнявшаяся при основании колоний, дает возможность придти к некоторым ретроспективным выводам по поводу возникновения полисов и в материковой Греции. Здесь прежде всего характерно то обстоятельство, что укрепленных поселений многие греческие

племена не знали и что поэтому ранне-греческие «города» часто вовсе не имели функций укрепленных убежищ, бургов[1].

Ф. Энгельс в своей замечательной работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» говорит о возникновении государства у афинян, как о наиболее «типичном примере» и «чистом виде» образования государства из родового общества, без всякого вмешательства внешнего или внутреннего насилия, к тому же в наиболее высокой форме — в форме рабовладельческой демократии[2]. Этот процесс образования городов-государств в самых общих чертах представляется следующим: в метрополии полис обычно возникал, как это показывает гомеровский эпос, из поселений родовой знати, причем обрабатывавшие окрестные земли и более или менее задолжавшие, закабаленные крестьяне создавали материальную основу для жизни этой знати. Конечно, этот наиболее естественный путь не исключает возможности возникновения полиса и на еще необжитой территории; напротив, последний вариант имел самое широкое распространение в прибрежной полосе и при выведении колоний. Если греческие города гомеровской эпохи были обычно расположены довольно далеко от берега моря и служили местопребыванием аристократии, то позже начинают возникать прибрежные торговые поселения, превращающиеся в крупные и богатые города, в которых уже целые кварталы заселяются торговцами и ремесленниками.

В данном случае наиболее существенно то обстоятельство, что родовой поселок превратился в полис, в город-государство под влиянием развития торговли и ремесла (отделившегося от сельского хозяйства), а следовательно, и процесса возникновения классов, мощным двигателем которого было прогрессирующее имущественное расслоение общества и рост частной собственности. Процесс возникновения классов во всем его многообразии является, таким образом, главным фактором формирования рабовладельческих государств и превращения родовых поселков в полисы путем синойкизма ряда поселений.

«Государство возникло на основе раскола общества на враждебные классы, возникло для того, чтобы держать в узде эксплоатируемое большинство в интересах эксплоататорского меньшинства»[3].

Так именно и возникают прибрежные города метрополии — Коринф, Мегары, островные города типа Эретрии и Халкиды, малоазийские города — Милет, Эфес, Смирна и вообще огромное

---

[1] См. E. Kornemann, Vom antiken Staat, «Staaten. Völker. Männer», стр. 45.

[2] См. Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства в связи с исследованиями Л. Г. Моргана, 1950, стр. 123.

[3] И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11. 1939. стр. 604.

большинство греческих полисов. Другие города закономерно превращаются в прибрежные в процессе своего развития: так было, например, с Афинами, которые становятся по существу прибрежным городом вместе с развитием паралии, возникновением Пирея и других гаваней и окончательно с завершением постройки Длинных стен.

Подчиненную, но все же довольно существенную роль в развитии греческого полиса играл географический фактор.

Натуральный в своей основе характер рабовладельческого хозяйства, гористый ландшафт материковой Греции, обусловливающий ее деление на ряд географически изолированных районов, дурное состояние путей сообщения — все это вместе взятое содействовало развитию столь типичного для греческих полисов стремления к экономической и политической автаркии и столь типичного для Греции партикуляризма. Даже развивавшаяся торговля, в основном ориентированная на более доступные в силу тех же географических условий морские пути, не могла полностью разрушить этой автаркии, которая была тесно связана с самыми коренными особенностями эллинского полиса[1]. Совсем иной путь развития характерен для римского полиса. Если говорить о возникновении полиса на италийской, почве и, в частности, возникновения Рима, то следует иметь в виду что здесь в отличие от Афин и других наиболее передовых греческих полисов отнюдь не исключается не «чистый» путь образования государства, т. е. путь, связанный с применением «...внешнего или внутреннего насилия...»[2]. Необходимо в какой-то мере учесть то обстоятельство, что образование рим-

[1] Из вышесказанного уже очевидно, насколько различны пути экономического развития большинства греческих полисов и, например, насколько не похожа аграрная Спарта на торговые и ремесленные Афины. Не случайно возникал вопрос о «близости» Спарты и Рима. Действительно, есть все основания говорить об этой «близости», если под нею подразумевать тот факт, что в Риме получили развитие как раз те элементы экономических и общественных отношений, которые хотя и существовали в зачаточном состоянии в Спарте, но были вместе с тем не характерны для греческого полиса в принципе. Но этим греческим полисом «в принципе», т. е. ведущим и все шире распространяющимся, начиная с VII в. до н. э., образцом греческого города-государства были, конечно, Афины. И в данном аспекте сопоставления греческого и римского миров речь может идти только о сопоставлении Афин с Римом. Ибо, когда буржуазная наука провозглашает тезис о влиянии греческой государственности или, в особенности, греческой культуры на римскую, то всегда, прямо или косвенно, под «Грецией» подразумевается отнюдь не Спарта, но именно Афинское государство! Между тем если уж говорить о «культурном влиянии», то, конечно, следует говорить не столько о влиянии греческой или, тем более, специально афинской культуры, сколько о влиянии культуры эллинистической.

[2] См. Ф. Энгельс, Происхождение семьи..., стр. 123. Кстати, то же самое можно сказать и о возникновении Спарты (и некоторых других греческих аграрных полисов).

ского полиса, т. е. переход от первобытно-общинного строя к классовому рабовладельческому обществу, в основном, совпадает с периодом этрусского господства над Лацием.

Коренное италийское население, по преимуществу земледельческое, очевидно, долгое время не знало городов. Как и ближайшие их соседи — галлы, италийское население дробилось на округа (pagi), сложившиеся чрезвычайно рано наряду с продолжавшим существовать кровнородственным делением, жило в деревушках и лишь в моменты общей опасности сходилось в укрепленные убежища — oppida, обнесенные валом и рвом[1]. Так как стены этих убежищ были единственной защитой разрозненно живущих земледельцев, то они издавна считались священными, и недаром, согласно легенде, Рем был убит братом, когда он, издеваясь, перескочил через стену вновь основанного города.

Можно с большой долей вероятия утверждать, что civitas, соответствующая на италийской почве эллинскому полису, возникла путем объединения подобных oppida. Чрезвычайно важным моментом в образовании италийских городов — и в первую очередь у латинов — была борьба за землю, что имело ...том, в противоположность греческому партикуее развитие экспансионистской политики итаов. Конечно, территориальная экспансия была ...характерна и для греческих полисов, но опять-...ственно для полисов аграрных. В наиболее ...нских полисах относительное перенаселение ...о к выведению колоний за море, а не к захвату ...ости территорий[2].

...чае, конечно, не следует недооценивать роль ...ференциации и возникновения классов, т. е. ...н этой экспансии, в италийском обществе. ...овании римского полиса этот процесс, как ... далеко не в столь «чистом виде», как это ... несомненно, действовал и здесь, но, во-пер... аграрном обществе италиков его действие ... и не столь революционно-разрушительным, ...л осложнен и модифицирован теми «при...льствами, которые влечет за собой не «чис... государства, т. е. завоеванием, иноземсобой с соседними общинами, и т. п.

Этим и приходится ограничиться, говоря о возникновении италийского полиса, если не вступать в область гипотез. Ведь по-существу об италийском полисе известно очень мало.

---

[1] Cic., de rep., I, 24, 41.

[2] О причинах древней колонизации см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. IX, 1933, стр. 278.

исключает в рабовладельческом обществе наличия других противоречий, которые в определенные периоды развития этого общества даже могут временно выдвигаться на передний план (например, на ранних ступенях развития античного рабовладельческого общества) и которые с максимальной четкостью определены в следующих словах: «Богатые и бедные, эксплуататоры и эксплуатируемые, полноправные и бесправные, жестокая классовая борьба между ними — такова картина рабовладельческого строя»[1].

Необходимо выяснить процесс возникновения именно этих противоречий и этих классов в античном обществе. Совершенно очевидно, что в период господства первобытно-общинного строя ни классов, ни антагонистических противоречий не существовало. Однако первые более или менее достоверные исторические данные рисуют как греческое, так и римское родовое общество уже на стадии его разложения.

Если обратиться к этому периоду развития античного общества, то следует признать, что именно тогда возникают противоречия антагонистического характера и начинают складываться классы. Говоря о возникновении Афинского государства, Ф. Энгельс признает, что «...здесь государство возникает непосредственно и преимущественно из классовых антагонизмов, развивающихся внутри самого родового общества»[2].

Предпосылками возникновения общественных классов являются прежде всего рост производительности труда, создающий самую возможность отчуждения производимого продукта, а затем возникновение частной собственности, обусловливающей развитие имущественного неравенства.

Первое из указанных обстоятельств сделало возможным превращение пленника в раба с целью использования его рабочей силы. С того момента, как общины, захватывая пленных, стали превращать их в рабов, с этого момента, строго говоря, и начинается процесс разделения общества на классы — рабов и рабовладельцев. Энгельс указывает: «...военнопленных стали обращать в рабов. Первое крупное общественное разделение труда вместе с увеличением производительности труда, а следовательно, и богатства, и с расширением поля производительной деятельности, при совокупности данных исторических условий, с необходимостью влекло за собой рабство. Из первого крупного общественного разделения труда возникло и первое крупное разделение общества на два класса — господ и рабов, эксплуататоров и эксплуатируемых»[3].

---

[1] «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 120.
[2] Ф. Энгельс, Происхождение семьи..., стр. 175.
[3] Там же, стр. 166.

Второе из указанных обстоятельств приводит к тому, что внутри самой общины отдельные лица (главы выделявшихся своим имуществом семей), очевидно, в силу наследственного занятия ими общественных должностей получают возможность захватывать в частную собственность рабов, а затем (значительно позже) и землю. Но это обстоятельство означает, что, наряду с членением общества на рабов и рабовладельцев, начинает складываться и другое классовое деление: крупные землевладельцы-рабовладельцы и мелкие производители (т. е. богатеющая родовая знать и разоряющийся «простой народ»). Энгельс говорит: «Различие между богатыми и бедными выступает наряду с различием между свободными и рабами, с новым разделением труда — новое разделение общества на классы»[1].

Эти процессы шли параллельно, но, повидимому, несколько различными путями в Греции и Риме.

Для Греции они засвидетельствованы достаточно рано. С одной стороны, об эксплуатации рабского труда известно уже из Гомера[2], о применении рабского труда в хозяйстве мелкого землевладельца свидетельствует Гесиод[3], из данных Феопомпа[4] можно заключить о, видимо, весьма раннем массовом применении рабского труда на острове Хиосе. С другой стороны, относительно ранних Афин известно указание, которое считается восходящим к Аристотелю[5], о так называемой конституции Тесея, т. е. разделении всего населения Аттики на эвпатридов, геоморов и демиургов, которое Энгельс[6] рассматривает как образование привилегированного класса эвпатридов и класса мелких производителей.

Однако все эти факты еще не дают основания считать, что в тот период уже сложилось классовое общество с его основными институтами. Но вместе с тем, несомненно, это был период становления новой формации, становления, происходившего в обстановке весьма сложной борьбы: борьбы рабского способа производства с трудом мелкого свободного производителя, борьбы «богатых промышленников и купцов» с родовой знатью, наконец, борьбы разоряющегося крестьянства за землю. Только в итоге этой борьбы и уничтожения органов родового строя или превращения их в органы государственные определяется ведущий способ производства и складывается рабовладельческое общество с его четко оформившимися классами,

---

[1] Ф. Энгельс, Происхождение семьи..., стр. 169.
[2] Hom., Od., VII, 103—106; XX, 105—110; XXII, 721—723.
[3] Hes., Op. et dies, 465—471.
[4] Ath., VI, 265 b — c (со ссылкой на Феопомпа).
[5] Plut., Thes., 25 (со ссылкой на Аристотеля).
[6] См. Ф. Энгельс, Происхождение семьи..., стр. 113.

с его расстановкой классовых сил, при которой рабы и рабовладельцы уже выступают как основные классы-антагонисты [1], и, наконец, с его государственным аппаратом. В Афинах это качественное изменение происходит в период политических революций Солона и Клисфена. Энгельс, подводя итоги преобразованиям этого времени, говорит: «В какой степени сложившееся в главных своих чертах государство оказалось приспособленным к новому общественному положению афинян, свидетельствует быстрый расцвет богатства, торговли и промышленности. Классовый антагонизм, на котором покоились теперь общественные и политические учреждения, был уже не антагонизм между знатью и простым народом, а антагонизм между рабами и свободными, между неполноправными жителями и гражданами» [2].

Все сказанное выше дает достаточное представление о сложности классовой структуры афинского рабовладельческого общества. Это представление может быть уточнено и детализовано на одном примере — на примере анализа понятия «демос».

Афинский демос в период расцвета Афин (до Пелопоннесской войны включительно), как известно, не представлял собой единообразной, однородной социальной категории. В афинский демос входили, с одной стороны, мелкие и средние землевладельцы (аттическое крестьянство), с другой — чрезвычайно разнородные городские элементы: купцы, ремесленники, владельцы мастерских, гребцы и низший командный персонал флота [3], городской люмпен-пролетариат. Из столь разнородного состава демоса вытекала сложность и противоречивость классовой борьбы в Афинском государстве, поскольку даже в пределах понятия «демос» существовали разнообразные группировки и прослойки, движимые часто совершенно различными, а иногда и прямо противоположными интересами, не говоря уже о противоречивости интересов демоса и метеков или тем более интересов эвпатридов и демоса.

Чрезвычайно существенным было то обстоятельство, что в Афинах в состав демоса входили торгово-промышленные элементы, которые и занимали здесь ведущее положение. Экономическая мощь и политическая активность этого слоя населения немало содействовали укреплению позиций демоса в целом.

Если перейти к Риму, то следует отметить, что общая схема развития классовых противоречий и формирования рабовладельческого общества остается той же самой, и это вполне

---

[1] Что, конечно, не исключает наличия крупнейших противоречий и борьбы внутри свободного населения.

[2] Ф. Энгельс. Происхождение семьи..., стр. 122.

[3] См., например, Ps.-Xen., Resp. Ath., 1, 2.

естественно, так как отмеченные выше предпосылки образования классов были одинаковыми. Но, конечно, складывающееся рабовладельческое общество в Риме имело свои специфические черты. Древнейшая римская община делилась, как известно, на патрициев и клиентов, однако даже вопрос о том, кто такие были патриции и клиенты, нельзя считать решенным вполне определенно. Неизвестно также, было ли это деление в пределах общины универсальным, т. е. весь ли древнейший populus Romanus распадался на эти две категории[1], или существовала некая часть населения, входившая в populus, но не принадлежавшая ни к патрициям, ни к клиентам. Картина усложняется появлением плебеев. Не вдаваясь сейчас в чрезвычайно сложный и далеко не решенный вопрос о происхождении плебеев, достаточно указать лишь на то, что борьба между патрициями и плебеями, которую, вероятно, в ее начальной стадии следует рассматривать как борьбу двух общин[2], затем перерастает — по мере усиления имущественного неравенства и экономической дифференциации — в борьбу против господства патрицианской родовой знати[3]. Доказательством того, что социальные противоречия уже очень рано начинают играть весьма важную роль в борьбе патрициев и плебеев, является конституция Сервия Туллия, которая по существу рассматривает весь римский «народ» как единую гражданскую общину и не знает ни патрициев, ни плебеев[4], но зато представляет собой наглядное свидетельство достаточно далеко зашедшего имущественного расслоения общества[5]. Реформа Сервия Туллия которая была одним из наиболее ранних переломных моментов в борьбе

---

[1] Такой точки зрения, например, придерживался еще Б. Г. Нибур (B. G. Niebuhr, Römische Geschichte[4], стр. 339: «римский народ состоял из патрициев и клиентов... до образования патрицианско-плебейской общины»), но это положение едва ли может быть доказано.

[2] Разумеется, плебейскую общину не следует представлять на первых порах столь же организованной, как община патрицианская, в этом и была ее слабость. Общинные институты появляются у плебеев постепенно, в процессе их борьбы с патрициями.

[3] Изложенную точку зрения никоим образом нельзя сближать с теорией Эдуарда Мейера и других буржуазных модернизаторов, согласно которой экономическая дифференциация была причиной распадения римского общества на сословия, аналогичные сословиям феодальной Европы. Экономическая дифференциация римского общества, как это отчетливо подтверждают источники, к которым Эдуард Мейер подходил в данном случае со свойственным для буржуазной науки конца XIX — начала XX в. гиперкритицизмом, отнюдь не являлась причиной появления патрициев и плебеев, но было бы нелепо отрицать роль и значение этой дифференциации в дальнейшем развитии классовых противоречий в древнем Риме.

[4] См., например, Dion., IV, 20, 2—3; Liv., I, 43, 10.

[5] См., например, объяснение термина «пролетарий» у Gell., NA, XVI, 10, 1—5.



БИБЛИОТЕКА № 173291

патрициев, и плебеев знаменовала собой крах старого родового строя[1] и установление в Риме классового рабовладельческого общества. Однако борьба патрициев и плебеев на этом не завершается. Она продолжается дальше, и притом не только как борьба социальная, но, в известной мере, и как борьба двух общин. Окончательное слияние обеих общин, выразившееся, в частности, в слиянии патрицианской и плебейской аристократии, наступает лишь во второй половине IV в., в результате чего римское рабовладельческое общество выступает перед нами с его новой расстановкой классовых сил, с его «...растворением... патрицианской знати в новом классе крупных землевладельцев и денежных магнатов...»[2].

Таков не менее сложный процесс становления классового общества в Риме. Необходимо подчеркнуть некоторые специфические черты, отличающие это общество.

Прежде всего следует отметить, что дифференциация свободного населения в Риме в силу того, что раннее римское общество было чисто аграрным, шла иным, более замедленным путем. Однако суть дела заключается не только в более медленных темпах развития, но и в специфике этого развития. Действительно, в Афинах новая рабовладельческая верхушка, торговцы и владельцы ремесленных мастерских, выходит из среды демоса, в Риме же она выделяется из плебса, т. е. не изнутри патрицианской общины, а извне, и это в известной мере даже обостряет классовую борьбу в римском обществе. С другой стороны, если в Афинах консолидация экономически мощных и политически активных слоев демоса (формирование в составе демоса торгово-ремесленных элементов) произошла на той стадии развития афинского общества, когда еще шла напряженная борьба за ликвидацию пережитков родового строя, борьба с господством родовой знати, то в Риме подобные процессы происходят в несколько иной социальной обстановке. Здесь они совершаются на том этапе развития рабовладельческого общества, когда родовая знать в основном уже была лишена своего экономического и политического господства (т. е. примерно на рубеже IV—III вв.— цензура Аппия Клавдия, начало чеканки серебряной монеты в 268 г. и т. д.).

Возможно, что именно эти причины приводят к принципиально иной расстановке и иному соотношению классовых сил в Римском рабовладельческом государстве в период наиболее острых социальных конфликтов, т. е. во II—I вв. В противоположность

[1] См. Ф. Энгельс, Происхождение семьи..., стр. 175: «...победа плебса взрывает старый родовой строй и на его развалинах воздвигает государство, в котором скоро совершенно исчезают и родовая аристократия и плебс».

[2] Ф. Энгельс, Происхождение семьи..., 134.



173291

тому, что наблюдается в Афинах в V и первой половине IV в., верхи торгово-ремесленного слоя в Риме (крупные торговцы — negotiatores, ростовщики, владельцы ремесленных мастерских) не только фактически, но и юридически выделяются из состава демоса. Ко времени Гракхов этот слой оформляется в особое привилегированное сословие (всадничество), достаточно четко отграничивающее себя от позднейшего плебса. Основная масса мелких ремесленников и торговцев, которая попрежнему входила в состав плебса, напротив, постепенно разоряется и превращается в люмпен-пролетариев. Таким образом, строго говоря, уже во II в. до н. э. в Риме не существовало демоса в том понимании и значении этого слова, которое имеется в виду, когда идет речь об афинском демосе (периода расцвета Афин). Более того, именно с этого момента явственно проступает деградация римского плебса: далеко шагнувшая пауперизация крестьянства, рост люмпен-пролетарских слоев городского населения. Конечный результат этих сложных и мучительных процессов, происходивших внутри римского общества, совпадает с агонией республики: обескровленный гражданскими войнами (поскольку его представители со времен Мария составляли основной контингент легионариев), потерявший самостоятельное политическое значение, римский плебс в конечном счете превращается в «голосующий скот», подкармливаемый олигархической верхушкой и используемый ею в качестве своего послушного орудия.

Еще более существенным является тот факт, что непосредственные противоречия между основными классами-антагонистами рабовладельческого общества, т. е. между рабами и рабовладельцами, достигли своего наиболее полного, острого и по своим масштабам наиболее широкого выражения только в условиях развития Римского рабовладельческого государства. Можно утверждать, что в истории Греции наиболее яркие образцы и примеры классовой борьбы относятся к борьбе между богатыми и бедными, между классом крупных землевладельцев, купцов и промышленников и классом мелких свободных производителей, тогда как выступления рабов имели спорадический характер (восстания илотов, бегство рабов во время Декелейской войны). Но уже в Риме, особенно в период его превращения из италийской civitas в великую средиземноморскую державу, восстания рабов достигают таких масштабов (сицилийские восстания, Спартак), что ставят под угрозу самое существование господствующих классов. Коренное противоречие между основными классами-антагонистами рабовладельческой формации впервые выявляется непосредственно с таким размахом и такой остротой только в период господства Рима над средиземноморским миром.

Вместе с тем неизвестное по своим масштабам Греции и эллинистическому миру применение рабского труда влечет за собой грандиозное разорение мелких производителей. В результате этого наряду с борьбой между основными классами-антагонистами обостряется и борьба между классом мелких производителей и рабовладельцами. Об этом свидетельствуют бурные события последних десятилетий Римской республики вплоть до гражданских войн после смерти Цезаря.

Следствием всех этих причин является та специфическая тенденция, которая в конечном счете порождает своеобразные политические формы. Рабовладельческий класс Рима стремится консолидировать свои силы против эксплуатируемых масс населения. И действительно, в истории позднереспубликанского Рима можно наблюдать эту постепенно складывающуюся тенденцию консолидации господствующего класса вплоть до установления режима военной диктатуры и примирения различных социальных групп и «прослоек» под «надклассовой» эгидой Августа.

Несомненно, что во всех этих явлениях следует искать истоков формирования своеобразной идеологии римского господствующего класса, во многом отличной от идеологии господствующего класса греческого полиса. Однако об этом речь пойдет ниже, а сейчас лишь желательно указать, как своеобразие в расстановке и соотношении классовых сил повлияло на те формы, в которых развивались политическая жизнь и борьба как в афинском, так и в римском обществе.

Чрезвычайно интересным является вопрос о политических партиях в древности. Для того, чтобы попытаться решить этот вопрос, нужно прежде всего уточнить понятие партии применительно к античному миру.

Конечно, термин «партия» в его современном значении, когда имеются в виду твердо фиксированная программа и организация, постоянное членство, партийный аппарат и т. д., вовсе неприменим к античному миру.

Но тем не менее, когда речь идет о более организованной части господствующего класса рабовладельцев или класса мелких производителей, объединенной определенными политическими интересами, общностью политической платформы, нет необходимости полностью отказываться от термина «партия». Подобные партии выступали как выразители классовых интересов различных групп и прослоек свободного населения.

Однако если даже и принять это самое общее и элементарное определение понятия политической партии применительно к античному обществу, то все же приходится признать, что оно едва ли приложимо в равной степени к кон-

кретным явлениям политической жизни как в Греции, так и в Риме.

Несомненно, есть основание говорить о существовании более или менее устойчивых групп, с наличием общих и достаточно четко выраженных политических интересов, т. е. «партий» в вышеприведенном понимании этого слова, в Афинах классического периода. Партийный дух, партийное направление и оформление политической жизни вообще довольно характерны для истории развития политической борьбы в Афинской республике. Уже знаменитый «закон» Солона, обязывавший каждого гражданина под страхом лишения гражданских прав примыкать во время «смут» к той или иной «партии» [1] (даже если считаться с возможностью его апокрифичности), достаточно ярко свидетельствует об этой любопытной тенденции. Определение, даваемое Аристотелем паралийцам, педиакам и диакриям [2], вполне позволяет считать их политическими партиями. Рассказ о вражде Исагора с Клисфеном [3], свидетельство Геродота о борьбе партий в Афинах во время греко-персидских войн [4], партийная жизнь в период Пелопоннесской войны, наконец, соперничество анти- и промакедонской партии в IV в. до н. э.[5],— все это несомненные свидетельства преимущественно партийного оформления борьбы общественных групп и интересов в среде афинского гражданства, причем, как правило, различные афинские партии (с соответствующими модификациями для различных периодов!) отражают противоречия между аристократическими и демократическими элементами афинского общества.

Иная картина наблюдается в Риме. Нет, по существу, ни одного свидетельства источников, дающего право придти к заключению о наличии более или менее устойчивых партий в республиканском Риме, ни одного свидетельства, которое можно сопоставить с недвусмысленными формулировками Аристотеля или даже Геродота. Как показали новейшие исследования [6], нет даже достаточных оснований считать оптиматов и попу-

---

[1] Arist., Resp. Ath., 8, 5.
[2] Там же, 13, 4.
[3] Там же, 20—21.
[4] Herod., V, 121; 124.
[5] Plut., Dem., 13; 24.
[6] Gelzer, Die Nobilität der römischen Republik, 1912, стр. 49 слл.; Münzer, Römische Adelsparteien und Adelsfamilien, 1920; Strassburger, Optimates, RE, XVIII, 1, 1939, стб. 773 слл.— см. также R. Syme, JRS, XXXIV, 1944, стр. 92—109. Перечисленные исследователи указали на особенности политической борьбы в Риме, на роль семейных связей, клиентелы и т. д. Однако, чрезмерно преувеличивая значение фамильных связей, они тем самым снижали роль классовой борьбы. Социальные противоречия нередко подменяются у них фамильными раздорами.

ляров соответственным образом партиями нобилитета и плебса. Так же как в Риме не существовало демоса в афинском понимании этого слова, так в нем не было и четко оформленных политических партий.

Во всяком случае до времени Гракхов мы не можем найти примеров, подтверждающих наличие политических партий в Риме. Борьба патрициев и плебеев, борьба демократических слоев римского населения против сенатской олигархии показывает, что единственной формой, а следовательно и единственным политическим орудием, которое могла использовать в этой борьбе угнетенная масса, были комиции и, в первую очередь, конечно, происходившие под руководством народных трибунов собрания по трибам[1]. Поэтому прав Р. Ю. Виппер, когда он говорит: «Повидимому, до Гракхов в Риме не было вовсе митингов, не было частных совещаний или агитационных собраний, не было никаких средств и приемов для того, чтобы сговориться на общей программе, выставлять общие требования» и приходит к выводу об отсутствии сформировавшихся партий[2].

Косвенным доказательством этого могут служить массовые случаи «перебежек» из одного политического лагеря в другой. Подобные поступки совершали даже такие крупнейшие политические деятели, как Папирий Карбон, Марий, Помпей, Цицерон, Гай Меммий, что едва ли было бы возможным при наличии более или менее устойчивых партий, а, следовательно, и партийной принадлежности. История афинских политических партий почти не дает подобных примеров.

На первый взгляд излагаемая точка зрения резко расходится с выводами советского исследователя этого вопроса Н. А. Машкина[3].

Однако это не совсем так. Н. А. Машкин, считая возможным констатировать наличие политических партий в Риме, вынужден говорить о недолговечности «классического периода борьбы между популярами и оптиматами»[4]. Принимая во внимание эту существенную оговорку, можно признать, что в истории Рима был краткий период, когда политическая борьба приняла в основном партийное оформление, когда возникли партии, приближающиеся по типу к греческим политическим партиям. Но, во-первых, это было специфическим явлением, вызванным не менее специфическими причинами[5], а,

---

[1] Р. Ю. Виппер, ук. соч., стр. 41.
[2] Там же, стр. 22.
[3] Н. А. Машкин, Римские политические партии в конце II и в начале I в. до н. э., ВДИ, 1947, № 3, стр. 126—139.
[4] Там же, стр. 135.
[5] Об этом см. ниже, стр. 38—41.

во-вторых, явлением для политической жизни римского общества в разбираемую эпоху мало характерным.

Таким образом, говорить о партиях в Риме можно, как правило, в очень узком и специфически римском значении этого слова. Так, например, Цицерон неоднократно употребляет термин pars, беря его с прилагательными, образованными от личных имен: pars Pompeiana, pars Clodiana и т. д. Наличие партий такого типа, связанных с институтами клиентелы и amicitia[1], отрицать не приходится, но здесь уже имеет место явление, которое выходит за рамки принятого выше определения партии применительно к античному обществу. Однако это вовсе не элиминирует и не «затушевывает» вопрос о борьбе аристократических и демократических элементов римского общества; дело лишь в том, что эта борьба в силу определенных и специфических условий выражалась в других формах.

Различие социально-экономической структуры греческого и римского обществ не могло не обусловить различия и самих государственных форм как у греков, так и у римлян.

Наиболее характерной чертой демократической конституции Афин является то, что из трех элементов, наличествующих в любом греческом государственном устройстве — народного собрания, совета и магистратов — здесь наблюдается определенная и бесспорная тенденция к уменьшению значения последнего из этих элементов и передаче полноты власти широким коллегиальным органам: народному собранию и буле. Действительно, в условиях афинской демократии был осуществлен изумительный для своего времени опыт «прямого народоправства», истинного участия в управлении государством широких слоев свободного населения (т. е. граждан).

Эта тенденция греческой политической практики находит достаточно яркое отражение и в государствоведческой теории греков. Так, например, Аристотель различает в каждом государственном устройстве три фактора или три элемента (μόρια), от различной организации и соотношения которых зависит и самое различие отдельных форм государственного устройства[2]. На первое место он безусловно выдвигает коллегиальную «законосовещательную» власть (τὸ βουλευόμενον), которая и является истинной носительницей государственности (κύριος τῆς πολιτείας), и только затем говорит о значении магистратур (τὸ περὶ τὰς ἀρχάς), причем из его определения компетенции магистратов с полной очевидностью вытекает их «подсобное» и ограниченное значение[3].

[1] См. Н. А. Машкин, ук. соч., стр. 137—138. Ср. M. Gelzer, ук. соч., стр. 86.

[2] Arist., Pol., IV, 11—13, стр. 1298a—1301a.

[3] Там же, IV, 12—13. Третьим элементом (μόριον) являются судебные органы.

В противовес всему сказанному Римская республика, в которой государственная власть, вообще говоря, выступает в виде тех же трех элементов, — магистратов, сената, народного собрания — дает определенную картину второстепенной роли и сравнительной слабости комиций наряду с выдающимся значением магистратур, значением, на афинской почве совершенно немыслимым.

Но власть высших римских магистратов, как известно, прежде всего характеризовалась наличием империя, явления, которому в греческой государственности тоже нельзя найти какой-либо аналогии. Притом, если в Афинском государстве так называемая царская власть, т. е. «империй» царя, распалась на ряд частных должностей, то совершенно иную картину являет империй раннереспубликанских магистратов в Риме, ибо в его основе лежит представление о единстве и неразделенности власти, что и делает его достаточно своеобразным явлением римской государственности. Если субъектом государственной власти в Риме могла быть совокупность граждан[1], т. е. римская гражданская община, то носителем этой власти и верховным ее исполнителем всегда был «царь» или заменившая его в республиканский период разделенная между двумя лицами «царская» власть высших магистратов. Наиболее полное выражение власти высшего римского магистрата дается формулой auspicium imperiumque[2], т. е. компетенция каждой магистратуры включает в себя res divinae — auspicium магистрата, и res humanae — его imperium.

Носителями империя была лишь определенная группа должностных лиц, которые вступили в обладание «царскими» правами; таким образом, речь в данном случае может идти лишь о твердо ограниченном круге высших магистратов. Низшие должностные лица, которые постепенно во все возрастающем количестве появлялись рядом с высшей магистратурой, не имели империя, так как обладали лишь ограниченной должностной властью. Среди этих низших магистратур развилась специальная компетенция, следствием чего явилось их дробление, но высшая магистратура не была этим затронута и продолжала сохранять свой «царский» империй.

В этом состоит один из весьма любопытных исторических феноменов. Из весьма неясных и, очевидно, безнадежно искаженных традицией событий, связанных с установлением республики в Риме, выделяется один исторически достоверный факт:

---

[1] См. F. Leifer, Die Einheit des Gewaltgedankens im römischen Staatsrecht, 1914, стр. 2 слл.

[2] Mommsen, Römisches Staatsrecht, I³ (Marquardt, Mommsen, Handbuch der römischen Alterthümer, I, 1887, стр. 76).

вместе с уничтожением «царской» власти отнюдь не была уничтожена ее основная прерогатива. В основном высшие республиканские магистраты были тем же, чем был rex. Довольно твердо известно, что, за исключением жреческих обязанностей, полнота «царской» власти переходит к высшим магистратам даже с ее внешними признаками: свитой ликторов и фасцами. И прежде всего в основе их власти лежит тот же принцип неделимости и единства, как и в основе «царского» империя.

Однако это не значит, что между империем римских «царей» и ранних республиканских магистратов может быть поставлен знак равенства, ибо в период республики наблюдается некая модификация империя. Однако сущность этой модификации может быть сведена к следующему: происходит определенное ограничение империя, но отнюдь не его распадение или дробление.

В начале республики во главе государства стояли, как известно, два магистрата — преторы (prae + itor), т. е. военачальники. Известно также, в какой форме был передан им империй, дабы избежать злоупотребления властью. Прежде всего магистратура ограничивалась годичным сроком, по истечении года магистрат слагал свои полномочия и становился частным лицом.

Кроме того, высшая власть вручалась теперь не одному, а двум должностным лицам. Но это происходило таким образом, что каждый из преторов обладал полнотой власти. Оба магистрата обменивались в определенном порядке своей должностью, решая этот вопрос жребием или полюбовным соглашением. Преторы всегда были вместе: не полагалось, чтобы один из них продолжительное время распоряжался без коллеги; поэтому, например, не дозволялось, чтобы один из них отправлялся на войну, а другой оставался для управления городскими делами.

Из коллегиальности вытекала интерцессия. Если один приказывал, а другой был несогласен и запрещал, то всегда действительным оставался запрет. Каждый из коллег мог помешать противозаконным действиям другого, и в случае серьезного конфликта империй самоупразднялся.

Этими ограничениями и «профилактическими мерами» республика обеспечивала себе, с одной стороны, «твердое руководство», а с другой — принимала меры к тому, чтобы огромная по объему власть магистратов не стала угрозой для самого республиканского устройства.

Таким образом, единство и неделимость власти при передаче империя от «царя» преторам не были нарушены. В этом заключалась весьма своеобразная попытка сохранить «положительные стороны» царской власти, ликвидировав ее отрицательные стороны. И, видимо, именно поэтому Полибий,

считая, что в Риме было осуществлено «смешанное» государственное устройство, именно в консулах видел монархический и «царский» компонент этого устройства.

На этом примере можно еще раз убедиться в том, что существовало серьезное различие между πόλις и civitas, между греческой и римской государственностью.

Следует отметить, что в науке делались неоднократные попытки сопоставления римской государственной власти с властью отца в семье. Подобное сопоставление отнюдь не формально. Сравнивая неограниченную власть носителя империя в государстве с неограниченной властью pater familias (хотя она и называлась patria potestas) можно придти к выводу, что в римском правосознании прочно жила идея семьи как государства в миниатюре и государства как огромной семьи. Подобное представление было чрезвычайно устойчивым, оно не только характерно для римской политической идеологии ранней республики,—оно переживает республиканскую эпоху и возрождается с новой силой, правда, с известными модификациями в императорском Риме.

Из понятия империя выводятся вышеупомянутые своеобразные нормы поведения, определявшие частную жизнь и общественную деятельность каждого римского гражданина: disciplina и auctoritas. Высшей добродетелью римлянина в семье, на военной службе, на государственном поприще было подчинение (disciplina) власти отца, военачальника, магистратов. Этот долг подчинения, уходящий своими корнями в те связи и неписанные нормы, на которых зиждились патриархальная семья, род, курия, племя, тесно связан с трудно переводимым понятием, содержание которого пытался разъяснить еще Хейнце[1],— с понятием auctoritas.

Таковы некоторые особенности исторического развития греческого и римского рабовладельческого государства. Сделанные выше наблюдения могут оказаться небесполезными при дальнейшем рассмотрении сложной картины идейно-политической борьбы в римском обществе I в. до н. э.

---

[1] R. Heinze, Auctoritas, «Herm»., LX, 1925, особенно стр. 348 слл.

## Глава II

# ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ В РИМСКОМ ОБЩЕСТВЕ II — I вв. до н. э.

Определенное своеобразие римского общества и отличие его от греческого в области экономического развития, расстановки классовых сил и некоторых принципов самой государственности несомненно в какой-то степени влияло на формы и особенности как политической жизни, так и идеологической борьбы в римском обществе.

Политическая жизнь Римской республики во II—I вв. была чрезвычайно напряженной и многообразной. Конкретно-исторические события этого периода подробно изучены и освещены как в русской, так и в зарубежной литературе[1]. Однако идеологическая жизнь Римской республики времени кризиса и упадка изучена в гораздо меньшей степени. В самом деле, ни в советской, ни тем более в буржуазной науке нельзя найти четкого ответа на вопрос, какими идеями одушевлялась, двигалась и освещалась политическая борьба, развернувшаяся во II—I вв. среди различных классовых группировок римского общества. Попытку решить этот вопрос и представляет настоящее исследование.

Нам предстоит заняться не столько конкретной историей, сколько историей идей, оплодотворявших политическую жизнь римского общества. Было бы, однако, непростительной ошибкой изучать «имманентное развитие» идей, искусственно оторвав их от конкретной исторической обстановки, игнорируя их связь с ходом исторического процесса.

---

[1] Из русских работ, дающих общий очерк рассматриваемого периода, необходимо отметить: Р. Ю. Виппер, Очерки истории римской империи, 1908; Н. А. Машкин, Принципат Августа, 1949. В обеих работах подробно трактуются события I, а отчасти даже и II в. до н. э.

Таким образом, прежде всего нужно осмыслить основные процессы социально-политической борьбы в Римской республике.

В масштабе всего исследования проблема социально-политической борьбы является тем фундаментом, на котором развертываются изучаемые процессы борьбы идеологической.

Итак, задача состоит не в изложении или даже оценке отдельных событий, но в некотором принципиальном осмыслении их, дабы нащупать таким образом какие-то общие тенденции развития социально-политической борьбы в римском обществе II—I вв. до н. э.

Известно, что внутреннее содержание этих процессов, их экономическая подоплека может быть сведена, говоря словами Маркса, «... к борьбе мелкого землевладения с крупным...»[1]; не менее хорошо известно также, что в сфере римской политической жизни эта борьба нашла свое выражение сначала в борьбе между патрициями и плебеями, а затем в борьбе сенатских, аристократических кругов, опиравшихся на крупное землевладение, с широкими слоями мелких и средних землевладельцев, т. е. римского плебса в новом социальном значении этого понятия.

Другими словами, социально-политическая борьба в этот период была прежде всего борьбой двух классов, класса крупных землевладельцев-рабовладельцев и класса мелких свободных производителей (крестьян). Причиной развития демократического движения в Риме, несомненно, было обострение противоречий между указанными классами римского общества и, в первую очередь, аграрный вопрос.

Совершенно очевидно, что вышеизложенное определение не выходит за рамки безусловно правильного и вместе с тем достаточно широко известного рассуждения о борьбе между аристократическими и демократическими элементами в римском рабовладельческом обществе. Нужно, однако, подойти к вопросу несколько иначе. Попытаемся выяснить, в каких конкретных политических формах и какими методами велась эта борьба, каковы были ее специфические лозунги, ее идеологическая оболочка.

Демократическая тенденция социально-политической борьбы в Риме находит себе наиболее яркое выражение в деятельности Гракхов. Из всего того сложного комплекса вопросов, который группируется вокруг движения Гракхов, для задач данного исследования можно ограничиться лишь вопросом о социально-политическом значении движения.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII, 1931, стр. 89.

Весьма характерной для буржуазной науки оценкой движения Гракхов почти до последнего времени была оценка, данная Моммзеном[1]. Необходимо поэтому остановиться на его основных выводах.

Свою оценку времени Гракхов Моммзен начинает с того, что указывает на наличие двойного зла в Римской республике: выродившейся олигархии и еще неразвитой, но уже пораженной внутренним недугом демократии. В Риме по существу не было ни настоящей аристократии, ни настоящей демократии, и потому обе партии, т. е. оптиматы (представлявшие якобы аристократию) и популяры (представлявшие якобы демократию), боролись за призраки и были одинаково ничтожны. Подобное положение расшатывало политические и моральные устои республики и делало неизбежным ее кризис[2].

Оценивая аграрную реформу Тиберия Гракха, Моммзен отмечает юридическую правомерность lex agraria по форме и превращение его в экспроприацию крупного землевладения по существу[3]. Методы борьбы за проведение закона в жизнь Моммзен считает революционными. Конкретно революционность действий Тиберия он усматривает в следующем: а) выступление против большинства сената; б) передача решения вопроса об ager publicus на решение народа; в) уничтожение права трибунской интерцессии[4].

Однако революционные методы Тиберия были, по мнению Моммзена, явлением вынужденным. Субъективно Тиберий был типичным консерватором. «Он обращался к черни,— говорит Моммзен,— в наивной уверенности, что обращается к народу, и протягивал руку к короне, сам того не сознавая, пока неумолимая логика событий не увлекла его на путь демагогии и тирании... В конце концов демоны революции, которых он сам призвал, овладели неумолимым заклинателем и растерзали его»[5].

Совсем иначе оценивается Гай Гракх. Он трактуется как вождь демократической партии, сознательно вступивший «на путь революции и мести»[6]. Оценивая реформы Гая Гракха, Моммзен по существу разделяет их на две группы: а) реформы, имеющие своей целью привлечение в революционную партию

---

[1] Фундаментальное для своего времени исследование K. W. Nitzsch'a «Die Gracchen und ihre nächsten Vorgänger», Berl., 1847, теперь в смысле выводов интереса уже не представляет.

[2] Моммзен, История Рима, т. II, 1937, стр. 73—74.

[3] Там же, стр. 91.

[4] Там же, стр. 92—93.

[5] Там же, стр. 95.

[6] Там же, стр. 103.

столичного пролетариата в качестве ее главной опоры[1], и б) реформы, имеющие своей целью внесение раскола в аристократию. Стремление Гая Гракха привлечь на свою сторону финансовые круги, т. е. всадничество, рассматривается именно под этим углом зрения, как попытка создания всаднического «антисената»[2]. Значительное место в оценке Гая Гракха Моммзен уделяет его монархическим тенденциям. Он считает, что Гай имел обширный и продуманный план реформ, который в конечном счете должен был привести к замене сенатской системы правления монархической, и что Гай стремился отменить республику и установить «наполеоновскую абсолютную монархию»[3].

В дальнейшем, когда в Риме утвердился монархический строй, можно отметить, что в нем «нет почти ни одной положительной идеи, которая не восходила бы к Гаю Гракху»[4].

Причиной гибели Гая Гракха Моммзен в основном считает полнейшую ненадежность главной опоры Гая — римского пролетариата, который по существу «никогда и не голосовал за Гракха, но лишь за свои интересы» и который не поддержал своего вождя в решающий момент[5].

Таковы оценки и выводы Моммзена. К ним, в основном, примыкает подавляющее большинство буржуазных ученых.

Так, например, Эдуард Мейер, в исследованиях которого наиболее ценным и интересным является анализ политических тенденций источников[6], в принципиальных своих оценках присоединяется почти полностью к Моммзену. Он так же говорит о консерватизме Тиберия, о вынужденно революционном пути, о политической организации «партии капиталистов» как о средстве создать противовес аристократии и сенату. Гай Гракх, по его мнению, узурпирует монархические привилегии и пытается установить в демократической форме абсолютное правление народного вождя. Гай Гракх стремится «на место аристократии поставить демократию, т. е. господство партии капиталистов и городской черни (!), а на место сената — правление ежегодно избираемых трибунов».

Исследования других буржуазных ученых[7] едва ли вносят что-нибудь принципиально новое в оценку движения Гракхов.

---

[1] Моммзен, История Рима, т. II, 1937, стр. 103—104.
[2] Там же, стр. 107—110.
[3] Там же, стр. 113.
[4] Там же, стр. 115.
[5] Там же, стр. 117.
[6] Ed. Meyer, Untersuchungen zur Geschichte der Gracchen, «Kleine Schriften», Halle, 1910, стр. 381—441.
[7] См., например, Münzer, Sempronius, 54, RE, II A, 2, 1923, стб. 1413; Bilz, Die Politik des Scipio Aemilianus, Diss, 1935; Korne-

Если некоторые авторы и отходят от Моммзена, то это скорее даже шаг назад, ибо у современных буржуазных ученых наблюдается сильное выпячивание субъективного момента в деятельности Гракхов[1] в ущерб моменту социальному; так, например, оценка Мюнцером Гая Гракха в значительной мере сводится к определению его, как «демонической личности».

Значительно самостоятельнее и интереснее разработан вопрос о движении Гракхов и его историческом значении в русской литературе[2]. Здесь прежде всего необходимо остановиться на известной работе Р. Ю. Виппера[3]. Хотя эта книга написана в духе «экономического материализма» и обнаруживает значительную склонность автора к модернизации ряда проблем римской истории, все же она несомненно стоит выше современных ей работ западноевропейских буржуазных ученых. В книге Р. Ю. Виппера движение Гракхов трактуется как частная проблема, но тем не менее здесь имеются некоторые ценные наблюдения и мысли о значении этого движения.

Достаточно остановиться на наиболее интересных для данного вопроса выводах Р. Ю. Виппера.

Демократическое движение в Риме эпохи Гракхов Р. Ю. Виппер расценивает как новый и революционный фактор. Очевидно, до Гракхов не существовало ни агитационных собраний, ни митингов, ни иных средств для того, чтобы сговариваться об общей программе и выставлять общие требования. Само народное собрание превращается в активную политическую арену именно в эту эпоху. Народные массы впервые пробуждаются к политической жизни и организуются[4].

Следует так же отметить наблюдение Виппера о социальном составе и характере «демократической оппозиции». Он отмечает единство этой оппозиции накануне выступления Гракхов и на первых этапах борьбы, затем дальнейший раскол

---

m a n n, Zur Geschichte der Gracchenzeit, «Klio», I Beih., 1903; R. P ö h l m a n n, Zur Geschichte der Gracchen, Münch., 1908; J u d e i c h, Die Gesetze des C. Gracchus, HZ, 111, 1913, стр. 473 слл.; T. F r a n k, Rome and Italy of the Republic, ESAR, I, 1933; о н ж е, An Economic History of Rome, 1927; C a r c o p i n o, La République romaine de 133 à 44 avant J.-C. (G l o t z, Histoire générale, I: Histoire ancienne, III: Histoire romaine, II, 1, 1940; M ü n z e r, Röm. Adelsparteien; A l t h e i m, Epochen der römischen Geschichte, II, 1935; J. G ö h l e r, Rom und Italien, Breslau, 1939.

[1] Например, M ü n z e r, Sempronius, 47, RE, II A, 2, 1383; A l t h e i m, ук. соч., II, 236; в значительной мере — J. G ö h l e r, ук. соч., 145—146 и т. д.

[2] Чрезвычайно добросовестная и исчерпывающая по обзору источников работа Э. Ф е л ь с б е р г а «Братья Гракхи», Юрьев, 1910, в части оценок и выводов уже устарела.

[3] Р. Ю. В и п п е р, Очерки истории римской империи, М., 1908.

[4] Р. Ю. В и п п е р, ук. соч., стр. 42—43.

оппозиции, расхождение отдельных ее групп между собой[1]. Тиберий Гракх имел обширную программу демократических реформ, его проекты и начинания захватывали все группы оппозиции, но в этом-то, очевидно, и заключалась его слабость, ибо оппозиция оказалась плохо слаженной, внутренне-противоречивой, с необычайной силой столкнулись внутри нее самые противоположные интересы[2].

Наиболее четкое разграничение двух противоположных групп оппозиции происходит уже во времена Гая Гракха и не столько в связи с аграрными реформами, сколько с проектом распространения прав римского гражданства на союзников. В противовес общепринятому взгляду на plebs urbana, как главного противника этой реформы, Виппер считает, что эти реформы вызвали наиболее ожесточенное сопротивление со стороны обладателей «финансового капитала», т. е. всадников, приобретших ныне столь важное политическое значение[3]. Это обстоятельство и знаменовало крупнейший раскол в рядах демократической оппозиции. Фактически в этот период существуют три партии: нобилитета, реставраторов крестьянства и сторонников «капиталистического хозяйства» (т. е. всадническая). Последние две есть не что иное, как два крыла демократии или «демократической оппозиции», но явно враждебные друг другу. Их вражда и была причиной гибели дела Гая Гракха[4].

Интересным, хотя и недостаточно развитым, является в книге Виппера сопоставление римской демократии с демократией греческой. Отмечается слабость и кратковременность первой и отсутствие в «старых римских нравах» демократического начала[5].

В греческих демократиях всегда очень деятельную роль играли гетерии, т. е. политические клубы, в Риме же коллегии политического характера появились лишь в конце республики. Слабость агитационной работы и предвыборных кампаний видна на примере истории проведения в жизнь аграрного закона Тиберия Гракха со всеми трагическими и неожиданными коллизиями, сопутствовавшими борьбе за реформу[6].

Другой слабостью римской демократии было то обстоятельство, что вожди демократии, «популяры», большей частью сами принадлежали к высшему классу, т. е. нобилитету. Трибунат — единственная конституционная форма для представительства

---

[1] Р. Ю. Виппер, Очерки истории римской империи, М., 1908, стр. 43—44.
[2] Там же, стр. 54.
[3] Там же, стр. 62—64.
[4] Там же, стр. 66—68.
[5] Там же, стр. 44.
[6] Там же, стр. 37.

интересов народной массы перед сенатом — превратился (и уже давно!) в некую ступень в служебной карьере нобилей. Это имело своим результатом лишь образование новой группы «служилой знати»[1].

И, наконец, отметим наблюдение Р. Ю. Виппера относительно влияния опыта социально-политической борьбы в греческих общинах и греческой теории на политические и социальные идеи, лежавшие в основе реформ Гракхов. Истинными инициаторами аграрной реформы Тиберия Гракха следует считать Диофана и Блоссия[2]. На проекте создания неотчуждаемых земельных участков, а следовательно и восстановления, по мнению Р. Ю. Виппера, верховного права государства на землю, особенно ярко прослеживается эта связь римской практической программы с греческой идеологией[3].

Это последнее положение, намеченное в книге Р. Ю. Виппера, получает свое дальнейшее развитие и обоснование в интересной работе С. И. Протасовой[4].

Время Гракхов в этой работе характеризуется как период резкого столкновения противоположных общественных «идеалов», когда наряду с социально-экономической и политической борьбой идет интенсивная работа общественной мысли[5].

Основной тенденцией реформаторской деятельности Тиберия Гракха С. И. Протасова считает лозунг: «вся власть народу», т. е. идею о народной власти, как основе государственного управления. К этому следует добавить убеждение (может быть, сформировавшееся бессознательно!) в необходимости усиления власти народного вождя[6].

Подобные теории были покушением на самые принципы и основы римской государственности. «Аристократия,— говорит С. И. Протасова, — защищала против Тиберия не только свои участки земли и свое господство в государстве, но и некоторые принципы, без которых национальная римская культура потеряла бы в значительной мере свой своеобразный характер. Понятие римской libertas, сущность которой составляет консервативно-аристократическая дисциплина, Тиберием Гракхом уничтожается совершенно, старо-римская virtus — добродетель государственной дисциплины и государственного подвига заменяется теперь правом широких масс...»[7].

---

[1] Р. Ю. Виппер, ук. соч., стр. 45—46.
[2] Там же, стр. 55.
[3] Там же, стр. 55—56.
[4] См. С. И. Протасова, Борьба общественных идеалов в Риме в эпоху Гракхов «Из далекого и близкого прошлого», 1923, стр. 29—40.
[5] Там же, стр. 30.
[6] Там же, стр. 36.
[7] Там же, стр. 37.

Источником этих не обычных для Рима общественно-политических идей является, по мнению С. И. Протасовой, кружок Сципиона, влияние Диофана и Блоссия, эллинская идеология. Ссылаясь на известное замечание Моммзена о противоречии пропаганды Тиберия духу римской конституции и на сравнение Тиберия с Периклом, идущее от Эдуарда Мейера, С. И. Протасова приходит к заключению о возникновении в это время двух общественных течений в римском обществе: а) консервативно-национального и б) «эллинского»[1].

В деятельности Гая Гракха «эллинские» элементы выступают еще более ярко, в ней имеет место «антинациональная» тенденция, выражающаяся в его презрении к римской традиции, носителем и защитником которой был сенат, в презрении к римской libertas. «Если сравнить дух и характер римской конституции,— заключает С. И. Протасова,— с духом и характером эллинской политики, в особенности в той форме ее, которую она приняла в Афинах, то становится ясно, что Гай Гракх проводил в жизни идеал свободы, выработанный эллинской культурой, в противоположность идеалу, на котором создал свою государственную мощь Рим. В борьбе Гая Гракха и его противников, столкнулись два идеала свободы — ἐλευθερία и libertas»[2].

В новейшей советской литературе оценка движения Гракхов дается в работах по римской истории В. С. Сергеева[3], А. В. Мишулина[4] и Н. А. Машкина[5].

Здесь прежде всего нужно отметить один весьма существенный момент: подчеркивание советскими исследователями того обстоятельства, что в ходе и развитии гракханского движения в Риме формируются политически организованные группы или партии. Это — оптиматы и популяры, причем всадники занимают промежуточное между ними положение[6]. Столкновения, закончившиеся гибелью Гая Гракха, изображаются В. С. Сергеевым уже как проявление борьбы партий, борьбы оптиматов и популяров[7].

Эту точку зрения на образование политических партий в Риме разделяет и А. В. Мишулин, считая одним из основных итогов гракханского движения «дальнейшую поляризацию политических группировок» и формирование в результате этого

[1] С. И. Протасова, Борьба общественных идеалов в Риме в эпоху Гракхов, стр. 38.
[2] Там же, стр. 40.
[3] В. С. Сергеев, Очерки по истории древнего Рима, I, 1938, стр. 168—169.
[4] А. В. Мишулин, История древнего Рима, 1946, стр. 64—68.
[5] Н. А. Машкин, История древнего Рима, 1949, стр. 245—258.
[6] В. С. Сергеев, ук. соч., стр. 171—173.
[7] Там же, стр. 183—184.

процесса партий оптиматов и популяров[1]. Еще более определенной точки зрения придерживается Н. А. Машкин, который говорит: «Со смертью Тиберия Гракха политическая борьба не прекратилась. С этого времени можно говорить о двух основных римских политических партиях: оптиматах и популярах»[2].

Таковы основные выводы по поводу движения Гракхов в русской и западноевропейской науке. Резюмированный выше материал, а также свидетельства источников дают возможность придти к некоторым принципиальным заключениям по поводу одной из тенденций развития социально-политической борьбы в Риме, выраженной движением Гракхов.

Несомненно, что аграрное движение римского крестьянства, известное в истории под именем движения Гракхов, было вызвано к жизни логикой развития классовой борьбы в римском рабовладельческом обществе, борьбой «мелкого землевладения с крупным». В этом смысле можно говорить об исторической закономерности, с одной стороны, и глубокой самобытности — с другой, этого явления. Необходимо поэтому остановиться на его особенностях и специфических чертах.

Отбрасывая рассуждения Моммзена относительно субъективных стимулов деятельности Гракхов, не представляющие интереса для серьезного исследователя, можно, внося эту оговорку, принять тезис о революционных методах борьбы Гракхов. Бесспорно, что после первой интерцессии Марка Октавия[3], убедившись в невозможности компромисса с ним, а главным образом с теми кругами нобилитета, орудием которых являлся Марк Октавий, Тиберий Гракх открыто выступил против «большинства сената», подчеркнув это устранением из своего законопроекта компромиссных моментов[4], т. е. исключив первоначальный пункт, касавшийся вознаграждения посессоров, и объявил приостановленной деятельность всех остальных магистратов до проведения в жизнь закона. Чтобы придать этому распоряжению больший вес, Тиберий Гракх пригрозил противодействующим преторам денежным штрафом и опечатал казну в храме Сатурна, так что и квесторы были лишены возможности отправлять свои обязанности. Оптиматы и их приверженцы облачились в траур и, по свидетельству самих древних, город казался разделенным на два враждебных вооруженных лагеря[5].

Выступление против несменяемости народного трибуна и фактически против права трибунской интерцессии тоже было

[1] А. В. Мишулин, ук. соч., стр. 68.
[2] Н. А. Машкин, ук. соч., стр. 249.
[3] App., BC, I, 12.
[4] Plut., Ti. Gr., 10.
[5] Plut., Ti. Gr., 10; Dio, фр. 83 b.

чрезвычайно смелым революционным актом, ломавшим все традиции. Это видно хотя бы из тех колебаний Тиберия Гракха, о которых сообщают источники, колебаний, связанных как с отрешением Марка Октавия от должности[1], так и во время голосования[2]. Сама античная традиция в подавляющем большинстве расценивает этот акт как незаконный и даже как нарушение lex sacrata[3].

И, наконец, решение вопроса об ager publicus самим народом и в особенности создание комиссии tresviri agris dandis assignandis[4], которым затем, как известно, были присвоены широкие государственно-правовые функции: «чтобы эти же триумвиры решали, где было общественное поле и где частное»[5], свидетельствует о том, что «новизна заключалась не... в техническом содержании реформы 133 г., а в ее политическом принципе. Сенат до сих пор распоряжался безгранично конфискациями земли, установлением условий их пользования, выдачей в оккупацию и в аренду, наделениями военных колонистов. Тиберий Гракх первый решился вырвать у сената это большое и важное ведомство. Трибун впервые предлагал народному собранию отнять у сената распоряжение казенной землей, ager publicus, объявить право народа на «общественное поле» и на производство наделов. В аграрном вопросе повторилось то же, что было в финансовом, и там, и здесь сенат правил единовластно: в 133 г. Тиберий Гракх заявил притязания демократии на обе крупнейшие сферы государственного управления...[6] ...Вводя неотчуждаемость для новых мелких наделов... Тиберий Гракх восстановил верховное право государства на землю»[7].

Другой не менее определенной чертой рассматриваемой тенденции развития социально-политической борьбы в Риме является ее эллинистическая окраска. Не вдаваясь в проблему во всех ее подробностях, поскольку речь идет уже об «идеологической оболочке» движения (о чем будет сказано ниже), здесь необходимо подчеркнуть заслугу русских исследователей, впервые развивших и обосновавших эту мысль. В то время как в западноевропейской литературе, в лучшем случае, встречаются лишь отдельные намеки, к тому же далеко не всегда удач-

---

[1] Plut., Ti. Gr., 11.

[2] Cic., de nat. deor., I, 38, 106; App., BC, I, 12; Plut., Ti. Gr., 12.

[3] Cic., Mil., 27, 72; Liv., Ep., 58; Diod., XXXIV, 27; Vell., II, 2; Asc., стр. 71; Flor., III, 3, 14; Aur. Vict., de vir. ill.; 64; Oros., V, 8.

[4] Liv., Ep., 58; Vell., II, 2; Plut., Ti. Gr., 13; App., BC, I, 13; Flor., III, 14.

[5] Liv., Ep., 58: «ut idem triumviri iudicarent, qua publicus ager, qua privatus esset».

[6] Р. Ю. Виппер, ук. соч., стр. 50.

[7] Там же, стр 56.

ные, в русской науке этот вопрос был впервые вполне определенно, как показано выше, поставлен Виппером[1], а затем специально развит и обоснован в работах Протасовой[2].

Однако, несмотря на ряд интересных и ценных наблюдений С. И. Протасовой, отмеченных выше, нет возможности принять ее основную концепцию. Для С. И. Протасовой «эллинистическая окраска» движения Гракхов, очевидно, является в первую очередь результатом «инфильтрации идей», сознательного или бессознательного «подражательства» вождей движения греческим образцам и непосредственного влияния греческой демократической идеологии на Гракхов благодаря деятельности Сципионова кружка. С. И. Протасова даже и не пытается объяснить, какие именно социально-экономические условия в самой Римской республике сделали возможным факт подобных влияний. Поэтому в изображении С. И. Протасовой «эллинистическая струя» в римском демократическом движении выглядит как нечто наносное, как некий чужеземный продукт, как результат механического копирования. Конечно, подобное представление является совершенно неприемлемым.

«Эллинистическая окраска» и влияние греческой идеологии на демократическое движение в Риме не могут и не должны объясняться стремлением к механическому заимствованию, копированию или «инфильтрацией идей», а римское демократическое движение эпохи Гракхов не может рассматриваться как «подражание» греческим демократическим образцам. Это движение, как уже отмечалось выше[3], развивалось совершенно самостоятельно, в силу внутренних причин. Однако эти внутренние причины, действовавшие в римском рабовладельческом обществе времени Гракхов, т. е. социально-экономическая обстановка периода, условия развития классовой борьбы, были во многом близки, если не аналогичны, условиям развития Греции в эллинистический период. Именно в силу этих обстоятельств и оказалось возможным не только «влияние» греческих идей на римское демократическое движение, не только использование уже «готовых форм», но родство и плодотворная связь данного движения с греческой политической идеологией.

Влияние греческой идеологии, в частности через Диофана и Блоссия, на Гракхов, впрочем, как и на других членов эллинофильского Сципионова кружка, совершенно бесспорно и засвидетельствовано рядом источников[4]. В работе Протасовой

---

[1] Р. Ю. Виппер, ук. соч., стр. 55—56.
[2] См. выше, стр. 33.
[3] См. стр. 28.
[4] Plut., Ti. Gr., 8; 17; ср. Cic., Brut., 104; Lael., 37; Val. Max., IV, 7, I.

хорошо показано, что эта идеология была по своему духу и существу глубоко враждебна староримской аристократической или, как выражается С. И. Протасова, «национальной римской культуре»[1].

Равным образом, правильно наблюдение Р. Ю. Виппера об эллинистическом характере проекта создания неотчуждаемых земельных участков[2], но наиболее ярким и бесспорным доказательством эллинистического характера рассматриваемой тенденции являются следующие две характерные черты.

Это, прежде всего, вопрос о социальной базе движения Гракхов. Попытка Гракхов опереться на римский демос представляет в настоящее время общее место всех рассуждений по этому вопросу. В принципе здесь сходятся все ученые, но при ближайшем рассмотрении, т. е. при детализации проблемы, могут быть обнаружены существенные противоречия даже и в этом наиболее распространенном пункте оценок и выводов.

Так, например, стремление Гая Гракха привлечь на свою сторону помимо городского плебса также и римское всадничество трактуется Моммзеном как попытка внесения раскола в римскую аристократию. Уже одним этим утверждением всадники как бы признаются безусловными союзниками нобилитета, что никак не может быть постулировано с такой категоричностью и в такой общей форме. Кроме того, точка зрения Моммзена если не извращает, то во всяком случае неправильно переносит акцент на второстепенный, побочный момент тактики Гая Гракха, вовсе элиминируя ее основную цель и направленность. Поэтому для выяснения вопроса о социальной базе движения гораздо более плодотворными являются наблюдения о социальном составе «демократической оппозиции».

Тиберий Гракх, несомненно, искал опоры в демосе, но, опираясь фактически на сельский и частично на городской плебс, он в данном случае воспроизводил приемы и тактику афинских демократических вождей, тогда как демоса как такового в Риме в этот период не было. В этом, кстати сказать, заключается основная «ошибка» Тиберия Гракха, одна из причин его слабости и краха движения в целом.

Гай Гракх в отличие от брата пошел дальше и, расширяя свою социальную базу, попытался опереться не только на плебс, но и на всадников, т. е. на демос в афинском значении этого слова. Сознательно или бессознательно — входить в эту сторону вопроса здесь нет ни возможности, ни нужды, — он уже

[1] См. выше, стр. 34.

[2] См. также наблюдения Н. А. Машкина о влиянии эллинистической практики на lex frumentaria Гая Гракха (Н. А. Машкин, История древнего Рима, 1947, стр. 217) и на хлебные законы Аппулея Сатурнина (там же, стр. 231).

не только внешне копировал афинских демагогов, но попытался создать себе соответствующую социальную опору. В этом, а не в том, в чем считает Моммзен, заключаются основная цель и смысл политики Гая Гракха в отношении всадников. Но и эта попытка, бесспорно, была обречена на неудачу, так как объединение этих двух социальных групп в римских условиях было не только искусственным, но даже невозможным. Демоса в афинском смысле в этот период в Риме уже не существовало: слишком противоположны были интересы двух крыльев этой «демократической», но внутренне противоречивой оппозиции. Следовательно, ее «всадническое крыло» нельзя никоим образом, как это делает Моммзен, отнести к римской аристократии, но скорее следует считать его почти самостоятельным (и как бы промежуточным) звеном, более близким, во всяком случае во времена Гракхов, к «демократической оппозиции».

И, наконец, эллинистический характер той тенденции социально-политической борьбы, которая представлена деятельностью Гракхов, сказывается и на общем выводе, вытекающем из всего вышеизложенного. Действительно, Гракхи в своем стремлении найти соответствующую социальную опору встали на путь создания «партии».

В этом утверждении, очевидно, нет ничего нового, и большинство исследователей или трактует борьбу Гракхов и их политических противников как борьбу партий — обычно оптиматов и популяров — или говорит о формировании подобных партий лишь в результате гракханского движения. Подобной точки зрения, как было показано выше[1], придерживается и ряд современных советских историков.

Нами уже затрагивался вопрос о характере политических партий в Риме и было установлено определенное понимание термина «партия» в применении к античному миру. Эта проблема служила предметом исследования ряда ученых.

Попыткой обобщения всех высказанных по этому вопросу точек зрения является специальная работа Н. А. Машкина[2]. Но эта работа дает не только обобщение или свод существующих взглядов; наоборот, на основе критики буржуазных ученых, в частности, просопографического направления, представленного в современной буржуазной науке такими исследователями, как Гельцер, Мюнцер, Сайм[3] и др., автор приходит

---

[1] См. стр. 34—35.

[2] Н. А. Машкин, Римские политические партии в конце II и в начале I в. до н. э., ВДИ, 1947, № 3, стр. 126—139.

[3] M. Gelzer, Die Nobilität der röm. Republik, 1912; он же, Die römische Gesellschaft zur Zeit Ciceros, NJPh., 1920; он же, Caesar, der Politiker und Staatsmann, 1943; F. Münzer, Röm. Adelsparteien und Adelsfamilien, 1920; R. Syme, Roman Revolution, Oxf., 1939.

к самостоятельным выводам о существе римских политических партий. Не затрагивая истории вопроса, подробно разобранного в работе Н. А. Машкина, следует остановиться лишь на некоторых принципиальных выводах автора. Совершенно правильно указывая на то, что не следует впадать в ошибки историков школы Моммзена и модернизировать политическую жизнь республиканского Рима, а следовательно, и понятие «партии» применительно к этому времени [1], Н. А. Машкин тем не менее считает вполне возможным говорить о наличии более или менее твердо конституированных партий, определяя их как «наиболее активные, сознательные, в той или иной степени организованные... группы» [2] аристократии или плебса и как «устойчивые политические течения» [3]. Такими политическими партиями в Риме Н. А. Машкин считает оптиматов и популяров, причем оптиматы трактуются им как партия аристократическая, а популяры — как партия демократическая [4]. Образование этих партий относится автором к 30-м годам II в. до н. э. «судя по Цицерону, трибунат Тиберия Гракха и положил начало оформлению этих двух течений» (т. е. оптиматов и популяров) [5].

Эти выводы [6] имеют чрезвычайно существенное значение. Они подтверждают мысль о том, что рассматриваемая демократическая тенденция развития социально-политических сил, представленная в первую очередь движением Гракхов, находила себе выражение главным образом в формах партийной борьбы. Несомненно, что к этим новым формам и методам Гракхов привела внутренняя логика развития классовой борьбы в Риме, но вместе с тем эти новые формы и методы снова свидетельствуют об «эллинистической окраске» рассматриваемой «тенденции», ибо, как уже отмечалось выше [7], именно партийные формы борьбы характерны для политических конфликтов греческого демократического полиса, но отнюдь не для Рима до времени Гракхов.

Это обстоятельство, в свою очередь, объясняет кратковременность того периода римской истории, который характеризуется указанными формами борьбы. Этот факт отмечается и

---

[1] Н. А. Машкин, ук. соч., стр. 137.
[2] Там же, стр. 131.
[3] Там же, стр. 137.
[4] Там же, стр. 131, 137.
[5] Там же, стр. 135.
[6] Хотя они не все могут быть приняты в одинаковой степени. Так, например, традиционное, идущее еще от Моммзена, воззрение на оптиматов, как на аристократическую партию, а на популяров, как на партию демократическую, представляется далеко не безусловным. См. Strassburger, Optimates, XVIII, 1, 773 слл.
[7] См. выше, стр. 21.

Н. А. Машкиным: «классический период борьбы между популярами и оптиматами продолжался недолго: он начинается со времени выступления Тиберия Гракха и кончается подавлением движения Сатурнина»[1].

Из всего сказанного ясно, что хотя Гракхи в своей деятельности исходили из вполне реальных условий римского общества, тем не менее их попытка встать на путь создания партии в условиях того времени оказалась столь же утопична и нереальна, как и надежда найти себе твердую политическую опору в уже распавшемся на отдельные социальные группировки, часто враждебные друг другу, римском «демосе».

Итак, принципиальная оценка особенностей и своеобразных форм движения, представленного деятельностью Гракхов, сводится к следующему: смелое и революционное выступление против консервативных традиций, против неписанной римской конституции[2], провозглашение демократических лозунгов, суверенности прав народа (в определенной степени под влиянием греческой идеологии), стремление найти себе социальную опору в римском «демосе» и, наконец, попытка создания демократической партии в Риме.

Гракхи были лишь первыми и наиболее яркими представителями этой тенденции. Никогда не подымаясь до такой высоты и четкости выражения, как в их время, она тем не менее продолжает давать знать о себе на всем протяжении истории Римской республики. Ее можно проследить в деятельности последующих «великих трибунов»: Аппулея Сатурнина, Марка Ливия Друза младшего и затем, если иметь в виду те модификации, которые обусловлены разложением римской демократии, изменением состава римского плебса, комиций и т. д., в деятельности Сервилия Рулла, в движении Катилины и даже в деятельности Цезаря, во всяком случае в тот период, когда Цезарь был еще главой «партии», а не единоличным правителем Римского государства[3].

Таким образом, рассматриваемая «тенденция» безусловно отражала социальные интересы, чаяния и методы борьбы римской «демократии», т. е. в первую очередь сельского и городского плебса.

Однако, употребляя термины «римская демократия», «римский плебс», всегда следует иметь в виду ограниченность и условность этих понятий, а также исторические судьбы римского плебса как определенной социальной категории. Следует

---

[1] Н. А. Машкин, ук. соч., стр. 135.

[2] Hammond, The Augustan Principate in theory and practice during the Julio-Claudian period, Cambr., 1933, стр. 5.

[3] Об этом см. ниже стр. 93. О «демократической идеологии» Цезаря, см., например, J. Gagé, De César à Auguste, RH, 1936, стр. 279—342.

иметь в виду сложный длительный процесс пауперизации сельского плебса и паразитический образ жизни городского «пролетариата» в Риме, т. е. обстоятельства, которые привели в конечном счете к разложению римской «демократии» и к утрате плебсом самостоятельной политической роли. Следует иметь в виду изменение социального состава, политических лозунгов и методов борьбы плебса. От римского плебса «классического периода борьбы оптиматов и популяров» до плебса времен хотя бы, например, заговора Катилины — дистанция огромного размера. И, наконец, следует учитывать, что по мере все большей и большей консолидации привилегированных слоев господствующего класса и все большей потери плебсом политического значения положение промежуточных групп и прослоек становится весьма неустойчивым.

Особенно ярко это обстоятельство бросается в глаза накануне и в период гражданских войн. Поэтому политическая ориентация средних слоев свободного населения заметно меняется, в их среде растут оппозиционные настроения, а демократические лозунги и идеи становятся знаменем борьбы против триумвиров[1]. Разумеется, сами триумвиры не были борцами за интересы аристократии, оптиматы были их главными врагами, оптиматы и всадники — жертвами во время проскрипций; но так как они опирались не на средние слои населения и не на «народ», как это делали обычно в предшествующих гражданских войнах противники оптиматов, то в результате этого и смогла сформироваться демократическая оппозиция их режиму.

Поэтому «эллинско-демократическая» струя, как в области политики, так и в области идеологии, продолжает жить, и ее окончательное «растворение» совпадает с крахом республики и победой нового политического режима. К тому же это растворение отнюдь не обозначает гибели, полнейшего уничтожения этой «струи», но лишь то, что она входит активным и необходимым компонентом в новый политико-идеологический синтез времени Августа.

Теперь необходимо обратиться к рассмотрению второй основной тенденции развития социально-политической борьбы в Риме. Она диаметрально противоположна первой. Эта вторая «линия борьбы» наиболее ярко выражена направлением деятельности Октавиана Августа.

В данной работе не представляется возможным рассматривать деятельность первого римского императора во всем ее объеме. Это — задача явно иного масштаба. Более того, здесь нет необходимости давать очерк внутренней политики Августа

[1] См. ниже, стр. 159—160.

или хотя бы одного из ее разделов. Достаточно ограничиться попыткой определить основную тенденцию этой политики.

Оценки деятельности Августа в исторической науке и, в первую очередь, сложившейся при нем формы правления, т. е. принципата, чрезвычайно противоречивы. Но итог длительного изучения проблемы как в зарубежной, так и в советской исторической науке позволяет придти к твердым выводам, по крайней мере, в некоторых отдельных вопросах.

Существуют три взаимоисключающие друг друга точки зрения на форму правления, установленную Августом. Первая из них была развита в конце XIX в. Моммзеном[1]. Вопрос о генезисе принципата почти не интересовал Моммзена. Это до известной степени обусловливалось его принципиальными установками. В тех работах, в которых Моммзен дает определение принципата, он пытается создать систему римского государственного права. Такой подход к вопросу неизбежно приводит к формальным, антиисторическим построениям, игнорирующим всю сложность, динамичность и противоречивость социальной основы явлений. Юридический термин или формулировка приобретают самодовлеющее значение, и часто эти формально-юридические фикции подставляются на место реальных исторических величин. Таков основной порок метода Моммзена.

Подходя к определению императорской власти с позиций этого формально-юридического метода, Моммзен говорит об imperium proconsulare и tribunicia potestas римских императоров как о двух принципиальных основах их власти. Тот политический строй, который установился в Риме в 27 г. (Моммзен здесь имеет в виду формальное разделение власти между императором и сенатом, которое продолжало de iure оставаться и дальше), определяется Моммзеном не как республика и не как монархия, а как некая своеобразная форма двоевластия, которую он и называет диархией.

Другой исследователь принципата, автор обширного труда об Августе, Гардтхаузен[2] придерживается иного взгляда. Он считает, что «восстановление республики» Августом есть явная фикция и власть Августа носила чисто монархический характер. Особенностью этой власти было необычное совмещение в руках одного человека обычных римских магистратур. В этом и заключаются магистратские основы монархии Августа.

---

[1] Th. Mommsen, Röm. Staatsrecht, II, 2, Leipz., 1887; его же, Abriss des römischen Staatsrecht, Lpz., 1917; его же, Res gestae divi Augusti, 1883.

[2] V. Gardthausen, Augustus und seine Zeit, т. I, ч. I—II, 1891; т. II, 1896; т. III, 1904.

Диаметрально противоположную точку зрения на принципат и на власть Августа развивал Эдуард Мейер [1]. С его точки зрения, принципат как особая политическая форма сложился еще при Помпее. Приемный сын Цезаря отнюдь не был наследником и продолжателем политической доктрины своего отца, ибо Юлий Цезарь стремился к установлению монархии эллинистического типа. В смысле государственного творчества Август является продолжателем дела Помпея. Принципат — это такая политическая система, когда вся полнота власти принадлежит сенату, «охранителем» которого является принцепс. Таким образом, это отнюдь не монархия или «диархия», а действительно восстановленная республика.

Каждая из вышеизложенных точек зрения имеет как многочисленных защитников, так и многочисленных противников в поистине необозримой литературе о принципате [2].

Для историка-марксиста при определении существа власти Августа, т. е. принципата, имеют огромное принципиальное значение слова Энгельса: *Материальной* опорой правительства было войско, гораздо более похожее уже на армию ландскнехтов, чем на старо-римское крестьянское войско, а опорой *моральной*—всеобщее убеждение, что из этого положения нет выхода, что если не тот или другой император, то все же основанная на военном господстве императорская власть является неотвратимой необходимостью» [3]. Этим указанием следует руководствоваться каждому, кто хочет дать оценку власти Августа не как некоей юридической категории, но как определенному социально-политическому явлению.

Поэтому совершенно прав советский исследователь проблемы принципата Н. А. Машкин, когда он подчеркивает необходимость изучения социальной основы власти Августа [4]. Для того чтобы ответить на вопрос о сущности власти Августа, нужно ознакомиться с его социальной политикой и попытаться определить ее наиболее характерные черты.

Наиболее характерной чертой социальной политики Августа является ее реставрационный характер, ее консервативно-охранительное направление. Лозунг res publica restituta обусловливал бережное отношение к древнеримской традиции к mores maiorum. Сам Август подчеркивал эту тенденцию

---

[1] Ed. Meyer, Kaiser Augustus, «Kleine Schriften», Halle, 1924, стр. 441 слл.; он же, Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius, Stuttg.—Brl., 1922.

[2] См. обзор литературы у Н. А. Машкина, Принципат Августа, 1949, стр. 338—376.

[3] Ф. Энгельс, Бруно Бауэр и раннее христианство, К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XV, 1935, стр. 606 (разрядка моя.— *С. У.*).

[4] См. Н. А. Машкин, Принципат Августа, 1949, стр. 350.

как одну из главных основ своей внутренней политики: «новыми законами, принятыми по моей инициативе, я возвратил многие обычаи предков, уже забытые в наш век»[1]. Особенно старательно он делает это там, где желает продемонстрировать свою лойяльность по отношению к древним республиканским традициям; так, например, он не забывает отметить, что «я не принял никакой магистратуры, данной мне против обычая предков»[2], или говорит, что после прекращения междоусобной войны, заняв с общего согласия верховное положение, «я передал республику из моей власти в распоряжение сената и народа римского[3]», или подчеркивает, что хотя «после этого времени я превосходил всех авторитетом, власти же имел нисколько не больше, чем остальные, которые были мне коллегами по магистратуре»[4].

Р. Ю. Виппер[5] отмечает любовь политической и социальной реакции к «национальной старине», к культу предков и традиций, и говорит, что «принцепс заявлял себя прежде всего спасителем общества от бурь междоусобных войн, восстановителем национальных традиций и первым гражданином»[6].

Это консервативно-охранительное направление отмечалось многими исследователями. Еще Г. Буассье[7] подчеркивал реставрационную тенденцию в политике Августа. Новейшие исследователи[8], анализируя «ходовые» политические термины времени Август — auctoritas, libertas, concordia ordinum, mos maiorum и т. д.,— приходят к аналогичным выводам. Чрезвычайно интересный и убедительный анализ брачного законодательства Августа дает Н. А. Машкин[9], доказывая тесную связь этих законов, утверждающих древнеримский идеал семьи (семейные традиции), с политикой укрепления рабовладения.

Другой не менее характерной чертой внутренней политики Августа является ее самобытно-римская струя, борьба за пре-

---

[1] RGDA, 8: «legibus nouis me auctore latis multa exempla maiorum exolescentia iam ex nostro saeculo reduxi». Ср. Suet., Aug., 34.

[2] RGDA, 6: «nullum magistratum contra morem maiorum delatum recepi».

[3] RGDA, 34: «rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli».

[4] Там же: «post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt».

[5] Р. Ю. Виппер, ук. соч., стр. 385—386.

[6] Там же, стр. 357.

[7] Г. Буассье, Римская религия от Августа до Антонинов, М., 1914, стр. 84—85.

[8] R. Heinze, Auctoritas, «Herm.», LX, 1925, стр. 348 слл.; A. Premerstein, Vom Wesen und Werden des Prinzipats, Münch., 1937; R. Syme, Roman Revolution, 1939.

[9] Н. А. Машкин, ук. соч., стр. 418—426.

одоление чужеземных влияний, что стоит, несомненно, в тесной связи с реставрационной тенденцией. Конечно, если говорить о борьбе с чужеземными влияниями, то эта борьба во времена Августа велась далеко не теми методами, как за два столетия перед тем. О столь прямолинейной борьбе, которая проводилась в свое время, например, Катоном, в этот период не могло быть и речи. Но тем не менее линия преемственности совершенно ясна. Об этом свидетельствует все направление внутриполитической деятельности Августа. Лозунг восстановления «старинного и первоначального вида республики» («prisca illa et antiqua reipublicae forma revocata»)[1], борьба за возрождение нравственных и семейных устоев — все это требовало обращения к тем древним нормам и идеалам, которые господствовали в римском обществе до проникновения «тлетворных чужеземных влияний и обычаев», бывших, согласно теории упадка нравов[2], основной причиной разложения Римского государства. Отсюда — верность традициям и обычаям предков (mos maiorum), постоянно подчеркиваемая Августом.

Особенно ярко консервативная тенденция, как и следует ожидать, проявилась в области идеологии и культуры. Преодоление чужеземных эллинистических влияний в области культуры (например, александринизма в поэзии) и, как следствие, расцвет римско-италийской культуры в этот период, возвращение к римским традициям, создание римского самобытного искусства — все это не раз отмечалось различными исследователями[3]. К этой же точке зрения присоединяется Н. А. Машкин в своей работе о принципате Августа[4]. Сейчас эта тенденция констатируется лишь в самой общей форме, в дальнейшем проблема преодоления эллинистических влияний, поскольку она непосредственно относится к идеологии, будет рассмотрена более подробно[5].

Чрезвычайно интересен и важен вопрос о социальной опоре Августа. Однако, прежде чем дать на него какой-либо ответ, необходимо отметить два весьма характерных момента, без учета и понимания которых нельзя выработать правильного представления о социальной базе принципата.

Во-первых,— это бросается в глаза,— в политике Августа отсутствует какое бы то ни было стремление создать себе серьезную опору в демократических элементах, т. е. в римском плебсе,

[1] Vell., II, 89.

[2] См. об этом ниже, стр. 109, 111, 112.

[3] R. Herbig, Bau, Bildwerk und Malerei (W. Kroll, Die Kultur der ciceronischen Zeit, II, 1933, стр. 135 слл.); Grenier, Le Génie Romain dans la religion, les arts et la poésie, Paris, 1926; Syme, Roman revolution, 1939.

[4] Н. А. Машкин, ук. соч., стр. 589—604.

[5] См. ниже, стр. 69.

который, видимо, даже и не расценивается Августом как реальная политическая сила. Не говоря уже о сравнении с Гракхами или их продолжателями, политику Августа в отношении плебса, как совершенно справедливо указывает Н. А. Машкин[1], нельзя сравнивать даже с паллиативной «популярной политикой» Цезаря. Цезарь, как будет показано ниже[2], в тот период, когда он считал себя еще главой «партии», провел ряд мероприятий в духе популярных лозунгов римской демократии. На всем протяжении деятельности Августа нельзя встретить подобной тенденции. Отношение Цезаря к движению Долабеллы и расправа Августа с Эгнатием Руфом тоже свидетельствуют как о принципиально различном подходе к демократическим лозунгам и движениям эпохи, так и об изменении политической роли и удельного веса самих демократических элементов в Риме. Политику Августа в отношении римского плебса Н. А. Машкин совершенно справедливо определяет как «политику хлеба и зрелищ и *полного устранения плебса от политики*»[3].

В противовес стремлению вождей римской демократии найти себе прочную социальную опору в плебсе, Август подчеркнуто стремился к тому, чтобы официально не выделять ту или иную классовую группировку в качестве своей социальной базы, но провозглашал concordia ordinum: все, кто жаждал конца гражданских войн и стремился к миру, т. е. все cives boni, могли считаться опорой нового режима. Между тем в окончании гражданской войны в той или иной степени были заинтересованы все социальные группировки. Правда, они были заинтересованы в таком мире, при котором бы все эти, иногда разнородные, прослойки могли сохранить свои привилегии. Это обстоятельство, несомненно, вынуждало Августа в какой-то мере к политике лавирования, но то был уже вопрос политической ловкости и практики, в принципе же лозунг мира[4] мог внушить самые разнообразные надежды почти всем слоям римского гражданского общества. Августу же, и это хорошо известно, нельзя было отказать в политической ловкости, и потому в смысле расширения своей социальной опоры он достиг определенных успехов. Недаром Тацит говорил, что «он привлек на свою сторону войско — подарками, народ — раздачей хлеба, а всех вообще — сладостью мира»[5].

Другим не менее характерным моментом является резко отрицательное отношение Августа к «партиям». Как известно, в самом начале перечня своих деяний Август ставит себе в

---

[1] Н. А. Машкин, ук. соч., стр. 453.
[2] См. ниже, стр. 94—97.
[3] Н. А. Машкин, ук. соч., стр. 456 (курсив Н. А. Машкина).
[4] App., BC, V, 130; Vell., II, 89.
[5] Tac., Ann., I, 2.

особую заслугу, что «республику, подавленную господством партии, я возвратил к свободе»[1].

В этом также сказывается определенное направление, резко противоположное тому, которое было констатировано при разборе другой политической тенденции.

Очевидно, эти моменты и дали основание ряду буржуазных ученых расценивать принципат Августа как некую «надклассовую форму». Еще Гардтхаузен сравнивал принципат с «надклассовой» всесословной монархией Наполеона III. Подобная точка зрения была подхвачена новейшей буржуазной историографией. Об Августе как о надклассовом вожде государства говорит еще В. Шур[2], а затем фашистские историки — немцы и итальянцы — на различные лады перепевают это утверждение.

Несомненно, что в вопросе о социальной базе принципата имеются две стороны. Внешняя сторона обусловлена до известной степени вышеназванными моментами: это — concordia ordinum, опора на cives boni, борьба против factiones, ликвидация последствий междоусобных войн и установление гражданского мира. Однако нельзя обманываться этой внешней стороной и не следует принимать ее за существо дела. Это всего лишь лозунги, политическая фразеология, выработанная идеологами нового режима и, в значительной степени, самим Августом. Это та «видимость», та призма, через которую должен был восприниматься новый режим, та идеологическая оболочка, в которой он преподносился общественному мнению. Поэтому в какой-то степени, конечно, необходимо считаться с вышеупомянутыми факторами, но их следует правильно классифицировать и правильно «локализовать»: это факторы идеологического порядка, место их — в идеологической сфере, тут они должны быть изучены и оценены, но ни на одно мгновение они не должны затемнять существа дела или ослаблять необходимость социального анализа.

Существо дела или внутренняя сторона вопроса остаются неизменными: принципат, в какие бы идеологические облачения он ни рядился, есть военная диктатура рабовладельцев, есть власть, основанная на военном господстве.

Исследователями, обращавшими внимание на социальную природу принципата, высказывались различные взгляды по поводу тех группировок господствующего класса, которые могут быть признаны истинной опорой Августа. Р. Ю. Виппер[3] говорит о стремлении Октавиана стереть следы зависимости от военного элемента и опереться на гражданские слои. Среди

[1] RGDA, 1: «rem publicam a dominatione factionis opressam in libertatem uindicaui».

[2] W. Schur, Sallustius als Historiker, Stuttg., 1934.

[3] Р. Ю. Виппер, ук. соч., стр. 329.

этих гражданских слоев наиболее важную роль играет всадническое сословие, из которого рекрутировались основные кадры императорской бюрократии, вступившей в управление городом, а затем и государством со времени падения народных собраний[1].

Р. Сайм[2] основной опорой Августа считает homines novi, т. е. италийскую муниципальную аристократию, и главным образом ветеранов, поселенных в Италии.

Чрезвычайно подробно вопрос о социальной опоре Августа анализируется в работе Н. А. Машкина[3]. Рассматривая политику Августа в отношении различных групп населения, Н. А. Машкин приходит к выводу, что Август всего лишь искусно лавировал между этими группами, но ни одна из них не была и не могла быть истинной социальной опорой власти Августа.

Общий порок всех определений сущности принципата, даваемых буржуазной наукой, состоит в том, что они отражают чисто внешний подход к этому любопытнейшему историческому явлению и содержат лишь формально-юридическую оценку его. Марксистское исследование не может удовлетвориться столь поверхностным и формалистическим подходом, оно должно учитывать и иметь в виду все стороны изучаемого явления в их диалектическом единстве.

Определяя содержание принципата, следует прежде всего уяснить классовую, социальную природу этого исторического явления. Для этого нужно сперва вернуться к уже приводившемуся выше определению Энгельса: «*Материальной* опорой правительства было войско, гораздо более похожее уже на армию ландскнехтов, чем на старо-римское крестьянское войско, а опорой *моральной* — всеобщее убеждение, что из этого положения нет выхода, что если не тот или другой император, то все же основанная на военном господстве императорская власть является неотвратимой необходимостью. На каких чисто материальных фактах основывалось это убеждение, об этом здесь не место распространяться»[4]. Итак, по своей классовой сущности, как уже неоднократно отмечалось выше, принципат был военной диктатурой господствующего класса, класса рабовладельцев. Материальной опорой этой диктатуры была армия.

Поэтому прежде всего необходимо остановиться на природе римской армии в рассматриваемую эпоху. Энгельс совершенно

---

[1] Р. Ю. Виппер, ук. соч., стр. 364, 367.
[2] R. Syme, Roman Revolution, Oxf., 1939, стр. 120.
[3] Н. А. Машкин, ук. соч., стр. 427—506.
[4] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XV, стр. 606.



БИБЛИОТЕКА № 173291

прав, когда он говорит, что по своему социальному составу это было уже не «старое римское крестьянское войско». Новые исследования показали[1], что армия в это время рекрутировалась из всего свободного населения империи и охватывала все сословия: сенаторское и всадническое, римских граждан Италии и провинций и даже не только их, но романизованное и эллинизованное население провинций. Уже один этот факт дает возможность понимать вопрос об армии как материальной (а в значительной мере и социальной!) базе нового режима достаточно широко.

Кроме того, необходимо учитывать реальное соотношение классовых сил в римском обществе. Своеобразие рассматриваемого исторического периода, как уже отмечалось, состояло в том, что победа принципата была обусловлена определенной, хотя и временной, консолидацией сил господствующего класса. Действительно, режим, дающий надежду на решительное подавление сопротивления эксплуатируемых масс, на прекращение политических смут и установление гражданского мира и, наконец, на возрождение нравов и обычаев предков, т. е. «золотого века», мог рассчитывать на то, чтобы удовлетворить социальные, политические и духовные запросы достаточно широких слоев рабовладельческого класса. Mos maiorum оказался тем более популярным лозунгом, что реставрационные тенденции в области культуры и нравственности были тесно связаны с укреплением рабовладельческого строя; да и вообще архаистические тенденции весьма характерны для настроений рабовладельческой аристократии в период империи. Этим же объясняются успех и популярность «надклассовых лозунгов» Августа, в этом секрет его пресловутой «надпартийности». Консолидация различных прослоек господствующего класса против эксплуатируемых масс — таково было внутреннее содержание провозглашенного Августом в «надклассовых» лозунгах и формулировках pax Romana. Эта сторона вопроса подробно рассмотрена в одном из наиболее ценных разделов работы Н. А. Машкина, посвященном выяснению роли Августа в укреплении рабовладения[2].

Но, во всяком случае, эти лозунги, эта пропаганда «общегражданских» идей при прочной опоре на армию давали возможность принцепсу включить в состав своей социальной базы и значительную часть всадничества и муниципальную знать, а в известной мере и сенатские круги (путем пополнения сената представителями италийской муниципальной аристократии).

---

[1] См., например, M. Rostovtzeff, Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich, I, 38—39.

[2] Н. А. Машкин, ук. соч., стр. 408—427.

Поэтому и нельзя думать, что принцепс только лавировал между классовыми и сословными группировками, не опираясь ни на одну из них. Политика лавирования нецелесообразна хотя бы потому, что бесспорная опора принципата — армия, как только что отмечалось, включала в себя представителей всех перечисленных группировок и была, несомненно, тесно связана с этими слоями рабовладельческого класса самыми разнообразными нитями. Поэтому скорее всего самая возможность прочной опоры на армию была лишь выражением достаточно серьезного политического кредита нового режима в вышеперечисленных социальных группировках.

При перечислении этих группировок не был упомянут городской плебс. Он и не должен быть включен в состав тех слоев населения, которые могли рассчитывать на реальную выгоду вследствие установления нового режима. Однако в силу своей развращенности, паразитического образа жизни и т. п. он уже не представлял собой в это время сколько-нибудь серьезной политической силы в обществе и с ним можно было не считаться [1].

В наличии сравнительно устройчивой социальной базы, в этом пусть временном и вызванном определенными социально-политическими условиями совпадении интересов различных (а в прошлом иногда и враждебных друг другу) прослоек рабовладельческого класса при политической индифферентности и бессилии римской демократии и заключается секрет победы нового политического режима, т. е. принципата. При этом упомянутые «интересы» были вполне определенными материальными и классовыми интересами господствующего класса не только Италии, но в известной мере и провинций, представляя собою те «материальные факты», на которых покоилось убеждение в неизбежности и необходимости военной диктатуры, т. е. «моральная опора» принципата.

В этом же состоит отличие нового политического режима от цезаризма, для существа которого действительно характерна попытка лавирования между отдельными группировками римского общества без достаточно серьезной опоры на какую-либо из них. Это отличие объясняет и большую прочность нового режима по сравнению с цезарианским и трагическую недолговечность последнего.

Так следует определить «внутреннее» содержание, т. е. социальную природу, принципата. Оставляя в стороне вопрос о его формально-юридическом определении, можно подвести некоторые итоги.

---

[1] См. выше, стр. 19.

Принципиальная оценка определенной тенденции социально-политической борьбы в Риме, выраженной деятельностью Августа, в основном определяется следующими моментами: поддержка консервативных традиций, реставрация их, борьба за преодоление чужеземных влияний, «самобытно-римская» струя внутренней политики, опора на верхние слои господствующего класса и «надпартийная» фразеология как идеологическое облачение нового режима.

Август был последним и наиболее ярким представителем этого направления. Но оно, как и первая из рассмотренных выше тенденций, может быть прослежено на всем протяжении истории Римской республики. Если обратиться от Августа в глубь римской истории, то, несомненно, к представителям этого направления могут быть отнесены Цицерон, частично Сулла и безоговорочно Катон Старший, несмотря на различие эпох и своеобразие политической ориентации упомянутых деятелей [1].

Историческая судьба второй тенденции сложилась совершенно иначе. В силу не раз уже отмечавшихся социально-политических предпосылок она оказалась в условиях римской действительности более жизненной. Кроме того, определенную роль сыграло ее большее «соответствие» римскому патриотическому чувству: это была «самобытная» струя, а не чужеземный продукт, к которым римляне все-таки в подавляющем своем большинстве относились враждебно, никогда не воспринимая подобные влияния без сопротивления и соответствующей переработки.

Политическая история Римской республики во всем ее многообразии не может и не должна сводиться к борьбе двух констатированных выше направлений, которые были лишь основными, но не единственными в сложной, многообразной и противоречивой картине политических взаимоотношений II—I вв. до н. э., и отражали в своем развитии борьбу враждебных друг другу классовых группировок римского рабовладельческого общества.

---

[1] Как известно, Катон и Цицерон не были выходцами из среды римского нобилитета, но принадлежали к homines novi. Поэтому Катон и возглавлял оппозицию по отношению к олигархическим слоям нобилитета, шедшим за Сципионом Старшим, как представитель плебейской аристократии и идеолог новых торгово-ростовщических слоев господствующего класса. Однако характерно, что эта борьба облекалась им в форму борьбы против nova flagitia и за восстановление mores maiorum (см. об этом ниже, стр. 64). Что же касается Цицерона, то известно, что он в последний период своей политической карьеры выступал как ярый сторонник сенатской реакции.

## Глава III

# ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РИМСКОГО ОБЩЕСТВА
### II—I вв. до н. э.

Пресловутый тезис о родстве греко-римского мира как будто бы ни в чем не находит себе столь блестящего подтверждения, как в вопросе о родстве культур. Общепринятый взгляд, распространившийся в буржуазной науке, сводится к следующему: во-первых, утверждается безусловное превосходство греческой культуры, в широком смысле слова, над римской, последняя же признается несостоятельной и эклектичной, как бы бледным, а иногда просто искаженным отражением непревзойденных греческих образцов. Даже у новейших буржуазных ученых, пытающихся иногда отделаться от этой гипнотизирующей идеи, сплошь и рядом встречаются утверждения вроде: «римской цивилизации не было бы без греческой культуры»[1] или «римские истолкователи оригинальных греческих мыслителей столь же мало сохранили первоначальный смысл истинно древних мыслей и принципов, как и бледные римские копии — греческих пластических оригиналов»[2]. Во-вторых, отмечается благое и оплодотворяющее влияние греческой культуры, без прямого воздействия которой римляне, очевидно, были бы вынуждены прозябать в невежестве, обусловленном их творческим бессилием. И, наконец, в-третьих, процесс проникновения чужеземных влияний в Рим обычно изображается как «мирное завоевание» римской культурной среды более высокой эллинистической культурой, не встретившее видимого сопротивления и противодействия в широких слоях римского общества.

В действительности же созданная буржуазной наукой, картина благотворного влияния и мирного проникновения

---

[1] W. Kroll, Die Kultur der ciceronischen Zeit, I, 1933, стр. 117.
[2] P. Hanschke, Der Einbruch des Orientalischen in das klassische römische Schrifttum als Vorbereitung des Christentums, NJADB, 1938, H. 2—3, стр. 119.

чужеземной культуры в римское общество далека от истины. Сами древние, насколько известно, воспринимали этот процесс совсем иначе, и сохранившиеся свидетельства доказывают, что они думали и говорили о нем далеко не в столь мирных и идиллических тонах. В действительности этот процесс представлял собой острую и напряженную борьбу, отражавшую сложные, противоречивые, а иногда даже прямо враждебные социально-политические взаимоотношения эпохи. Только буржуазная наука, заинтересованная в выхолащивании любых признаков и проявлений классовых противоречий, может давать столь приукрашенную картину идеологической борьбы в древности. О проникновении в Рим эллинистической культуры следует судить не по статичным, да еще возведенным в абстракцию «чистого искусства» результатам, но на основании изучения динамичного, рассматриваемого в его конкретно-исторической действительности, процесса. Для этого необходимо проследить, хотя бы в самых общих чертах, процесс проникновения чужеземных культурных влияний в римское общество.

Однако, для того чтобы понять сущность этого процесса, необходимо иметь определенное представление о той противодействующей среде, на которую эти влияния наталкивались, т. е. об идеологической среде, окружавшей римлянина раннереспубликанской эпохи в его семье, роде, во всей общине. Детальное и точное определение идейных ценностей и масштабов этой отдаленной эпохи едва ли возможно. Только анализ некоторых моральных категорий, рудиментов древней морали полиса, может дать хотя бы ретроспективное представление об идеологической среде раннего Рима.

Древнеримская мораль была моралью, созданной римской рабовладельческой общиной на основе традиционных установлений, восходящих еще к родовому строю.

Цицерон говорит: «предки наши всегда в мирное время следовали обычаю, на войне — пользе»[1]. Это преклонение перед традицией, типичное, разумеется, не только для римлян, но и для многих других племен и народностей, стоящих на ранних ступенях общественного развития, было особенно ярко представлено в Риме. В данном обращении к consuetudo, к традиции, можно выявить характерные черты римской идеологии: элементы консерватизма и враждебности ко всяким новшествам.

Необходимо остановиться на некоторых основных категориях идеологии полиса, учитывая, однако, что моральные воззрения римского общества раннего периода являются воззрениями

---

[1] Cic., pro lege Man., 60: «maiores nostros semper in pace consuetudini, in bello utilitati paruisse».

его аристократической верхушки. В данном случае нет необходимости снова определять римские virtutes, о чем уже много писали [1], достаточно отметить их специфические черты.

Едва ли содержание этих virtutes может быть установлено в общем и в то же время однозначном смысле. Они многообразны и зародились они не в форме абстрактных существительных, но как живые и конкретные прилагательные, как определения поступков людей: aequus, несомненно, старше, чем aequitas, modestus, чем modestia, prudens, чем prudentia, и т. д. Все virtutes относятся к отдельным сторонам жизни и деятельности людей, но специфическое значение их создается в каждом отдельном случае в зависимости от причины применения virtus именно в этом случае. Так, например, pietas находит применение главным образом в области того, что не поддается гражданскому и уголовному праву, но следует ли применить pietas к религиозно-культовой области или для определения отношения к родне, клиентам,— это можно решить лишь на основании каждого отдельного случая, где употреблено понятие pietas. Здесь, как и всегда, приходится сталкиваться с многозначностью понятий и с трудностью выделить «основное значение». Отсюда необычайная жизненность римских virtutes и даже самих терминов, которые внешне не менялись на протяжении столетий, но в которые каждое поколение вкладывало свой смысл. Благодаря этой особенности становится также понятен тот успех, с каким классическое время и, в частности, Цицерон наполняли новым содержанием древние моральные понятия и критерии.

Моральные категории римской древности отнюдь не исчерпываются четырьмя основными добродетелями, господствовавшими в греческой этике классической эпохи. Римляне, наоборот, требовали от каждого бесконечного числа virtutes, которые нередко выступают парами и невольно наталкивают на аналогию с римской религией и ее бесконечным числом различных богов. От человека требуются fortitudo и sapientia, мужество и практический смысл, или такие политически окрашенные добродетели, как audacia и consilium, ingenium, iudicium, а позже prudentia, требуются и такие качества, как auctoritas, dignitas, gravitas, severitas, fides, diligentia, studium, industria, verecundia, religio, pietas, modestia, aequitas, reverentia. При этом требуется наличие всех качеств вместе, и человек оценивается не столько по его отдельным virtutes, сколько по их совокупности; сумма всех требуемых качеств и есть римская virtus в общем смысле слова — всеобъемлющее выражение достойного поведения каждого римлянина в рамках

[1] См., например, R. H e i n z e, Vom Geist des Römertums, Lpz., 1938.

римской гражданской общины. Чувство это обусловливалось примером предков, и тот факт, что древнеримская мораль была целиком ориентирована в прошлое, вполне определяет направление и особенности понятия virtus.

Порядок и последовательность нравственных обязанностей в древнем Риме нам хорошо известны: сначала долг по отношению к родине, затем к семье и родственникам и только на последнем месте приватные обязанности. Кратчайшее определение этой издревле признанной последовательности дает Луцилий, друг Сципиона Младшего[1]:

«commoda praeterea patriae summa putare
deinde parentum, tertia iam postremaque nostra»,

«должно о благе отчизны сперва наивысшем подумать,
после о благе родных и затем уже только о нашем».

Высшая ценность, которую знает римлянин, — это родной город и его могущество. Даже переселившиеся в Рим роды чувствовали себя истыми римлянами[2]. Рим рассматривался как некая вечная и бессмертная величина[3], которая во всяком случае переживет каждую отдельную личность. В случае конфликта интересы отдельной личности всегда отступают перед интересами общества в целом. Древнеримская virtus измерялась и определялась ее непосредственным отношением к благу народа, государства; если же virtus не могла быть поставлена на службу обществу непосредственно, то она не имела никакой цены. Отсюда, конечно, следует, что указанную добродетель проявляли на деле не ради ее самой, но для блага Римской республики, что ожидалось признание и подтверждение virtus не личным мнением, а той корпорацией, которой virtus и была поставлена на службу, т. е. римской гражданской общиной. Только община и может даровать человеку честь, отличия, славу, только она является единственной и высшей инстанцией для признания и аппробации virtus. Поэтому virtus не существует в отрыве от римской государственной жизни и не может быть независимой от приговора граждан.

Таковы некоторые положения и требования древнеримской морали. Несомненно, они являются лишь рудиментарными остатками, так как к тому периоду римской истории, который уже поддается изучению, все эти моральные устои были основательно поколеблены и римское общество находилось в состоянии жестокого идеологического кризиса.

---

[1] Luc., фр. 1337 слл.
[2] Cic., de leg., II, 3 слл.
[3] Cic., de rep., III, 34.

Кризис древнеримской морали, обусловленный развитием социальных противоречий внутри общины, фактом выхода Римского государства за экономические и политические рамки полиса, был тесно связан с проникновением в римское общество чуждых идеологических влияний.

Римское общество начинает испытывать воздействие чуждых, в первую очередь, греческих или через посредство греков передаваемых культурных влияний еще в так называемый «царский период», однако особенно они усиливаются с начала III в. до н. э. В качестве примера можно остановиться на сципионовых надписях.

Эти надписи в смысле своего содержания являются специфическим продуктом древнеримской полисной идеологии. В них, например, достаточно ясно проступает такая характерная черта, как аппробация достоинств (virtus) отдельного члена общины совокупным мнением сограждан, т. е. всех остальных членов общины. Как нетрудно убедиться, надпись Луция Корнелия Сципиона, консула 259 г.: «Большая часть [римлян] согласны в том, что это был лучший муж из хороших»[1], подчеркивает решающее значение суждения именно сограждан.

В обеих древнейших надписях воспроизводится общественно-политическая карьера лиц, которым надписи посвящены. К перечню занимавшихся ими должностей примыкает перечисление деяний, совершенных ими во имя res publica[2]. И, наконец, члены рода Сципионов награждаются абстрактными и «типовыми» древнеримскими добродетелями: honos, fama virtusque, gloria atque ingenium[3]. Все это свидетельствует о «специфически римском» по существу содержании этих надписей.

Но вместе с тем на их примере можно уже обнаружить некоторое формальное влияние греческих образцов[4]. Самый обычай ставить метрические надписи тоже, возможно, идет из Греции. То, что обычай метрических надгробных надписей даже в значительно более позднее время воспринимался как чуждый, не римский, явствует из указаний Катона на различие между греческим и римским обычаем почитания героев, когда он приводит elogia в честь Леонида. Более поздняя надпись составлена уже в дистихах. Типично греческими являются украшения на саркофаге старейшего из Сципионов, консула 298 г.[5]

---

[1] Remains of Old Latin newly edited and translated (E. H. W a r m i n g t o n), IV, Lond., 1940, № 3—4 = CIL, I, 2, 9: «honc oino ploirume consentiont R[omai] duonoro optumo fuise viro».

[2] ROL, IV, 1—2; 3—4 = CIL, 1, 2, 6, 7, 8, 9.

[3] ROL, IV, 5 = CIL, 1, 2, 10.

[4] Подробнее об этом см. F. H a c h e, Römisches und Unrömisches in Altlatein, NJADB, 1938, H. 9, стр. 403—405.

[5] Elogium Сципиона Барбата, очевидно, более позднего происхождения, чем стихотворная надгробная надпись его сына. Однако прозаи-

Древнейшие надписи Сципионов появились в то время, когда эллинистические влияния впервые коснулись высших слоев римского общества. В III в., особенно во второй его половине, в этих слоях распространяется греческий язык, и постепенно знание его становится как бы признаком хорошего тона. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры. Еще в начале III в. Квинт Огульний, глава посольства в Эпидавр, овладевает греческим языком. В конце III в. Фабий Пиктор и Цинций Алимент пишут свои труды по-гречески. Во II в. уже большинство сенаторов владеет греческим языком. Луций Эмилий Павел, как известно, из всей македонской добычи отобрал себе только библиотеку царя Персея. Он же стремился дать своим детям греческое образование и был уже настоящим филэллином. Сципион Эмилиан и все члены его кружка бегло говорили по-гречески. Публий Красс пытался даже изучить греческие диалекты. Полибий, хоть и писал по-гречески, весьма рассчитывал именно на римских читателей своего труда. Во времена Цицерона уже все сенаторы, во всяком случае, понимали по-гречески: когда Молон, глава родосского посольства, держал речь перед сенатом и, конечно, на своем родном языке, сенаторам не требовался переводчик. Преподавание риторики в Риме тоже было монополией греков, и попытка Плотия Галла создать школу Latini rhetores не имела успеха [1]. Цицерон, как известно, свободно владел греческим языком; не менее хорошо знали его Помпей, Цезарь, Марк Антоний, Август. Подавляющее большинство римских аристократов, бывая на Востоке, свободно объяснялись по-гречески [2].

Вместе с языком в Рим проникает и греческая образованность. Великих греческих писателей знали прекрасно. Широко известно, как Сципион реагировал на известие о гибели Тиберия Гракха цитатой из Гомера. Среди молодых римлян из аристократических семей распространяется обычай образовательных путешествий. Речь шла не только об изучении языка, но об образовании в более широком смысле слова и, в первую очередь, об изучении философии. Увеличивается поток римлян, прибывающих в Афины или на Родос с целью получить высшее образование. С другой стороны, в самом Риме растет число греческих реторов и философов. Повышается число римлян, серьезно интересующихся философией и примыкающих

---

ческий titulus, как показывает форма букв, несомненно, раннего происхождения и появился вскоре после смерти Сципиона Барбата (280 г.?).

[1] Тут, возможно, действовали политические причины; латинские реторические школы считались очагом демократической агитации, а потому и были закрыты.

[2] Обо всем этом более подробно см. W. Kroll, Die Kultur..., I, стр. 117—134.

к определенным школам: таковы, например, Лукреций, последователь эпикуреизма, Катон Младший, старавшийся жить по заветам стоической школы, Нигидий Фигул, представитель только нарождавшегося в то время неопифагорейства, Цицерон—эклектик, склонявшийся, однако, более всего на сторону академической философии, и т. д. Целый ряд профессий был как бы монополизован греками[1].

Определенные круги нобилитета охотно шли навстречу этим влияниям, отступая от требований традиционной древнеримской морали. Фламинин, провозгласивший на истмийских играх 196 г. свободу Греции, был первым выдающимся римлянином, который добился славы не только у своих соотечественников, но и у греков[2]. Его поведение свидетельствует о том, что эта репутация была для него далеко не безразличной, что его уже интересовало мнение, сложившееся о нем не только в самом Риме, но и вне его. Он с явным удовлетворением принимает греческие почетные звания и должности, он направляет посвятительные дары в Дельфы, именуя себя не римлянином, но «потомком Энея» (Αἰνεάδης), он разговаривает при дипломатических свиданиях по-гречески[3], что противоречило всякой традиции[4]. Филэллинская политика Фламинина привела даже к возникновению такой версии о нем, что будто бы из-за желания сохранить популярность у греков он дал склонить себя, вопреки собственному мнению и интересам Римского государства, к столь роковой в недалеком будущем эвакуации важнейших опорных пунктов: Коринфа, Халкиды и т. д.[5] В действительности, однако, это не помешало римлянам сохранить прочную гегемонию в Македонии и Элладе и в течение следующего полустолетия окончательно подчинить эти страны римскому господству; Фламинин вовсе не был изменником Рима ради общественного мнения Эллады. Поведение Фламинина было выражением той концепции внешней политики Рима, приверженцем которой был Сципион и против которой столь упорно боролся Катон. Фламинин, хотя он и был личным противником Сципиона (последний, в частности, противился избранию его консулом на 198 г.), очевидно, придерживался этой же концепции. Версия же, приведенная у Плутарха, весьма характерна для этого писателя, который вообще любит подставлять психологические мотивы вместо политических.

Одним поколением позже Фламинина живет Авл Постумий Альбин (консул 151 г.). Полибий рисует его как филэллина.

[1] Kroll, Die Kultur..., I, стр. 117—134.
[2] Plut., Tit., 12.
[3] Там же, 5.
[4] Val. Max., II, 2, 2.
[5] Plut., Tit., 10.

Альбин написал историческую работу по-гречески и счел необходимым в предисловии извиниться за возможные погрешности в языке. Катон насмехался над этим, но для Альбина, видимо, важнее было мнение греческого образованного общества, чем приговор «деревенщины». Еще дальше пошел по этому пути в следующем поколении некто Тит Альбуций (претор 104 г.), который в Афинах вовсе обратился в грека, открыто подчеркивал свою приверженность к эпикурейству и хотел, чтобы его не считали римлянином. Наконец, друг Панетия, римский стоик Публий Рутилий Руф (консул 105 г.), принимает во время своего изгнания гражданство Смирны, избранной им в качестве новой родины, и даже отклоняет приглашение Суллы вернуться в Рим, что по древнеримским понятиям было просто святотатством. Правда, у Рутилия Руфа были на этот счет определенные политические причины, но самый факт все же является характерным.

То, что в приведенных примерах дело идет прежде всего о ломке традиции, не вызывает никаких сомнений. Для римлянина древних времен играло роль только мнение сограждан, мнение же иностранцев было ему глубоко безразлично. Более того: глубокое равнодушие древнего римлянина к чужеземцам обычно было смешано с явным к ним презрением. Эту точку зрения олицетворял Катон, бывший современником Фламинина. Последний, наоборот, как свидетельствует его образ действий, хотя и считался с мнением римских граждан, и в первую очередь коллег по сословию, но уже не мог признавать его единственной определяющей линией поведения.

Все это, бесспорно, свидетельствует о проникновении в Рим чужеземных и, в первую очередь, греческих влияний. Однако было бы совершенно неправильным изображать проникающие в Рим чужеземные влияния только как влияния чисто греческие, как «дыхание Эллады». Ибо это был уже период эллинизма, когда так называемая классическая греческая культура подверглась серьезным изменениям в самом своем существе и была в значительной степени ориентализована. Поэтому в Рим, правда главным образом через посредство греков, а несколько позже и более прямым путем, проникают культурные влияния Востока.

Особенно широкое распространение в Риме и, видимо, сначала в низших слоях общества получили эсхатологические и сотериологические идеи, отчасти эллинистического, отчасти восточного происхождения. Официальное признание сотериологических символов, как показал Н. А. Машкин[1], происходит

[1] Н. А. Машкин, Эсхатология и мессианизм в последний период Римской республики, Изв. АН СССР, СИФ, III, № 6, 1946, стр. 447.

во времена Суллы. Своими корнями названные идеи уходят в отдаленное прошлое древнего Востока [1], в первую очередь Египта. В странах Передней Азии эти идеи имели, видимо, независимое развитие. Наиболее отчетливую систематизацию они получили, с одной стороны, в иранском, а с другой — в иудейском богословии. Распространяясь по другим странам древнего Востока, эти идеи постепенно теряли местный колорит и приобретали все более и более отвлеченный характер. В эллинистическую эпоху они получили новые основы для своего развития. «Сотериологические символы приобретают большое значение в культе эллинистических монархов, сотериологические идеи оказывают влияние на социальные программы массовых движений эллинистической эпохи» [2].

С утверждением римлян в Малой Азии связан рост эсхатологических настроений, в которых вера в недалекую гибель мира и мечты о будущем золотом веке переплетаются между собой. Движение Митридата содействует широкому распространению учений о чудесном наступлении лучших времен и т. д., а его крах и окончательное покорение Малой Азии Римом снова возрождают пессимистические настроения. Эти идеи проникают в Рим, где они сливаются с этрусской эсхатологией, имеющей, может быть, также восточное происхождение, и сотериологическими символами дионисийских культов. Особое значение эти системы приобретают в годы социальных потрясений (переворот Суллы, гражданские войны до и после смерти Цезаря), и это обстоятельство свидетельствует о том, что эсхатологические и мессианистические мотивы представляли собой отражение не только религиозных взглядов, но и определенных социально-политических чаяний.

Поэтому представляется вполне возможным установить определенную связь между этими восточными влияниями, проникавшими в Рим, и подготовкой крупнейшего кризиса античной идеологии, нашедшего свое выражение в победе христианства. Широкому распространению христианского учения, не только на Востоке, но и на Западе империи, несомненно, немало содействовало то обстоятельство, что христианство развивалось на взрыхленной эсхатологическими учениями почве.

В античной идеологии имеется ряд явлений, которые оказываются как бы связующим звеном, образуют как бы промежуточную среду между «чистой античностью» и «чистым Востоком». Таковы орфизм, пифагорейство, определенные элементы

[1] Подробнее об этом см. у Н. А. Машкина, ук. соч., стр. 441—448, 459.

[2] Н. А. Машкин, ук. соч., стр. 459.

платонизма, стоицизм. В период нарастающего кризиса античного мира на основе античной идеологии, из осколков античных философских систем,— пифагорейской и платонической, — начинается формирование новых течений, чуждых настоящей античности и восточных по самому своему существу. Таковы неопифагорейство и неоплатонизм. Противоречивый и кризисный характер этих явлений находит свое отражение, что и представляет в данном случае наибольший интерес, в римской литературе периода гражданских войн и падения республики[1].

Упоминавшийся выше Нигидий Фигул — один из друзей Цицерона — был представителем неопифагорейства, имевшего вполне определенную восточную окраску. Он пытался связать воедино этрусскую, сивиллианскую и халдейскую мудрость, он штудировал sphaera graecanica et barbarica в надежде разгадать прихоти рока[2]. С другой стороны, не менее характерен облик Лукреция, ведшего напряженную борьбу против восточной superstitio. Подобные мотивы являются отзвуком настроений низших слоев населения, в особенности широких и социально бесправных масс не граждан, наводнявших в ту эпоху Рим.

Если теперь обратиться к классическим образцам римской литературы, то сквозь некий «гармонизующий эклектизм», пытающийся объединить суждения стоического, эпикурейского, платонического, академического и аристотелевского толка, бросается в глаза чрезвычайно характерное для эпохи подчеркивание дуализма тела и духа[3] при резко отрицательном отношении к телу и материи, почти предвосхищающем тон христианских проповедей. Противопоставление тела и духа можно встретить и в «Тускуланских беседах» и в «Somnium Scipionis» Цицерона и особенно четко у Саллюстия в prooemia к «Заговору Катилины» и «Югуртинской войне». Так, например, у Саллюстия сказано: «вся наша сила заложена в духе и теле; духом мы пользуемся более как господствующим началом, телом — как подчиненным; одно у нас обще с богами, другое — с животными»[4]. Так же и в «Югуртинской войне»: «наконец, блага, даруемые телом и судьбой, имеют как начало, так и конец, и все рождающееся гибнет, а все растущее стареет; дух несокрушим и вечен: истинный руководитель человеческого рода, он все

---

[1] См. Hanschke, ук. соч., стр. 119.

[2] Capcopino, La basilique Pythagoricienne de la Porte Majeure, 1926, стр. 196.

[3] См. Reinhardt, Kosmos und Sympathie, 1926, стр. 290; Hanschke, ук. соч., стр. 119—120.

[4] Sall., Cat., 1, 1: «nostra omnis vis in animo et corpore sita est; animi imperio, corporis servitio magis utimur; alterum nobis cum dis, alterum cum beluis commune est».

направляет и всем владеет, сам [будучи] ничему не подвластен»[1].

В «Somnium»[2] имеется следующее рассуждение: истинным носителем личности следует считать не бренное тело, но бессмертную душу. Она божественна, и как вечносущий бог управляет преходящим миром, так и вечная душа движет бренным телом. Поэтому ее задача заключается в том, чтобы оставить позади себя все земное, тленное и обратиться к вечному.

В «Тускуланских беседах»[3] Цицерон говорит, что для него кажется загадочнее и непонятнее то, что божественный дух живет в чуждом ему по существу теле, чем то, что он возвращается на свою небесную родину и существует для самого себя. В знаменитой самоцитате из «Consolatio»[4] подчеркивается единство между божественной, призванной к преодолению бренного мира душой и освобожденным от всяких земных связей божеством.

Согласно анализу Рейнхардта в «Тускуланских беседах» проступает влияние Антиоха Аскалонского[5]. Это было взято под сомнение Виламовицем, который чрезвычайно скептически относится к оригинальности мышления и учения Антиоха[6]. Но подобное возражение в данном случае совершенно несостоятельно: наоборот, чем менее Антиох был оригинален, тем более он был приспособлен к передаче восточных религиозных догм.

Здесь можно наблюдать самый исток вторжения восточных влияний. Возможно, что «пограничной средой» в данном случае была идущая от Аристотеля (и известная в качестве стоической) геоцентрическая картина мира, согласно которой подлунный мир несовершенен. Так и по Цицерону[7] под луной все тленно, кроме имеющих божественное происхождение душ человеческих.

И, наконец, известно, как сильны восточные мотивы в творчестве Вергилия. Не говоря уже о знаменитой четвертой эклоге, можно констатировать наличие весьма значительных восточных компонентов в творчестве Вергилия, Горация и других поэтов «золотого века»[8].

---

[1] Sall., Iug., 2: «postremo corporis et fortunae bonorum ut initium sic finis est, omniaque orta occidunt et aucta senescunt; animus incorruptus aeternus rector humani generis agit atque habet cuncta neque ipse habetur».

[2] Cic., de rep., Somn., 26.

[3] Cic., Tusc., I, 51.

[4] Cic., Tusc., I, 66.

[5] Reinhardt, ук. соч., 292 слл.

[6] Wilamowitz-Möllendorff, Glaube der Hellenen, II, 1932, стр. 413.

[7] Cic., de rep., Somn., 27—28.

[8] См. Н. А. Машкин, ук. соч., стр. 451—453; E. Norden, Geburt des Kindes, 1924, стр. 31; W. Weber, Der Prophet und sein Gott, 1925, стр. 114.

Таковы факты, свидетельствующие о проникновении чужеземных влияний в Рим и отражающие ход этого процесса в сфере идеологии.

Эти факты не вызывают сомнения. Но признание их еще не означает необходимости принять тезис о мирном проникновении этих идей и влияний в римскую среду, об их «бескровной победе» над Римом и об оплодотворении ими духовной жизни римского народа.

На самом деле это был чрезвычайно трудный, противоречивый, временами даже мучительный процесс. Проникновение чуждых влияний встречало упорное и ожесточенное сопротивление римского общества. Во всяком случае, этот процесс никоим образом нельзя представлять себе как благожелательную готовность к принятию эллинистической и тем более восточной культуры, но как борьбу с ней, борьбу за ее преодоление.

Достаточно вспомнить знаменитый процесс и senatus consultum de Bacchanalibus 186 г.[1], свидетельствующий как о широком распространении эллинистических и восточных влияний в Италии, так и о реакции сопротивления, которую они вызвали в высшем римском обществе. К тому же senatus consultum de Bacchanalibus имел и определенное политическое значение: общины поклонников Вакха представляли собой illicita collegia и притом не только в Риме, но и среди союзников. Рассматриваемый сенатус-консульт представляет собой один из первых случаев вмешательства сената во внутренние дела союзников[2].

Вспомним деятельность одного из наиболее характерных вождей «охранительного» движения — Катона Старшего. Его программа, провозглашенная перед выборами, определялась борьбой против nova flagitia и восстановлением prisci mores[3]. Избрание его цензором на 184 г. доказывает, что эта программа пользовалась поддержкой определенных и, видимо, достаточно широких слоев римского общества. Проникновение разлагающих чужеземных влияний, рост богатства и роскоши, как главная причина упадка нравов, а следовательно, и мощи Римского государства, — такова была политическая основа этой программы. Катон является родоначальником теории упадка нравов, сыгравшей чрезвычайно важную роль в истории римских политических учений[4].

Его борьба против чужеземных влияний была чрезвычайно упорной. Она имела достаточно серьезные политические осно-

---

[1] ILS, I, 18-CJL, I², 581; L i v., XXXIX, 8 слл.
[2] F. F r a n k, Italy, CAH, VIII, стр. 351.
[3] L i v., XXXIX, 41, 4.
[4] См. ниже, стр. 109.

вания. Он боролся не только против Graeculi, т. е. легкомысленных подражателей греков, превративших это внешнее подражательство в новую моду, но выступал против эллинистической учености в самом высоком смысле[1]. Обычно любят обращать внимание на второстепенные детали: предостережения, даваемые сыну против греческих врачей, презрительные отзывы о поэзии, но недостаточно оценивают политические меры Катона, проведенные им в его цензорство. Среди сенаторов, изгнанных им из сената, был Фламинин, брат знаменитого освободителя Греции и одного из первых филэллинов, среди всадников, у которых был отнят equus publicus, был брат Сципиона Африканского и т. д. Эти меры свидетельствуют о том, что Катоном в его цензорство был нанесен ряд ударов его политическим противникам — представителям филэллинских кругов римского общества — и что борьба его с распространением nova flagitia велась прежде всего как борьба политическая.

Катон имел определенную теорию относительно этих nova flagitia, относительно отхода от prisci mores. На первом месте среди этих flagitia должна быть поставлена luxuria богачей[2], затем avaritia, которую Катон еще раньше порицал у своего противника, консула 193 г. Квинта Минуция Терма[3], прямым протестом против которой были его мероприятия в Сардинии в 198 г.[4] и его действия после испанского проконсулата[5]. В «Carmen de moribus»[6] он объявляет avaritia, а также luxuria корнем всех зол. Avaritia, полагает он, есть качество весьма распространенное (в кругах знати)[7]. Не менее распространен и другой порок — ambitus. Из-за последнего он поссорился в 204 г. с Публием Сципионом[8], он открыто упрекал в этом же пороке консула 189 г. Марка Фульвия Нобилиора[9], в заискивании которого перед народом он видел демагогию худшего сорта. Затем он видит угрозу для pudicitia (и опять-таки главным образом в среде знати). Он упрекает выступившего вместе с ним соискателя цензуры Луция Ветурия в impudentia и duritudo, и его собственные цензорские мероприятия направлены против этих flagitia[10].

---

[1] Plut., Cato Maior, 23.
[2] См. Polyb., XXXI, 25, 5; Liv., XXXIX, 44; Plut., Cato Maior, 18.
[3] Gell., NA, XVIII, 9.
[4] Liv., XLII, 27.
[5] Plut., Cato Maior, 5.
[6] Gell., NA, XI, 2.
[7] Там же, XI, 18, 18.
[8] Liv., XXIX, 25; Plut., Cato Maior, 3.
[9] Gell., NA, V, 6, 24.
[10] О столкновении Катона с Луцием Ветурием см. Plut., Cato Maior, 17.

В течение всей своей жизни он боролся против надменности и грубости (superbia, crudelitas, ferocia). Еще в 190 г. он клеймит своего главного противника Терма, обвиняя его в этих пороках[1], тот же мотив звучит в 184 г. в речи против Ветурия и, наконец, он пронизывает всю родосскую речь 167 г.[2] Затем он обращается против desidia, против недостаточности industria — отсутствия активности и инициативы; еще во время своего испанского наместничества побуждал он своих всадников к labor[3]. Его возвращение в армию во время войны с Антиохом, после отправления консульской магистратуры и проконсулата, было явным протестом против обычая, распространенного в кругах нобилитета: удаляться на покой после отправления высшей должности. И, наконец, в речи против Ветурия de sacrificio comisso он яростно возмущается упадком древнего благочестия.

Подводя итог, можно сказать, что Катон видит упадок древних нравов в том, что luxuria, avaritia, ambitus, superbia, crudelitas, ferocia, impudentia, desidia перешли всякие границы. Здесь можно наблюдать такую же множественность пороков, как в свое время наблюдалась множественность древнеримских virtutes. Но если бесконечное множество добродетелей было объединено как бы общим стержнем, а именно интересами и благом государства, то и те flagitia, против которых Катон боролся всю жизнь и которые уже в 184 г. воспринимались среди некоторых представителей сенаторского сословия как серьезная угроза, тоже имели нечто общее. Все они представляют собой стремление ублаготворить личные интересы, даже в том случае, если это противоречит требованиям общего блага. Особенно ясно видно отклонение от древних традиций на примере перехлестывания через край desidia. Частные, эгоистические устремления берут верх над гражданскими, над общественными интересами, и это явление было первым и наиболее ярким признаком потрясения древних нравственных устоев.

Конечно, не следует обманываться этой сублимированной, «надклассовой» фразеологией Катона, которая на деле прекрасно прикрывала весьма прозаические и материальные интересы определенных кругов римской рабовладельческой знати, идеологом которых и был Катон, но сейчас эта фразеология должна рассматриваться как те лозунги и формы идеологической борьбы, в которых проявляла себя «охранительная тенденция» римской аристократии.

---

[1] Gell., NA, X, 3, 15.
[2] Там же, VI, 3.
[3] Там же, XVI, I, 3.

Но и в более позднюю эпоху, для которой были выше констатированы столь блестящие успехи распространения внешней греческой образованности, снова проявляется глубокое внутреннее противодействие, так сказать, «защитная реакция» римского общества. Многие культурные формы, которые всегда находили высокое признание у других народов, были презираемы римлянами. В греческой культурной среде певец и поэт — почитаемые люди, по римским же понятиям, как пение, так и танцы, поскольку они не входили в состав древнего религиозного ритуала, противоречат требованию gravitas[1], поэзия считается бездельем[2]; известно, как должен был Гораций в течение своей жизни бороться за признание искусства серьезным занятием. Известно также, что Цицерон пытался оправдать свои философские штудии, как занятие, достойное римлянина[3], известно и об изгнаниях философов из Рима[4]. С тех пор, как в Греции существовала драма, актерами были свободные и уважаемые люди; в Риме — это рабы, которых бьют, если они плохо играют; считалось бесчестным и достаточным основанием для порицания цензоров, если свободнорожденный выступил на сцене. Что касается врачей, которых Катон зачислял в одну группу с отравителями[5], то даже во времена Плиния Старшего это были преимущественно греки[6], и профессия едва ли считалась почетной. Поэтому В. Кролль вынужден признать, что «всякая идущая извне жизненная мудрость наталкивалась на стену mos maiorum, и пока эта стена существовала, завоевание Рима эллинистическими учениями не могло быть полным»[7].

Не говоря уже о широких кругах римского населения, внутреннее сопротивление имело место даже в верхних слоях римского общества, наиболее захваченных «модными влияниями». Для римского сенатора семейная и сословная мораль с успехом заменяла эллинистическую этику. Но, пожалуй, более всего от эллинистических систем римлян отталкивало

---

[1] M a c r., Sat., III, 14, 7, со ссылкой на Катона и Сципиона Эмилиана; S e n., Contr., I, pr. 8; T a c., Dial., 10.

[2] G e l l., NA, XI, 2,5 (о Катоне); F e s t., стр. 333 M; ср. C i c., Tusc., I, 2, 3.

[3] C i c., de fin., I, prooem.; Tusc., I, prooem.

[4] Высылка философов и реторов в 161 г. (G e l l., NA, XV, 11, 1 из Светония), изгнание двух эпикурейцев в 173 или 155 г. (A t h e n., XII, 68, стр. 574; A e l., V H IX, 12), предложение Катона об удалении, из Рима философского посольства в 155 г. (P l u t., Cato Maior 22; P l i n., NH, VII, 30, 112; о самом посольстве см. также P o l y b., XXXIII, фр. 2); недовольство реторами в 92 г. (G e l l., NA, XV, 11; C i c., de orat., III, 93).

[5] P l u t., Cato Maior, 23; P l i n., NH, XXIX, 7, 11.

[6] P l i n., NH, XXIX, 8, 1.

[7] W. K r o l l, ук. соч., I, стр. 124.

теоретизирование, мало пригодное для целей практической жизни и деятельности. А для римлянина удаление от практической деятельности во имя теоретических штудий всегда казалось нарушением гражданского долга [1].

Результаты подобного сопротивления были весьма симптоматичны. Они дают возможность говорить об обратном воздействии «римской культурной среды». Греческие философы, по мере их проникновения в Рим, стремились приспособиться к запросам римского общества и смягчить основные догмы своего учения. Так, например, Панетий отступает от ригоризма старой Стои [2].

Даже во времена Цицерона, когда основные догмы эллинистической философии и основные каноны эллинистического искусства уже подверглись значительной переработке на римский лад и были «ассимилированы» римской культурной средой, еще встречаются характерные проявления этой «защитной реакции». Уже упоминалось, что сам Цицерон допускает занятие философией лишь как otium и свои собственные философские штудии оправдывает вынужденной политической бездеятельностью. Своему сыну он хоть и рекомендует изучать философию, но жизнь, говорит он, следует строить по римским образцам и традициям [3]. Эту силу влияния традиции и зависимость от нее, как справедливо замечает В. Кролль, можно наблюдать даже на примере Тацита. Все это вместе взятое делает возможным создание совсем иной картины идеологической жизни римского общества. Не может быть и речи о мирном проникновении эллинистической культуры в Рим и об оплодотворении ею бессильного в творческом отношении римского общества.

Наоборот, есть все основания говорить о длительном периоде изолированного развития римской идеологии, о некоей «идеологической автаркии» римлян. Тем труднее и сложнее был процесс проникновения в Рим чужеземных влияний. Это был процесс борьбы, а не приятия, и пресловутая творческая «несамостоятельность» и «бессилие» римлян суть не что иное, как некая глухая форма сопротивления чуждым влияниям.

На протяжении многих лет можно наблюдать эту упорную и длительную борьбу, которая принимает самые разнообразные формы: то это борьба идеологическая (например, теория упадка нравов) [4], то это политические и даже административные меры (например, высылка философов), но как бы то ни было, все это—

[1] W. Kroll, ук. соч., I, стр. 120.
[2] Там же, стр. 122.
[3] Cic., de fin. I, 1; de nat. deor., I, 6 и т. д.
[4] См. ниже, стр. 109.

факты, свидетельствующие о сопротивлении и защитной реакции римского общества. Может быть, есть возможность говорить о некоторых моментах «синтеза» этих идеологических направлений, например, в деятельности Сципиона Младшего, Цицерона и, наконец, Августа, но только в том случае, если в это понятие «синтеза» вкладывать активный момент, момент преодоления чужеземных влияний и переработки их на «римский лад».

Необходимо теперь остановиться на итогах этого процесса. Борьба эта отнюдь не завершилась победой чужеземной идеологической среды, но в результате сложного и длительного процесса освоения, переработки, сплавления, взаимных уступок возникло совершенно новое историческое и идеологическое образование. Пока эллинистические влияния были только чужеземным продуктом, они встречали стойкое, а иногда и отчаянное сопротивление, и эллинистическая культура распространилась в Риме и была «принята» обществом лишь тогда, когда она была преодолена как нечто чуждое, когда она была оплодотворена римскими самобытными силами, когда она стала народным достоянием.

Этим еще не решается полностью многовековой спор эллинистической культуры и сопротивлявшейся ей римской традиции. С I в. до н. э. начинается как бы новая фаза борьбы, продолжающаяся целое столетие. И результат этой борьбы никоим образом не может быть определен как победа эллинизма ни в области мировоззрения, ни в области культуры. Так, например, римское искусство, которое, собственно говоря, теперь впервые возникает, никак не есть греческое или эллинистическое искусство в Риме. Основа его — чисто римская. Конечно, нельзя и было бы неправильно рассматривать римское искусство вне его исторических предпосылок, но это отнюдь не меняет вопроса по существу. На первый взгляд приемлемая формула «римское содержание в греческих формах» тоже абсолютно неверна, ибо она допускает противоречие между формой и содержанием.

Поэтому если определять удельный вес и место римского элемента в мировой культуре античного общества, нужно признать момент взаимопроникновения двух интенсивных культурных сфер—староримской и восточно-эллинистической, из которых каждую следует считать безусловно необходимой для утверждения нового образования — римской культуры периода кризиса республики и установления принципата.

Такова предлагаемая принципиальная оценка общего значения римской культуры или, говоря более широко, римской идеологии. Однако изучение вопроса во всем его объеме никоим образом не входит в задачу данной работы. Предметом ее

является более узкая проблема — вопрос о политической идеологии римского общества. Несомненно, что эта проблема является тоже достаточно сложной и многообразной. Поэтому и здесь, чтобы нащупать какие-то путеводные нити и получить возможность систематизировать свои основные положения и выводы, очевидно, следует прежде всего наметить принципиальные тенденции развития.

Наиболее благодарным материалом для исследования является идейное содержание ранней римской историографии. Ничто другое не может считаться в такой степени вместилищем римских политических идей и не может служить столь ярким примером, иллюстрирующим борьбу в области идеологии для этого периода.

Вопрос этот имеет тем больший интерес, что, как будет показано ниже, римская историография строилась на основах, существенно отличных и даже противоположных принципам построения историографии греческой.

Историческая критика достаточно давно отказалась от мысли рассматривать раннюю римскую историографию (в той степени и объеме, конечно, в которых она сохранилась до настоящего времени) как исторически ценный материал, способный дать достоверное представление об отображенных в нем событиях. Но интерес и ценность ранней римской историографии отнюдь не заключается только в этом. Имеющийся в нашем распоряжении материал дает представление о ряде характерных черт римской историографии, и они могут оказаться далеко не безинтересными при попытке определить некоторые принципиальные направления идеологической жизни римского общества в это далеко не ясное для современного исследователя время.

Время между второй и третьей Пуническими войнами имело особое значение для идеологической жизни римского общества. Оно может быть охарактеризовано как время отчетливого оформления патриотического самосознания римлян. Кстати сказать, именно в этот период возникает римская анналистика как таковая, как вполне определенный жанр историко-литературного повествования.

Несомненно, можно обнаружить некоторые общие и специфические черты в различных трудах, у различных представителей ранней римской историографии. Это не значит, что следует вовсе элиминировать вопрос об особенностях каждого автора; это лишь значит, что есть определенная возможность воспринимать раннеримскую историографию как нечто целое, имеющее своеобразный характер. Римская анналистика в целом представляет в данном случае интерес как выражение идеологических установок определенных слоев римского рабовладельческого общества.

Если рассматривать римскую анналистику под этим углом зрения, то бросаются в глаза некоторые примечательные особенности, характерные для подавляющего большинства ее представителей.

Прежде всего нетрудно убедиться в том, что каждый римский историк пишет ради определенной практической цели; отвлеченное исследование исторической истины ради истины ему вообще не приходит в голову. В этих установках видны определенная преемственность и традиция. Как таблицы понтификов служили практическим и повседневным интересам общины, а фамильные архивы — интересам рода, так и римские анналисты писали свои сочинения не в интересах воспроизведения прошлого, но в первую очередь для того, чтобы активно содействовать благу общества в настоящем, в том смысле, конечно, как понимал это благо тот или иной автор в зависимости от своих политических симпатий. Труд любого римского историка всегда был «нацелен» на современников и даже пытался оказать на них некое воздействие. Известные заверения о том, что события должны излагаться без пристрастия и «духа партийности» (sine ira et studio!), не должны, конечно, приниматься за чистую монету. Помимо классовых интересов, любым римским историком еще владело вполне сознательное стремление к тому, чтобы его труд был «деянием» на пользу и во имя res publica.

Отсюда вытекает и другая, не менее характерная черта римской историографии — ее римско-патриотическая установка. Конечно, требования патриотического долга понимались представителями высших слоев римского общества весьма своеобразно. Так, например, римским историкам, собственно говоря, вовсе было чуждо стремление к созданию «объективной», неприкрашенной истории. Хорошо известно, как часто у римских анналистов историческая истина искажается умолчанием, перемещением событий и т. п. Все это в конце концов производится с одной целью: римское прошлое должно поставлять образцы и примеры для современности и для будущего, следовательно, это должна быть история, полная примеров, достойных подражания. Подобную установку можно встретить уже у древнейших анналистов, но она характерна и для поздней историографии, вплоть до Ливия.

И, наконец, не следует забывать, что римские историки почти полностью принадлежали к сенаторскому сословию, чем достаточно четко определялись их политические позиции и симпатии (за исключением, быть может, Лициния Макра, пытавшегося, насколько можно судить, внести в историографию демократические тенденции). Как члены римских родов и как люди, которые следовали древнеримской морали, они

писали свои сочинения с точки зрения своих родов. Честолюбивая конкуренция отдельных благородных фамилий, как давно уже замечено, была одной из причин извращения исторических фактов. Фабий Пиктор, принадлежавший к древнейшей gens Fabia, которая с незапамятных времен враждовала с не менее древней gens Cornelia, несомненно, ярче оттенял деятельность рода Фабиев, в то время как подвиги Корнелиев, а следовательно, и Сципионов отодвигал на задний план. Такой же автор, как Гай Фанний, приверженец сципионовой политики, несомненно, поступал наоборот. Этим путем и возникли самые различные варианты, в особенности при изображении раннего времени, для которого более надежные источники сохранились чрезвычайно скупо. Именно знатное происхождение большинства римских анналистов, а не только зависимость их от понтификальных таблиц, объясняет жречески-сакральный характер их произведений.

Таковы общие характерные черты ранней римской историографии, которые делают ее своеобразным, специфическим явлением, а в смысле принципиальных установок или метода отбора и освещения исторического материала существенно отличают от наиболее значительных и известных произведений греческой историографии.

В заключение следует рассмотреть в самых общих чертах путь развития ранней римской историографии. Это даст возможность установить некое принципиальное различие между старшей и младшей анналистикой, что приведет, в свою очередь, к некоторым выводам по поводу политических тенденций ранней римской историографии.

Родоначальником литературной обработки римских хроник, как известно, считается Квинт Фабий Пиктор, представитель одного из наиболее старинных и знатных родов, современник второй Пунической войны. Он написал по-гречески историю римлян от прибытия Энея в Италию и вплоть до второй Пунической войны. Ливий [1] и Дионисий [2] единогласно признают его древнейшим римским историком. Интересно отметить, что хотя Фабий писал по-гречески, но труд его, очевидно, был настолько пропитан римским патриотическим духом, что Полибий [3] дважды обвиняет его в пристрастном отношении к соотечественникам.

Продолжателями Фабия были его младший современник и участник второй Пунической войны Луций Цинций Алимент, написавший по-гречески историю Рима ab urbe condita [4], и

[1] Liv., I, 44.
[2] Dion., AR, VII, 71.
[3] Polyb., I, 14, 58; III, 8—9.
[4] Dion., AR, I, 6.

Гай Ацилий, известный тем, что, когда в 155 г. сенату были представлены Карнеад, Диоген и Критолай, он служил переводчиком[1]. Гай Ацилий также написал по-гречески историю Рима от основания города до своего времени. Этот труд, по свидетельству Ливия[2], в дальнейшем был переведен на латинский язык.

Хотя все вышеперечисленные анналисты писали по-гречески и находились до известной степени под влиянием греческих образцов, содержание их работ и заложенные в них политические тенденции были специфически римскими. Это обстоятельство предопределило возникновение и развитие исторической литературы на родном языке. В этом смысле решающую роль сыграл исторический труд Катона. Его Origines, над которыми он работал до самой смерти, были не только первым историческим трудом, написанным по-латыни, но и трудом, сознательно противопоставленным по форме и содержанию историческим сочинениям ранних анналистов. Действительно, это сочинение было написано не в летописной форме, а в форме исследования древнейших судеб племен и городов Италии и касалось, таким образом, не только Рима, но всей Италии. В отличие от семейных хроник, которые оказали влияние на труды старших анналистов, Катон почти нигде не называет имен и т. д.; самое предпочтение латинского языка греческому было отнюдь не случайным. Труд Катона имел помимо этого уже определенные претензии на «научность»: древние единогласно свидетельствуют о тщательном собирании материала Катоном, о его опоре на фасты, местные летописи, личный осмотр местности и т. д. Все это делает Катона своеобразной и одиноко стоящей фигурой в развитии римской историографии.

Достаточно ограничиться самой краткой характеристикой ближайших преемников Катона, хотя их нельзя назвать его последователями. Наиболее видными представителями старшей анналистики этого периода являются современник третьей Пунической войны Луций Кассий Гемина и консул 133 г. Луций Кальпурний Писон Фруги. Оба они пишут по-латыни, что, несомненно, тесно связано с мощным патриотическим движением II в. Однако конструктивно их труды восходят к образцам ранней анналистики и к анналам понтификов. Для труда Кассия Гемины более или менее точно засвидетельствовано, без сомнения, программно взятое заглавие Annales. Самое произведение повторяет конструктивную схему понтификальных таблиц, события излагаются соответственно их внешней последовательности от древнейших времен Рима;

[1] Gell., NA, VII, 14.
[2] Liv., XXV, 39.

при начале каждого нового года старательно указываются эпонимные консулы помимо отсчета годов от основания Рима.

Если благодаря скудости сохранившихся данных нет возможности определить своеобразные черты творчества каждого из старших анналистов,— а число их было, очевидно, значительным,—то все же можно охарактеризовать общее направление старшей анналистики как определенного жанра. Это были хроники, подвергшиеся некоторой литературной обработке, предпочтительно излагавшие факты в их формально-внешней последовательности. Они писались всегда с определенной целеустановкой, «умыслом»,— обращением к современности.

Труды старших анналистов, очевидно, сравнительно добросовестно передавали традицию, правда, без намека на критический подход к ней, но и без сознательно вводимых дополнительных измышлений. Общими чертами, характеризующими старшую анналистику как жанр, являются: романоцентрическая установка авторов, изложение римской истории «с самого начала», т. е. ab urbe condita, или даже с более раннего времени и, наконец, изложение истории в чисто политическом аспекте. При этом старшая анналистика оказывала явное предпочтение изображению военных и внешнеполитических событий, тогда как внутренняя политика впервые стала играть существенную роль в римской историографии только со времени Суллы.

Младшая анналистика, как своеобразный историографический жанр, возникает в период обострения классовой борьбы, связанного с движением Гракхов. Одним из первых представителей этого нового жанра был Луций Целий Антипатр. Его исторический труд, насколько можно судить, отличался двумя особенностями: во-первых, он начинался отнюдь не с древнейших времен, а с описания второй Пунической войны, во-вторых, впервые к историческому повествованию прилагались риторические приемы. Эти нововведения, несомненно, имели нарочитый характер, ибо, как свидетельствует Цицерон[1], автор приносил за них специальное извинение в предисловии. Еще более ярко эти своеобразные черты нового историографического жанра проступают в творчестве другого анналиста, жившего также во времена Гракхов,—Семпрония Азеллиона. Его труд дошел до нас в небольших извлечениях у Геллия[2]. Семпроний Азеллион отказывается от летописного способа изложения. «Летопись,— говорит он,— не в состоянии побудить к более горячей защите отечества или остановить людей от дурных поступков». Рассказ о случившемся также еще не есть история и не

[1] Cic., Or., 69.
[2] Gell., NA, II, 13; V, 18; XII, 21.

столь важно рассказать о том, при каких консулах началась или окончилась война, кто получил триумф, сколь важно показать, с какой целью или по какой причине произошло то или иное событие. Здесь имеет место уже довольно четко формулированная концепция прагматического метода, и в этом смысле Азеллиона можно считать последователем Полибия.

Таким образом, уже первые представители младшей анналистики привносят в историческое повествование характерные черты этого нового жанра. Во-первых, они отказываются от летописного изложения и переходят к монографическим трудам. Во-вторых, в их трудах возникает прагматическое направление, столь хорошо увязывающееся в дальнейшем с морализующей тенденцией большинства римских историков. И, наконец, в-третьих, труды младших анналистов находятся под сильным воздействием греческой риторики. Конечно, не случайна уже упоминавшаяся фигура Целия Антипатра, который ставил перед историческим творчеством вполне определенные цели: для исторического повествования сила воздействия, эффект, производимый на слушателя, гораздо важнее правдивого и точного изложения событий. Он считал, говоря словами Цицерона, что историк должен превратиться из narrator rerum в exornator rerum. Этот лозунг Целия имел успех и нашел последователей в лице младших анналистов времени Суллы, для которых история превратилась уже в раздел риторики.

Хотя во времена Суллы наблюдается некоторое возрождение летописного жанра, тем не менее в трудах Клавдия Квадригария, Валерия Антиата, Лициния Макра, Корнелия Сисенны встречаются все характерные черты младшей анналистики в достаточно гиперболизованном виде. Трудам этих историков свойственны большие философско-реторические отступления, сознательное прикрашивание и искажение событий, вычурность языка и т. д. Но главным является тот факт, что во времена Суллы достигает своего наивысшего развития партийно-тенденциозное направление младшей анналистики. Именно в этот период историография становится на службу борющихся политических групп, приобретает ярко выраженный «партийный дух» и характер, причем младшие анналисты, как правило, отождествляют интересы своей «партии» с интересами государства в целом. Характерной чертой является проицирование современной им партийной борьбы в прошлое, а следовательно, и изображение этого прошлого под углом зрения политических взаимоотношений современности.

Таковы наиболее характерные черты ранней римской историографии.

Развитие римской историографии позволяет придти к важному выводу, который имеет большое значение для истории

идеологической борьбы в римском обществе в целом. На примере смены анналистических жанров можно видеть, как проникавшие в Рим чужеземные влияния были на некоторое время подавлены активным выступлением Катона, и только через несколько лет после его цензуры это проникновение снова усиливается и принимает активные, но зато уже, как указывалось выше, принципиально иные формы. Начинается период творческого освоения и переработки культурных влияний.

Сопоставление двух жанров ранней римской историографии, обнаруживая внутренние тенденции ее развития, способно дать первое представление о двух других, более серьезных по своему принципиальному значению и масштабу тенденциях, отраженных в политической идеологии римского общества.

Более подробный анализ и освещение этих тенденций есть задача всего предстоящего исследования, так как их наличие, а также их развитие могут быть продемонстрированы только на достаточно обильном материале. Но тем не менее необходимо уже сейчас в принципе определить эти основные тенденции и указать на их направление.

В политических тенденциях, заложенных в старшей анналистике, уже сказывается то определенное направление политической идеологии римского общества, которое своим основным лозунгом делает лозунг борьбы за общегражданские, «общепатриотические» интересы римского народа. В чрезвычайно слабом и зачаточном состоянии этот лозунг уже встречается в ранней римской анналистике, в особенностях ее жанра, в ее «патриотически-римских» установках, наиболее ярко он звучит в литературной деятельности Катона.

С другой стороны, в политических тенденциях, заложенных в младшей римской анналистике, проявляется другое, враждебное первому направление развития политических идей, которое в качестве своего основного лозунга открыто провозглашает лозунг борьбы за «партийные» интересы определенных кругов римского общества. В зачаточном состоянии и этот лозунг уже встречается в младшей римской анналистике,— недаром она возникает в эпоху Гракхов,— в особенностях ее жанра, в ее «партийном духе» и, что весьма характерно, в ее зависимости от эллинистических культурных влияний, причем эти влияния более глубоки, чем те, под воздействием которых находились старшие анналисты. Если те заимствовали у эллинистической историографии только язык и форму, то на младших анналистов оказали значительное влияние и эллинистическая реторика и эллинистические политические теории.

Несомненно, обе эти установки являлись отражением в сфере идеологии каких-то процессов, имевших место в практике политической борьбы. Действительно, они отражали констати-

рованные выше основные тенденции развития социально-политической борьбы в Риме. «Партийный» лозунг вполне возможно поставить в связь с той линией политической борьбы, которая в истории Рима была представлена в первую очередь Гракхами, а затем их различными последователями. «Общепатриотический лозунг» в такой же мере может быть поставлен в связь с консервативно-традиционной линией политической борьбы, представленной в истории Рима наиболее ярко Августом и, в известной мере, его предшественниками вплоть до Катона.

Что касается классовой природы этих лозунгов и их социально-политического содержания, то лозунг борьбы за «партийные» интересы отражает, в основном, политическую ориентацию и умонастроение демократических элементов римского общества. В силу своеобразных черт римской «демократии», разложения и политической пассивности римского plebs urbana в Риме, как уже отмечалось выше, не было стойкой демократической партии, но тенденция направить политическую борьбу в подобное русло, придать ей более резко выраженный «партийный» характер, несомненно, существовала как в самой политической практике (например, Гракхи и т. д.), так и в сфере политических идей. Этот лозунг объединял вокруг себя низшие слои римского общества и, подвергаясь различным модификациям и уточнениям, был способен выражать определенные политические чаяния, надежды и перспективы римской «демократии». Свое развитие и наиболее яркое выражение он находит в политических воззрениях одного из самых выдающихся представителей римской «интеллигенции» — Саллюстия.

Лозунг борьбы за «общепатриотические» интересы типичен для политической ориентации римской аристократии. Под флагом борьбы за «общепатриотические» интересы отстаивались по существу интересы господствующей верхушки рабовладельческого общества. Подобный лозунг стал возможен, с одной стороны, благодаря менее четкой размежевке политических группировок в верхних слоях господствующего класса, известной консолидации класса рабовладельцев в целом, а с другой стороны, благодаря слабости, развращенности и политической пассивности городского плебса, этого «политиканствующего сброда», как его презрительно называл Цицерон. Отсюда же и возможность выдвижения основного политического требования — приоритет интересов родины, государства. В этом плане идет проповедь concordia ordinum, consensus bonorum, в этом плане провозглашается любовь к абстрактной родине, и Цицерон формулирует положение о том, что благо родины дороже жизни, а Луцилий устанавливает следующую шкалу: сначала благо родины, затем —

родителей и только потом — свое собственное. Так возникает внешне всего лишь «традиционный», а по существу — классовый лозунг верхушки римского рабовладельческого общества. Свое развитие и наиболее яркое выражение находит в политических воззрениях другого выдающегося представителя римской «интеллигенции» — Цицерона.

Саллюстий и Цицерон — антиподы и вместе с тем наиболее яркие представители двух противоположных тенденций в развитии римской политической идеологии в I в. до н. э. Саллюстий в итоге развития своих политических воззрений выступает как один из последних представителей «демократической» идеологии, как сторонник лозунга борьбы за «партийные» и классовые интересы определенных слоев римского общества. Цицерон по своим политическим убеждениям — идеолог консервативно-республиканской аристократической верхушки, провозвестник лозунга борьбы за «общепатриотические» интересы государства и благо родины в целом.

Оба лозунга, обе тенденции развития идеологической борьбы пронизывают наиболее распространенные, «ходовые» политические теории, учения, идеи этого времени. Задача предлагаемой работы и состоит в том, чтобы на подобном материале проследить развитие и борьбу установленных выше тенденций. Вполне естественно, что эта борьба отражена наиболее ярко в политических идеях и теориях, развиваемых Цицероном и Саллюстием. Поэтому политические воззрения этих представителей двух противоположных идейно-политических лагерей служат нам, до известной степени, той путеводной нитью, которой мы и будем придерживаться в дальнейшем исследовании политической идеологии римского общества I в. до н. э.

# II

## Глава 1

## СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ I в. до н. э.

### 1

Два письма Саллюстия к Цезарю (Epistulae duae ad Caesarem senem de re publica) представляют собой чрезвычайно любопытный исторический документ. Эти «Письма» вводят в атмосферу обостренной классовой борьбы одного из самых бурных периодов римской истории. Они дают представление о политических утопиях и характерных лозунгах этого времени. Кроме того, «Письма» проливают новый свет на вопрос, который неоднократно дебатировался в литературе: на политические воззрения самого Саллюстия и его отношение к Цезарю. Однако историческое значение «Писем» оценено сравнительно недавно, так как они, согласно традиции, восходящей еще к XVI в., считались подложными.

Так, например, Г. Иордан[1] на основании языковых данных пришел к выводу, что «Письма» являются лишь удачной имитацией саллюстианского стиля и принадлежат перу ретора времени Флавиев и Антонинов. Этот взгляд и был господствующим в западноевропейской историографии до сравнительно недавнего времени.

Моммзен[2] (еще до Иордана) и даже Эдуард Шварц[3] считали «Письма» подложными и не принимали их во внимание. Только в начале текущего столетия сперва Р. Пельман[4], а затем Эдуард Мейер[5] высказались, правда весьма осторожно, за

[1] H. Jordan, De suasoriis ad Caesarem de re publica, Berl., 1868.
[2] Т. Моммзен, История Рима, III, 1941, стр. 426.
[3] Ed. Schwartz, Die Berichte über die catilinarische Verschwörung, «Herm»., XXXII, 1897, стр. 554—608.
[4] R. Pöhlmann, Zur Geschichte der antiken Publizistik, SBAW, phil. und hist. Klasse, H. 4, 1904, стр. 3—79.
[5] Ed. Meyer, Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius, Berl., 1922, стр. 357—364; 388—399.

подлинность «Писем». И Пельман и Мейер оставляют вопрос об авторстве Саллюстия открытым и лишь устанавливают бесспорную принадлежность «Писем» ко времени гражданской войны. Но этим, собственно говоря, уже решается вопрос об их авторе, так как вряд ли кто-либо мог «подражать» Саллюстию или «имитировать» его стиль до появления в свет первых его произведений [1].

Новейшие исследователи подходят к вопросу более решительно. О. Гебгардт [2] не только признает авторство Саллюстия, но и делает вывод о том, что «Письма», очевидно, были заказаны Цезарем, ибо, по мнению Гебгардта, предложения Саллюстия были Цезарем учтены, одобрены и до известной степени реализованы. Тщательные исследования языка и стиля «Писем» в работе А. М. Гольборн [3] и в особенности в работе Б. Эдмара [4] вполне доказывают подлинность «Писем» и авторство Саллюстия. Наконец, В. Кролль [5], О. Зеель [6] и В. Шур [7] считают вопрос о принадлежности «Писем» Саллюстию окончательно решенным.

Итак, авторство Саллюстия можно в настоящее время считать доказанным, и следует перейти непосредственно к «Письмам», начав с более раннего письма к Цезарю [8].

Глава V более раннего письма представляет собой столь характерный для Саллюстия исторический экскурс. Саллюстий начинает с того, что устанавливает исконное деление римского общества на patres и plebs. Patres обладают summa auctoritas, а plebs обладает vis. Затем говорится о борьбе сословий и о сецессии. Вследствие этих событий «силы нобилитета уменьшались, а права народа возрастали» [9].

Это для Саллюстия — решающий момент. Именно с этого момента устанавливается некое устойчивое равновесие между

---

[1] H. Dahlmann, Sallusts politische Briefe, «Herm»., LXIX, 1934, стр. 380—389.

[2] O. Gebhardt, Sallust als politischer Publizist während des Bürgerkrieges, Halle, 1920.

[3] A. M. Holborn, De Sallustii epistulis ad Caesarem, 1926.

[4] B. Edmar, Studien zu den Epistulae, Lund. Ohlss., 1931.

[5] W. Kroll, Sallusts Staatsschriften, «Herm.», LXII, 1927, стр. 373—392.

[6] O. Seel, Sallust von den Briefen ad Caesarem zur Coniuratio Catilinae, Stuttg., 1930.

[7] W. Schur, Sallust als Historiker, Stuttg., 1934.

[8] Как известно, в рукописи Vaticanus 3864 оно поставлено на втором месте. Поэтому, согласно традиции, при ссылках оно всюду обозначается через Epp., II, а более позднее письмо, но в рукописи стоящее на первом месте, обозначается через Epp., I. Что касается датировки «Писем», то более раннее, т. е. Epp., II, следует относить к 50 г., а более позднее, т. е. Epp., I,—к 46 г.; это последнее письмо было написано, видимо, после битвы при Тапсе (см. H. Dahlmann, ук. соч., стр. 382). См. стр. 239—240.

[9] Sall., Epp., II, 5: «... nobilitatis opes deminutae sunt et ius populi amplificatum».

нобилитетом и народом, республика процветает, наступает период «золотого века».

Саллюстий характеризует этот период тем, что народ пользовался свободой, никто не мог злоупотреблять своей властью, попирая законы, и знатный стремился превзойти незнатного не богатством или надменностью, а доброй славой и отважными поступками [1].

Что касается хронологических рамок этого периода, то они, по Саллюстию, достаточно широки. Начало этого периода, как было показано выше, приурочивается Саллюстием к первым успехам, достигнутым плебеями в их борьбе за политические права, т. е. к тому времени, когда плебейские массы впервые на ограниченных условиях были включены в жизнь государственного организма. Окончание этого периода не определено с достаточной точностью, но намек Саллюстия на утерю земельных участков, на пауперизацию сельского населения [2] заставляет искать окончание этого периода в тех процессах, которые протекали с конца III в. и которые вызвали к жизни реформы Гракхов [3].

Если обратиться к дальнейшей разработке темы «золотого века» в более поздних произведениях Саллюстия, то можно встретить лишь подтверждение этого взгляда. Окончание периода «золотого века», согласно историческим экскурсам «Заговора Катилины» и «Югуртинской войны» [4], совпадает с превращением Рима в крупнейшее государство Средиземноморья (т. е. с разрушением Карфагена).

Это процветание, по мнению Саллюстия, обусловлено такой счастливо найденной формой правления, которая обеспечила правильные взаимоотношения между сенатом, patres (средоточие auctoritas!) и plebs (средоточие vis!). Однако, как понимал Саллюстий «правильные» взаимоотношения между сенатом и народом [5], глава V раннего письма не сообщает, она

---

[1] S a l l., Epp., II, 5: «sed ubi plebes eo libere agitabat, quia nullius potentia super leges erat; neque divitiis aut superbia, sed bona fama factisque fortibus nobilis ignobilem anteibat», «плебс действовал тем свободнее, что никто не злоупотреблял властью, попирая законы, и знатный превосходил незнатного не богатствами или надменностью, но доброй славой и мужественными подвигами».

[2] S a l l., Epp., II, 5: «...sed ubi eos paulatim expulsos agris, inertia atque inopia incertas domos habere subegit...», «но когда их [плебеев], мало-помалу согнанных со своих земель, бездеятельность и нужда довели до того, что они лишились [даже] постоянного жилья...».

[3] Реформаторская деятельность Гракхов в понимании Саллюстия является уже попыткой возрождения государства. Поэтому Саллюстий и оценивал деятельность Гракхов столь высоко (см., например, Iug., 42).

[4] S a l l., Cat., 6—13; Iug., 41—42.

[5] Словоупотребление Саллюстия и использование им терминов populus, plebs, multitudo, Quirites (см., например, Epp., II, 4, 5, 10 или

лишь говорит о том, когда это равновесие установилось. Кстати, небесполезно еще раз подчеркнуть, что установление этого идеального состояния трактуется Саллюстием как следствие ограничения власти нобилитета и расширения прав народа. Таким образом, казалось бы, можно говорить о демократических тенденциях Саллюстия, поскольку он ставит в непосредственную связь расширение прав народа с процветанием государства. Однако такой вывод слишком поспешен. Во-первых, крайне характерно, что, говоря о расширении прав народа и ограничении власти аристократии, Саллюстий допускает всего лишь некоторое изменение в соотношении между двумя членами своей формулы, patres — plebs, т. е. речь идет о некоем компромиссе между аристократией и плебсом. Во-вторых, упомянутое изменение понимается Саллюстием довольно своеобразно. Глава X раннего письма разъясняет, как понимал этот вопрос Саллюстий, и одновременно дает исчерпывающее представление о том, каковы же «правильные» взаимоотношения между сенатом и народом. Народ должен повиноваться сенату, как тело душе, и следовать его решениям; сенаторам приличествует выделяться политической мудростью и дальновидностью, для народа же подобные качества излишни[1].

Все вышесказанное дает возможность придти к некоторым выводам относительно «политических идеалов» Саллюстия. Итак, по его мнению, «золотым веком» римской истории является тот период, когда Рим не превратился еще в мировую державу. Формой управления, обусловившей этот расцвет, была некая система равновесия сената и народа. Эта система призвана удовлетворить следующему условию: значением auctoritas сената сдерживать vis народа, примирять в некоем синтезе то и другое. Такая государственная форма есть не что иное, как республика, руководимая сенатом, который и обладает summa auctoritas. Эта государственная форма была уже дана в истории Рима в прошлом (см., что сказано было выше о «золотом веке»), к ней должно стремиться и в будущем. Таков «политический идеал» Саллюстия, и, пожалуй, его следует охарактеризовать как республиканско-консервативный.

---

Epp., I, 5 и т. д.) свидетельствует о том, что Саллюстий вкладывал в эти термины однозначный смысл, имея всегда в виду «народ», конечно, в специфическом понимании этого слова.

[1] S a l l., Epp., II, 10: «... igitur ubi plebs senatui, sicuti corpus animo, oboedit, eiusque consulta exsequitur; patres consilio valere decet, populo supervacanea est calliditas», «итак, если плебс подчиняется сенату, как тело душе, и следует его постановлениям, то патриции должны выдаваться своим благоразумием и политической дальновидностью, для народа же эти качества излишни».

Теперь нужно рассмотреть, как изображает Саллюстий картину современного ему Рима, в чем видит причины упадка и какие выдвигает проекты для возрождения Римского государства.

Современное ему положение римского общества Саллюстий рисует далеко не радужными красками. Глава V раннего письма связывает начало упадка с утратой гражданами земельных участков, с ростом лености и нужды, с торговлей свободой и благом государства ради своих корыстных интересов. Так постепенно народ, который был господином и повелевал всеми остальными племенами, пришел в упадок; вместо разделяемой всеми власти каждый в отдельности создал себе рабство[1]. Но если римский народ, заразившись дурными свойствами, утратил идею общего блага, то, следовательно, он уже более неспособен принимать участие в управлении государством[2].

Однако картина упадка римского общества характеризуется не только развращенностью народа. Она характеризуется еще разложением всех государственных институтов и, в первую очередь, слабостью сената. В главе X раннего письма Саллюстий сравнивает роль сената в древности с современным ему положением и приходит к мало утешительным выводам. Представители знатных фамилий погрязли в бездействии и пороках. Презирая труд и заботы, забыв о военных доблестях, они занимаются недостойными интригами, а сенат, который призван руководить жизнью государства превратился в жалкую игрушку в руках этих интриганов[3]. Несколько ниже, в главе XI, Саллюстий добавляет еще ряд уничтожающих штрихов к своей картине разложения сената. Он указывает на то, что сенаторы всецело поглощены посторонними, частными делами, делами же государства распоряжается клика нобилей (с небольшим количеством сенаторов, вовлеченных в эту шайку), которая не знает никаких границ своему произволу[4].

---

[1] S a l l., Epp., II, 5: «ita paulatim populus, qui dominus erat et cunctis gentibus imperitabat, dilapsus est: et pro communi imperio, privatim sibi quisque servitutem peperit».

[2] Там же: «haec igitur multitudo, primum malis moribus imbuta, deinde in artes vitasque varias dispalata, nullo modo inter se congruens, parum mihi quidem idonea videtur ad capessendam rem publicam», «таким образом, эта толпа, во-первых, развращенная дурными обычаями, во-вторых, кочующая с места на место, вследствие различных профессий и образа жизни не имеющая никакого внутреннего единства, весьма мало способна, мне кажется, к управлению государством».

[3] Там же, II, 10.

[4] Там же, II, 11: «...homines nobiles cum paucis senatoriis, quos additamenta factionis habent, quaecumque libuit probare, reprehendere, decernere, ea, uti lubido tulit, facere», «люди знатного происхождения с небольшим количеством сенаторов, которых они вовлекли в свою партию,

Следствием слабости сената и развращенности народа является господство клики нобилитета. Отношение Саллюстия к нобилитету резко отрицательное. Эти люди, говорит Саллюстий, не знают цены добродетели, они предались бездеятельности и разврату, чувства их окаменели, они закалились в своих дурных наклонностях[1]. Они погубили Друза, подозревая его в стремлении к захвату власти, судя о нем по самим себе, по своим собственным намерениям[2], и, наконец, добились безраздельного господства в государстве, в частности, благодаря пагубной деятельности Помпея. Ибо верховную власть, распоряжение доходами от податей, власть судебную Помпей сделал достоянием немногих сенаторов, народ же римский превращен им в рабов. Фактически всем в государстве распоряжается клика его приверженцев. Законы попраны, торжествуют грубая сила и произвол. Разложение достигло такой степени, что наглость этих factiosi, как называет их Саллюстий, может быть сравнена лишь с действиями неприятеля, взявшего город приступом[3]. В заслугу Цезарю ставится именно то, что он расстроил и унизил партию нобилитета[4]. Но сила нобилитета еще не сломлена. Борьба с ним неизбежна, об этом Саллюстий специально предупреждает Цезаря[5].

Нобилитет, несомненно, будет противодействовать всем тем реформам, которые намечены Саллюстием и проведения которых он ожидает от Цезаря[6]. Поэтому борьба неизбежна, а так как власть фактически узурпирована нобилитетом, то нобилитет — основной враг, главная опасность. Эта опасность возникла и разрослась как неизбежное следствие слабости сената и развращенности народа.

Такова картина разложения римского общества, изображенная Саллюстием в раннем письме.

Нетрудно убедиться, что, рисуя эту картину упадка, Саллюстий сохраняет верность своему «республиканско-консервативному идеалу». В самом деле, изображая упадок римского общества, он констатирует прежде всего развращенность народа и затем слабость, бессилие сената. Это свидетельствует о том, что упадок римского общества понимался Саллюстием как

---

одобряют, отвергают, постановляют все, что им угодно, действуя исключительно по собственному произволу».

[1] Sall., Epp., II, 8.

[2] Там же, II, 6.

[3] Там же, II, 3: «... trahunt, rapiunt, postremo, tanquam urbe capta, lubidine ac licentia sua pro legibus utuntur», «...они тащат и хватают все, что попадается им под руку, и, словно в городе, взятом приступом, руководствуются не законами, а собственным произволом».

[4] Там же, II, 2.

[5] Там же, II, 8.

[6] Там же, II, 6, 8, 11.

разрушение его «политического идеала», т. е. как дискредитация формулы сенат + народ.

Не ограничиваясь изображением этой картины упадка, Саллюстий делает попытку установить основные причины, которые и привели римское общество к подобному состоянию.

Это прежде всего ряд причин, объясняющих развращенность народа. В главе V, где Саллюстий говорит о развращенности народа, о неспособности его управлять государством, он, как было показано выше, объясняет все это тем, что граждане постепенно теряли свои земельные участки, что бездеятельность и нужда лишили их надежного крова[1]. Таким образом, утеря земельных участков была тем первым толчком, который вызвал в дальнейшем разложение народа.

Однако Саллюстий указывает еще на одну причину. Эта причина есть не что иное, как предпочтение своих личных выгод нуждам государства, т. е. то, что Саллюстий называет торговлей свободой и интересами государства[2].

В главе X Саллюстий разъясняет, что если это непохвально для народа, то уж вовсе непростительно для высокопоставленных лиц, для сенаторов. Ибо кто занимает в государстве более высокое и более блестящее по сравнению с другими положение, тот и должен проявлять наибольшую заботу о государственных делах[3]. Для народа с целостью отечества сопряжена лишь свобода, а для тех, кто своей доблестью снискал славу, честь и богатство, для тех вдвойне чувствительна всякая опасность, угрожающая государству. Они не должны жалеть ни трудов, ни забот, поспевать всюду, и, если народ обязан повиноваться сенату, как тело душе, то сенаторам надлежит за народ размышлять. Так было в древности, так поступали предки, и это служение отечеству приносило обильные плоды[4]. Отсутствие всех этих качеств у людей, стоящих во главе управления государством, преобладание личных интересов, склонность к интригам, продажность — вот следующая группа причин, объясняющих слабость и бессилие сената.

Таково мнение Саллюстия о причинах разложения римского общества.

Концепция Саллюстия теперь вырисовывается в более полном виде. До сих пор картина разложения общества представлялась как картина развращенности народа и бессилия сената. Теперь ее можно дополнить тем, что причиной развращенности народа является утеря земельных участков, а

---

[1] Sall., Epp., II, 5.
[2] Там же, II, 5.
[3] Там же, II, 10: «...cuiqumque in sua civitate amplior illustriorque locus, quam aliis est, ei magnam curam esse rei publicae».
[4] Там же, II, 10.

причиной слабости сената — забвение сенаторами нужд и интересов государства.

Такова негативная сторона политических воззрений Саллюстия. Теперь можно перейти к рассмотрению его позитивной программы, т. е. к разбору и оценке выдвигаемых им реформ. При изложении программы реформ удобнее всего следовать той «систематизации», которая намечена самим Саллюстием, т. е. сгруппировать проекты реформ по двум основным разделам: реформы, необходимые для обновления народа, и реформы, необходимые для обновления сената[1].

Основной реформой первого раздела является расширение прав гражданства и вывод «смешанных» колоний, т. е. колоний, в которых будут смешаны старые граждане с новыми, только что получившими права гражданства. Это мероприятие, по мнению Саллюстия, приведет к воскрешению истинного понятия о свободе, так как новые граждане будут стремиться сохранить полученную свободу, а старые захотят сбросить с себя оковы рабства[2].

Ставя вопрос о выводе колоний (а следовательно, и о наделении колонистов землей), Саллюстий по существу выдвигает некую аграрную реформу. Это предложение находится в полном соответствии с мнением о том, что причиной развращения народа была утеря земельных участков. Таким образом, проект аграрной реформы Саллюстия является логическим выводом из его же посылки о причинах упадка и разложения.

К проектам реформ этого же «раздела» следует отнести и предложение Саллюстия об искоренении или, по крайней мере, уменьшении любви к деньгам, ибо, пока эта страсть господствует, не может быть правильного руководства ни государственными делами, ни частными[3]. Затем сюда должны быть отнесены предложения Саллюстия относительно избрания высших магистратов (консулов и преторов), в основу которых должно быть положено достоинство кандидатов, а не их состояние, и относительно избрания судей из граждан первого класса[4]. Избрание же магистратов должно происходить согласно закону Гая

---

[1] S a l l., Epp., II, 10: «quoniam nunc, uti mihi videor, de plebe renovanda corrigendaque disserui: de senatu, quae tibi agenda videntur, dicam», «теперь, поскольку я изложил свои взгляды относительно обновления и исправления плебса, скажу тебе то, что касается сената».

[2] Там же, II, 5: «ceterum, additis novis civibus magna me spes tenet, fore ut omnes expergiscantur ad libertatem; quippe quum illis libertatis retinendae, tum his servitutis amittendae cura orientur», «впрочем, я питаю большие надежды на то, что при добавлении новых граждан все воспрянут к свободе: у новых граждан возникнет стремление удержать [полученную] свободу, у старых такое же стремление к низвержению рабства».

[3] Там же, II, 7.

[4] Т. е. с цензом в 100 тыс. сестерциев.

Гракха, т. е. центурии всех пяти классов должны быть перемешаны и затем произведена жеребьевка. Это обеспечит равенство прав для граждан, и они будут стремиться превзойти друг друга не богатством, а доблестью[1].

Таковы проекты реформ Саллюстия по линии обновления народа.

Переходя к другому «разделу» реформ, Саллюстий предваряет свои проекты некоторым введением, где он рассказывает, как специальное изучение вопроса убедило его в том, что отдельные царства, общества, народы дотоле имели власть, пока они держались основ истины и добра, когда же они начали им изменять из-за любви к наслаждениям, из чувства страха, то потеряли всю власть и могущество и даже оказались затем порабощенными[2]. Интересы отечества должны быть вдвойне важны для людей, высоко стоящих в государстве. Саллюстий для подтверждения этой мысли ссылается на пример предков и затем рисует уже знакомую картину слабости сената, ставшего игрушкой в руках интриганов. Это — следствие того, что интересы отечества забыты, сенаторы трусливы, продажны и добровольно обращают себя в рабство[3].

Следовательно, необходимо провести такие мероприятия, которые содействовали бы поднятию чувства достоинства у сенаторов, создавали бы им независимость, вернули бы их к служению интересам отечества. Для возрождения сената Саллюстий предлагает две реформы: умножить число сенаторов и ввести тайную подачу голосов[4].

Небезинтересно отметить, что подобно тому, как в предыдущем «разделе» своей программы Саллюстий выдвигал в первую очередь аграрную реформу, так сейчас он выдвигает мероприятия по обеспечению независимости убеждений сенаторов, по поднятию морального авторитета сената. Это предложение находится в полном соответствии с его высказыванием о том, что причиной слабости сената является забвение блага государства и выдвижение на первый план частных, своекорыстных интересов. Таким образом, проект восстановления независимости мнений сенаторов является логическим выводом из посылки Саллюстия о причинах упадка и разложения.

Таковы проекты реформы Саллюстия по линии обновления сената.

---

[1] Sall., Epp., II, 7.
[2] Там же, II, 10.
[3] Там же, II, 10, 11.
[4] Там же, II, 11: «igitur duabus rebus confirmari posse senatum puto; si numero auctus per tabellam sententiam feret», «...итак, я полагаю, что сенат можно укрепить двумя способами: увеличением числа сенаторов и введением голосования на табличках».

Все реформы как одного, так и другого «разделов» имеют своей целью возрождение общества и государства. Однако позитивная программа Саллюстия не исчерпывается этими реформами. Вышеизложенные проекты отвечают лишь на вопрос о том, как возродить государство. Но Саллюстия не мог не интересовать и действительно интересовал вопрос о том, кто может выполнить эту высокую задачу. Для ответа на этот вопрос нужно выяснить отношение Саллюстия к Цезарю.

Раннее письмо начинается с характерной captatio benevolentiae[1], где Саллюстий, после рассуждения о том, насколько трудно давать советы людям, вознесенным на вершину земного величия, переходит к обоснованию мотивов, которые все же побуждают его дать ряд советов. Прежде всего Саллюстий ссылается на то, что он с ранней молодости посвятил себя государственной деятельности и изучению жизненных интересов государства как во время мира, так и во время войны. Это и дает ему право обращаться с советами к Цезарю. Попутно Саллюстий набрасывает краткую, но выразительную характеристику Цезаря в апологетическом тоне. Затем он объясняет свою попытку тем, что, отнюдь не считая себя разумнее или опытнее Цезаря, он все же рискует давать ему советы, ибо Цезарь, занятый войной и победами, не имеет времени для устройства внутренних дел государства. И, наконец, что в данном случае особенно существенно, Саллюстий ссылается на то, что эта попытка есть результат его твердой уверенности в намерениях Цезаря, которые не могут ограничиваться только отражением неприятеля, но, несомненно, должны идти дальше и затрагивать основные вопросы жизни общества и государства[2].

Саллюстий, видимо, верит в то, что историческая миссия Цезаря заключается в возрождении Римской республики. Этот взгляд Саллюстия на историческую роль Цезаря и определяет его отношение к нему в данный период. Дальнейший анализ раннего письма может только подтвердить высказанное мнение.

Это письмо заканчивается обращением к Цезарю, в котором Саллюстий снова призывает Цезаря заняться восстановительной деятельностью[3]. А несколько ниже Саллюстий под-

---

[1] Sall., Epp., II, 1, 2.

[2] Там же, II, 2.

[3] Там же, II, 12: «sed me illa magis cupido exercet uti quocumque modo et quamprimum res publica adiuvetur; libertatem gloria cariorem habeo, atque ego te oro hortorque, ne clarissumus imperator, Galica gente subacta, populi Romani summum atque invictum imperium tabescere vetustate, ac per summam discordiam dilabi, patiaris», «но мое самое страстное желание состоит в том, чтобы каким угодно способом и как можно скорее государство было восстановлено; свободу я ценю более славы, но,

черкивает, что только восстановление государства может обеспечить Цезарю истинную славу и величие[1].

Таково отношение Саллюстия к Цезарю. В период написания раннего письма Саллюстий, очевидно, искренне верил в то, что Цезарь является тем единственным человеком, единственным государственным деятелем в Риме, который может реформировать Римское государство в желательном для него направлении.

Анализ более раннего письма Саллюстия к Цезарю дает довольно полную картину политических воззрений Саллюстия в определенный период их развития, некую политическую «систему» Саллюстия. Эта «система» включает в себя изложение политического идеала Саллюстия (идеала государственного устройства), затем негативную сторону его политической программы (изображение картины упадка общества, анализ причин упадка) и, наконец, позитивную часть программы (пути восстановления государства, т. е. как восстановить — проекты реформ — и кто должен восстановить — историческая роль Цезаря).

Теперь следует дать общую принципиальную оценку этой политической «системы» Саллюстия и, в первую очередь, его «политического идеала».

«Политический идеал» Саллюстия, как уже известно, заключается в таком государственном устройстве, в таком образе правления, который существовал в период «золотого века», когда Рим не превратился еще в мировую державу. Это идеальное государственное устройство выражено в данной самим Саллюстием формуле: сенат + народ, при соответствующем разграничении функций между обоими членами формулы (сенат управляет, а народ под его мудрым руководством занимается полезной деятельностью). Таков политический идеал Саллюстия, и он уже охарактеризован как консервативно-республиканский.

Стремление Саллюстия к восстановлению обычаев и институтов «золотого века» республики, вера в то, что только этим путем может быть достигнуто истинное обновление государства,

---

прошу и заклинаю тебя, прославленный полководец, покоритель галльских племен, не допусти, чтобы могущество великого и непобедимого народа римского истлело как бы от дряхлости и погибло вследствие внутренних смут».

[1] Sall., Epp., II, 13: «...si vero urbem amplissumo nomine et maxumo imperio, prope iam ab occasu restitueris — quis te clarior, quis maior in terris fuerit?», «но если ты действительно восстановишь город со знаменитейшим именем и величайшим могуществом, [ныне] уже близкий к упадку, [то] кто на всей земле будет славнее, кто [будет] величественнее тебя?»

были внешним проявлением идеологии, столь характерной для античного мыслителя.

Для Саллюстия, как и для большинства его современников, понятия «государство» и «Рим» были еще понятиями идентичными. Саллюстий отождествлял свое понимание государства с Римом, в лучшем случае включая в него Италию, провинции же были для него не чем иным, как некоторым громоздким и скорее всего чужеродным придатком к Риму. Идея государства воплощалась для него в полисе. Это и есть столь обычная и характерная для античного мыслителя идеология,— если можно так выразиться, «полисная идеология». В этом, между прочим, также заключается консерватизм политических воззрений Саллюстия. Его политическим идеалом было государственное устройство Рима-полиса, т. е. такое устройство, которое уже не соответствовало условиям римской действительности. Для античных политических систем вообще характерно, что их идеал лежит в прошлом. Обычно это — идеализация нравов и законов предков, mores maiorum. Саллюстий целиком стоит на подобных позициях.

Но замечательно то, что Саллюстий обостренно ощущал противоречие, проявлявшееся в факте выхода Рима за рамки полиса и превращения его в мировую державу. Эта коллизия была для Саллюстия противоречивой и полной драматизма. Разрушение Карфагена оказалось той гранью, которая была столь неосмотрительно перейдена, и с этого момента судьба начинает безудержно изливать свой гнев на Римское государство.

И действительно, коллизия была противоречива и драматична. В то время как «идеальной» формой общественно-политического устройства в античном обществе являлся полис, как наиболее приспособленный для эксплуатации угнетенных классов аппарат, — Римское рабовладельческое государство перерастало эти рамки. Оно ломало их, но, не будучи еще в состоянии полностью от них освободиться, вследствие этого начинало разрываться внутренними противоречиями.

Не следует, конечно, приписывать развитие подобных взглядов на существовавшие в рабовладельческом обществе противоречия самому Саллюстию. Но поистине замечательным является то, что он интуитивно нащупал ряд наиболее характерных противоречий, разъедавших античное рабовладельческое общество.

Что касается программы реформ, выдвигаемой Саллюстием, то прежде всего нужно отметить, что предлагаемый им план реформ — отнюдь не поверхностный план более или менее случайных мероприятий, даже не ближайших практических задач, но план основательного переустройства современного ему Римского государства. Выполнение этого плана, по мысли Саллюстия, должно было возродить Рим предков, Рим-полис.

А так как Рим-полис характеризуется для Саллюстия прежде всего определенным типом государственного устройства, который выражен формулой: сенат + народ, то Саллюстий и группирует свои реформы по двум «разделам», двум направлениям: меры для обновления сената и меры для обновления народа.

Быть может, именно поэтому приходится признать проекты реформ Саллюстия утопическими. Вполне правильно замечание Эдуарда Мейера по поводу одного из проектов реформ[1], замечание, которое вполне может быть распространено и на все остальные проекты Саллюстия. По мнению Эдуарда Мейера, политические реформы Саллюстия представляют собой утопию, идущую еще от воззрений Сократа и Платона и характерную для многих политических теорий древности. Это не что иное, как уверенность в том, что правильное законодательство может изменить формы государственного устройства и даже исторически данные условия бытия.

Однако нельзя ограничиться этим в общем верным замечанием Эдуарда Мейера, ибо, подтверждая утопичность и несвоевременность реформ Саллюстия, оно не объясняет, почему эти реформы были утопичны, почему они были несвоевременны.

Ответ на этот вопрос может быть дан лишь в том случае, если иметь ясное представление о конечной цели преобразовательных планов Саллюстия. Между тем уже говорилось, что проекты реформ были планом мероприятий по возрождению Рима-полиса. Насколько реально было думать о возможности втиснуть Рим в рамки полиса, рамки, которые Римом были превзойдены и разбиты,— на это ответ был дан самим ходом исторического развития. Вот почему реформы Саллюстия оказались утопией. Вот почему они не только не были реализованы Цезарем, но и не могли быть им реализованы.

В заключение остается выяснить вопрос о том, интересы какой части римского общества отражала политическая программа, изложенная Саллюстием в раннем письме, интересам какой классовой группировки соответствовал идеал государственного устройства, пропагандируемый в раннем письме.

Саллюстий представлял интересы той группировки рабовладельческого класса, которую можно охарактеризовать как промежуточную прослойку между плутократической верхушкой и деклассированными низами. Однако пока это еще слишком общее определение. Несомненно, есть возможность более точно определить социальную принадлежность Саллюстия.

Саллюстий, родившийся в сабинском городе Амитерне, был по существу выходцем из среднезажиточных слоев муници-

[1] Это замечание относится к проекту финансовой реформы. См. Ed. M e y e r, ук. соч., стр. 363.

пального населения. Очевидно, именно он упоминается Асконием в связи с событиями 52 г. В этом году Саллюстий был народным трибуном, причем стоял на стороне Клодия, а следовательно, был противником Милона и Цицерона. Вместе с другими трибунами — Квинтом Помпеем и Мунатием Планком — он после убийства Клодия произносит страстные речи, направленные против Милона. Он стремится придать делу политический характер и доказывает, что убийство Клодия — результат заговора нобилитета.

Итак, Саллюстий выступил впервые на политической арене как popularis и вместе с некоторой частью популяров одно время ориентировался на Цезаря. Эта политическая группировка выражала настроения тех слоев, которые, с одной стороны, достаточно четко отделяли себя от деклассированных низов, т. е. от vulgus, но, с другой стороны, не менее яро ненавидели кастово-замкнутую олигархическую группу нобилитета, захватившую всю политическую власть в свои руки. Несомненно, что та программа реформ, та «политическая система», с которой Саллюстий выступил в «Письме к Цезарю», в значительной степени отражала политические требования и чаяния этой группировки. Программа этой группы может быть сформулирована так: политическое равноправие для ее представителей или, говоря языком Саллюстия, «расширение прав народа и ограничение власти аристократии», т. е. опять-таки некое равновесие между сенатом (аристократией) и народом. Эта программа была тем реальнее, что подобный политический идеал был не только умозрительным построением, не только мечтой философа, как многие политические утопии греческих мыслителей, нет, он ведь был однажды реально воплощен, он был действительностью в период «золотого века» Римской республики!

Отсюда определенное убеждение, что все дело заключается в том, чтобы восстановить государственные формы и отношения «золотого века». Отсюда же и вера в историческую миссию Цезаря, который мог восприниматься представителями данной прослойки как восстановитель «демократических» традиций. Это тем более вероятно, что из всех крупных политических фигур этого времени, несомненно, только Цезарь и мог возбуждать подобные надежды, так как Помпей уже открыто блокировался с нобилитетом. Цезарь был еще окружен ореолом стойкого и последовательного борца народной «партии», он был уже окружен ореолом легендарных побед и завоеваний в Галлии, он был врагом нобилитета и вместе с тем он выказал известную лойяльность и умеренность как демагог. Не следует забывать, что в 50 г. Цезарь если и был главой «партии», то отнюдь не был главой государства. Следует учесть и то, что Цезарь, основным лозунгом которого во время его борьбы за власть были

beneficia и clementia, примирение различных общественных групп и интересов, видимо, ничего не имел против несколько «вольного» и расширительного толкования своей программы.

Если определенные слои римского общества могли верить в то, что Цезарь выступает как борец за возрождение республики, то самому Цезарю было только выгодно поддерживать подобные взгляды. «Письмо» Саллюстия, было ли оно опубликовано или нет, было ли оно заказано или написано по собственной инициативе автора, все-таки в какой-то мере отражает тот факт, что Цезарь возбуждал в некоторой части римского общества те надежды, которые возлагаются на него в этом «Письме». И если не отдельные конкретные предложения или реформы Саллюстия, то общее направление этих реформ, несомненно, должно было лежать в том плане, в том аспекте, через который преломлялась для определенной прослойки римского общества деятельность Цезаря.

Однако дальнейший ход исторических событий, столь отличный от тех путей и направлений, которые намечались Саллюстием, показал, какая пропасть существовала между этими утопическими проектами и реальными политическими нуждами Римской империи в процессе ее становления. Наиболее ярко и наглядно это противоречие может быть вскрыто путем анализа внутриполитической деятельности Цезаря в период между написанием более раннего и более позднего «Писем».

Если придерживаться того взгляда, что раннее «Письмо к Цезарю» написано в последние месяцы 50 г., а пóзднее — после битвы при Тапсе (апрель 46 г.)[1], то промежуток, отделяющий позднее письмо от раннего, обнимает срок, несколько больший, чем три года. За это время, как известно, произошло много крупных событий. За это время Цезарь, продолжая оставаться главой «партии», превратился вместе с тем в главу государства; за это время фактически утвердилось единодержавие Цезаря.

Внешние события римской истории данного периода слишком хорошо известны, чтобы на них останавливаться. В данном случае основной интерес представляет внутренняя политика Цезаря. Для удобства рассмотрения вопроса и в соответствии с указанными выше датировками обоих писем внутриполитическую деятельность Цезаря следует разбить на два периода: а) основные законодательные мероприятия и реформы с 49 по 46 г. (до битвы при Тапсе) и б) основные законодательные мероприятия и реформы с 46 г. (после битвы при Тапсе).

До битвы при Тапсе Цезарь мог заниматься внутренними реформами только урывками, только во время тех кратких

[1] См. выше, стр. 80.

передышек между походами, когда он бывал в Риме. Однако нельзя не удивляться чрезвычайной интенсивности реформаторской деятельности Цезаря, причем уже первые его мероприятия дают возможность установить основную тенденцию внутриполитической деятельности Цезаря и материал для сравнения ее с программой Саллюстия.

В 49 г., в те шесть-семь дней, что Цезарь пробыл в Риме, им самим не было издано никаких законов; Цезарь, как проконсул, не имел на это права и, видимо, в данном случае не хотел нарушать обычного порядка. Но бесспорно, что в этот короткий промежуток времени или вскоре после отъезда Цезаря из Рима принимается lex Antonia de proscriptorum liberis, по которому сыновья проскрибированных при Сулле получили гражданские права[1]. За это Цезарь агитировал еще во время своего эдилитета. В том же, 49 г., но уже по возвращении из Испании, в которой Цезарь узнал о провозглашении его диктатором, он пробыл в Риме еще 11 дней. За это время были проведены выборы, которые открылись под председательством Цезаря[2] и на которых консулами были избраны сам Цезарь и Публий Сервилий Исаврийский, а преторами — ближайшие сотрудники и приверженцы Цезаря. Из других мероприятий этого времени следует отметить отмену lex Pompeia de ambitu[3], в результате чего многие осужденные по этому закону были оправданы и возвращены в Рим. Кроме того, в эти же 11 дней был проведен закон о даровании прав римского гражданства транспаданцам — lex Iulia de civitate Transpadanis danda[4], а затем и гадитанцам — lex Iulia de civitate Gaditanis danda[5]. Но, пожалуй, наиболее существенным мероприятием Цезаря за этот период было проведение lex Iulia de pecuniis mutuis[6], по которому Цезарь пытался удовлетворить кредиторов тем, что имущество должников, оцененное специальными посредниками или арбитрами по ценам довоенного времени, поступало во владение кредиторов. Этим же законом запрещалось иметь более 16 тыс. денариев (60 тыс. сестерциев) наличными[7], излишек сверх этой суммы должен был пускаться в оборот.

Перед отъездом из Рима Цезарь провел раздачу хлеба[8] и

---

[1] Caes., BC, III, 1; Cic., ad Att., IX, 14, 2; X, 4, 8; Plut., Caes., 37; Suet., Div. Iul., 41; Dio, XLI, 18; XLIV, 47.
[2] Caes., BC, III, 1.
[3] Caes., BC, III, 1; ср. Suet., Div. Iul., 41.
[4] Tac., Ann., XI, 24; Dio., XLI, 36. Это, кстати говоря, первый случай распространения прав римского гражданства на целую провинцию.
[5] Liv., Ep., 110; Dio, XLI, 24.
[6] Caes., BC, III, 1; Plut.; Caes., 37; Suet., Div. Iul., 42; App., BC, II, 48; Dio, XLI, 37.
[7] Dio, XLI, 38.
[8] App., BC, II, 48.

в первой половине декабря уехал к армии. Как известно, во время Александрийской войны и затем войны с Фарнаком внутреннее положение в Риме было крайне напряженным. Попытка организации восстания Целием и Милоном, движение Долабеллы — все это говорило о неустойчивости новых порядков и угрожало прежде всего власти самого Цезаря.

Однако последующие мероприятия Цезаря являются логическим развитием его внутриполитической деятельности 49 г. и продолжают ту же линию. После фарсальской битвы Цезарь возвращает Фессалии автономию, а задержавшись на некоторое время в Азии, дарует свободу книдцам и снимает одну треть налогов с населения провинции Азии[1].

Вернувшись летом 47 г. в Рим, Цезарь не только не вознаграждает Антония за жестокое подавление движения Долабеллы, но с этого момента начинается его охлаждение к Антонию, и ближайшие мероприятия Цезаря по существу являются, хотя частичной и компромиссной, но все же реализацией программы Долабеллы. Об этом свидетельствует lex Iulia de mercedibus habitationum annuis[2], по которому слагалась задолженность по годовой плате за квартиру для живущих в Риме в объеме 2 тыс. сестерциев, а в других городах Италии — 500 сестерциев. Что касается вопроса об отмене долгов, то хотя Цезарь и отказывается снова от радикального разрешения этой проблемы и не удовлетворяет желаний относительно tabulae novae, но теперь закон de pecunis mutuis получает такое толкование, что из оцененного имущества, которым расплачивались должники, в их пользу зачитывались выплаченные уже проценты (т. е. они зачислялись в счет погашения долга). Вследствие этого кредиторы теряли около одной четверти той суммы, на которую ими высказывались притязания[3]. Эти мероприятия были дополнены появлением lex Iulia de modo credendi et possidendi intra Italiam[4], по которому предлагалось вкладывать часть капиталов в земельное имущество. Как и в 49 г., так и теперь, Цезарь дополняет свои мероприятия по разрешению долговой проблемы мероприятиями, содействующими обращению капиталов.

В 47 г., перед отъездом на африканскую войну, Цезарь пробыл в Риме два с половиной месяца, и за это время им был проведен еще lex Iulia de sacerdotiis[5], по которому увеличивалось число авгуров, понтификов и квиндецемвиров. Число преторов было также увеличено на основании lex Iulia de

[1] Plut., Caes., 48; ср. App., BC, IV, 5; Dio, XLII, 6.
[2] Suet., Div. Iul., 38; Dio, XLII, 51.
[3] Там же, 42; Dio, XLII, 51.
[4] Tac., Ann., VI, 16; Dio, XLI, 38.
[5] Dio, XLII, 51; ср. Cic., ad fam., XIII, 68, 2.

praetoribus decem creandis[1], который доводил число преторов с восьми до десяти. Увеличено было также число эдилов и квесторов[2]. Новые вакансии были заполнены сторонниками Цезаря. Своих приверженцев из всаднического сословия, равно как и некоторых центурионов, он вводит в сенат взамен умерших сенаторов при предпринятой им, как диктатором, lectio senatus[3]. В это время и был снова принят в состав сената Саллюстий, возвратившийся из своей неудачной экспедиции в Иллирию и назначенный претором[4].

Таковы были основные мероприятия Цезаря за два с половиной месяца его пребывания в Риме. 1 декабря 47 г. он снова уезжает из Рима на африканскую войну.

Теперь, после того как изложены основные реформы Цезаря, проведенные им в период от начала гражданской войны и до битвы при Тапсе, можно сделать попытку выяснить вопрос о том, в каком соответствии находятся эти мероприятия с реформаторскими планами Саллюстия из раннего письма.

Программа реформ Саллюстия, как было уже показано, сводилась к мероприятиям по «возрождению сената и народа». В плане возрождения народа основными предложениями были: вывод смешанных поселений, уничтожение незаслуженных привилегий, доставляемых богатством, выборность судей народом из граждан первого класса, изменение порядка голосования при выборах. В плане возрождения сената основными предложениями были: увеличение числа сенаторов, введение в сенате тайного голосования.

Нетрудно убедиться, что реформы, проведенные Цезарем, не только не совпадают с предложениями Саллюстия, но иногда прямо противоречат смыслу его проектов.

Саллюстий, например, говорит о выводе смешанных поселений; Цезарем за это время не выведено ни одной колонии[5]. Однако позднее, когда Цезарь стал выводить колонии, основное требование Саллюстия, т. е. принцип смешения, не выполнялось, откуда следует, что Цезарь не придавал этому мероприятию того глубокого внутреннего смысла, который вкладывался в него Саллюстием.

Саллюстий говорит об уменьшении любви к деньгам и уничтожении привилегий, доставляемых богатством, но способы, которыми Цезарь пытался регулировать долговую проблему, были тесно связаны с мероприятиями, содействующими обра-

---

[1] Dio, XLII, 51.
[2] Suet., Div. Iul., 41.
[3] [Caes.], B. Afr., 28; Suet, Div. Iul., 41; Dio, XLII, 51.
[4] Dio, XLI, 52.
[5] O. Seel, ук. соч., стр. 16—17.

щению капиталов, и говорят о совершенно иной линии Цезаря в этом вопросе. Не снижение роли и значения денег, а, наоборот, открыто плутократический характер законодательства[1],— вот что характеризует финансовую политику Цезаря.

Саллюстий предлагает выбирать судей из граждан первого класса. Цезарь до 46 г. никак не затрагивает этого вопроса, но зато хорошо известно, что позже, в 46 г., им была уничтожена в судах декурия эрарных трибунов[2], и суды снова стали достоянием лишь сенаторов и всадников.

Наконец, Саллюстий говорит о выборности магистратов, даже внося коррективы в систему выборов, Цезарь же фактически отменяет самую выборность и раздает магистратуры по своему усмотрению.

Таким образом, проекты реформ Саллюстия по «обновлению народа» не только не осуществлялись, но был предпринят ряд мер, резко противоположных этим проектам. Следовательно, у Цезаря было свое понимание роли народа, свое отношение к народу, отличное от взглядов на этот вопрос Саллюстия.

Что касается проектов реформ Саллюстия в плане «возрождения сената», то здесь противоположность мероприятий Цезаря выражена не менее ярко. Прежде всего самая идея укрепления власти сената была глубоко чужда Цезарю, и поднятие авторитета сената никак не входило в его расчеты. Это настолько очевидно, что не нуждается в особых доказательствах. Относительно предложения Саллюстия об увеличении числа сенаторов необходимо иметь в виду, что хотя такое увеличение Цезарем и было проведено, оно было предпринято им с совершенно иной целью, с целью ослабления самостоятельности и значения сената. Поскольку сенат пополнялся лишь креатурами Цезаря, эта цель легко достигалась. Таким образом, если выше говорилось об отличном от Саллюстия понимании роли народа Цезарем, то здесь можно говорить о коренном различии между Саллюстием и Цезарем в понимании роли сената.

Итак, деятельность Цезаря в период между написанием раннего и позднего писем могла убедить их автора в том, что программа реформ, изложенная им в первом письме, не встречает отклика. Саллюстий не мог, конечно, понимать того, что это совершенно закономерное явление. Между тем закономерность этого явления становится совершенно очевидной, если уяснить себе принципиальное направление реформаторской деятельности Цезаря. Но для этого необходимо (хотя придется нарушить последовательность изложения и хронологически несколько забежать вперед) дополнить краткий очерк внутриполитической

[1] Ed. Meyer, ук. соч., стр. 418.
[2] См. ниже, стр. 99.

деятельности Цезаря обзором мероприятий, проведенных им после битвы при Тапсе.

Вернувшийся в Рим 25 июля 46 г. после окончания африканской войны и встреченный необычайными почестями, Цезарь отпраздновал пышный четверной триумф. Во время этого триумфа были розданы щедрые награды и подарки не только военачальникам и солдатам, но всем гражданам. Так, каждый гражданин получил обещанные еще в 49 г. 300 сестерциев, к которым Цезарь добавил еще 100 сестерциев за просроченное время. Помимо этого было роздано по 10 модиев хлеба и 10 фунтов масла каждому. Затем были устроены грандиозное угощение для народа, зрелища и игры разных родов [1]. Солдатам было выдано по 24 тыс. сестерциев, центурионам — вдвое больше, трибунам — вчетверо [2]. Эти деньги были выплачены новой золотой монетой — aureus, которая с этого времени становится государственной монетой. К упомянутым празднествам примыкают игры, данные Цезарем в память его умершей дочери, игры при освящении храма Venus Genetrix и forum Iulium [3].

Вслед за этим Цезарь в силу своих диктаторских полномочий приступает к наделению ветеранов землей. Это мероприятие проводилось умеренно и осторожно, покушений на собственность старались избегать. Землевладельцы не сгонялись с земель, как было при Сулле [4], но Цезарь распределил поселенцев по Италии, а также за ее пределами, и, кроме государственных земель, предпочтительно использовались земли невозделанные [5].

В силу praefectura morum Цезарь проводит ограничение контингента лиц, получавших хлеб, снизив его до 150 тыс. человек (вместо 320 тыс. чел.). Praetor urbanus должен был ежегодно жеребьевкой пополнять освободившиеся вакансии в пределах тех же 150 тыс. [6]

Затем Цезарь приступил к проведению всеобщего ценза [7],— мероприятия, которое не было окончено до самой его смерти [8]. В качестве подготовки к проведению этого мероприятия принимается lex Iulia municipalis [9]. Этот закон представляет крайне

---

[1] Suet., Div. Iul., 38; App., BC, II, 102; Dio, XLIII, 21.
[2] Liv., Ep., 115; Plut., Caes., 55; Dio, XLIII, 21.
[3] Suet., Div. Iul., 38; App., BC, II, 102; Dio, XLIII, 21.
[4] App., BC, II, 102; Dio, XLIII, 22—24.
[5] Cic., ad fam., XIII, 8, 2; Suet., Div. Iul., 38; App., BC, II, 93.
[6] Ed. Meyer, ук. соч., стр. 413.
[7] CIL, I², 206 = FIRA⁷, стр. 102—110; Liv., Ep., 115; Plut., Caes., 55; Suet., Div. Iul., 41; App., BC, II, 102; Dio, XLIII, 21.
[8] Dio, XLIII, 25. Видимо, поэтому в RGDA, 8, применительно к цензу 28 г. говорится, что люстра не было до того 42 года, т. е. с 70 г. до н. э.
[9] CIL, I², 206 = FIRA⁷, стр. 102—110; Cic., ad fam. VI, 18, 1. По поводу даты опубликования этого закона существуют разногласия.

характерную попытку введения общих норм как для Рима, так и для муниципиев, что низводило Рим, в некотором отношении, на один уровень с муниципиями.

Опуская криминальные законы Цезаря, законы против эмиграции, реформу календаря и пр., следует отметить еще из законодательной деятельности Цезаря этого периода его меры против роскоши — lex Iulia sumptuaria[1], затем эдикт о роспуске клодиевых коллегий[2], которые были средоточием плебса и очагами демократической агитации, lex Iulia iudiciaria[3], по которому, как уже говорилось, уничтожалась декурия эрарных трибунов и, наконец, lex Iulia de provinciis[4], по которому управление провинциями разрешалось проконсулам на срок не больший, чем два года, а пропреторам не более, чем один год. Эти мероприятия были проведены Цезарем в пять месяцев, с мая по сентябрь 46 г., и перечислением их можно закончить краткий обзор внутриполитической деятельности Цезаря.

Основной идеей, пронизывающей всю реформаторскую деятельность Цезаря, была идея организации могущественной Римской державы. Об этом свидетельствуют и самый размах реформ и общее направление их и даже та интенсивность, с какой эти реформы проводились. Об этом свидетельствуют и те пути, которые были избраны Цезарем в осуществлении намеченной цели, в деле создания мощной Римской империи. Можно говорить о двух тенденциях в реформаторской деятельности Цезаря, которые очевидны и которые определяют направленность отдельных реформ. Это, во-первых, стремление Цезаря к объединению государства и уравнению в правах всего свободного населения, во-вторых, стремление к переустройству и совершенствованию государственного аппарата, созданию сильной централизованной власти.

Уравнительная тенденция подтверждается такими мероприятиями, как дарование прав гражданства транспаданцам и гадитанцам, а также в известной мере возвращением автономии Фессалии, дарованием свободы книдцам и сложением части

---

Так, например, Моммзен считает, что он был опубликован лишь в 45 г., Э. Мейер присоединяется к этому мнению. Однако Цицерон называет его уже lex, что заставляет нас отнести опубликование этого закона к 46 г. Существуют, впрочем, и другие мнения относительно датировки lex Iulia municipalis: так, некоторые полагают, что он был издан только после смерти Цезаря Антонием в числе остальных acta Цезаря, другие, напротив, убеждены, что издание его относится еще к 64 г. (консульство Луция Юлия Цезаря).

[1] Cic., ad. Att., XV, 7, I; ad fam., XIX, 15, 5; Suet., Div. Iul., 43; Dio, XLIII, 25.

[2] Suet., Div. Iul., 42.

[3] Cic., Phil., I, 8, 19; Suet., Div. Iul., 41; Dio., XLIII, 25.

[4] Там же, I, 8, 19; III, 15, 38; V, 3, 7; VII, 9, 28; Dio., XLIII, 25.

налогов с населения Азии. Сюда же, конечно, следует отнести и lex Iulia municipalis, а также монетную и календарную реформы.

Стремлением к установлению прочной централизованной власти продиктованы мероприятия по увеличению числа магистратов, проведение lex Iulia de provinciis и, наконец, меры по превращению сената в послушный диктатору орган власти, что нашло свое выражение в проведенной Цезарем lectio senatus.

Эти две тенденции и определяют принципиальное направление всей реформаторской деятельности Цезаря. Однако, как нетрудно убедиться из вышеизложенного, все его мероприятия и реформы не шли и не могли идти дальше забот о создании некоего военно-административного объединения в масштабе orbis terrarum. Само собой резумеется, что ни о какой единой и прочной экономической базе этой империи не могло быть и речи[1].

Как основная идея внутриполитической деятельности Цезаря, так и пути ее осуществления были совершенно чужды и враждебны принципам Саллюстия. Но этот принципиальный характер расхождения как раз совершенно не вскрыт и не объяснен буржуазными исследователями Саллюстия, даже теми, кто признает расхождение программы Саллюстия и Цезаря (например, Э. Мейер, О. Зеель).

Если для Саллюстия идеалом, к которому он стремился, было возрождение Рима-полиса, то идеалом Цезаря было создание могущественной империи. Если Саллюстий необходимым условием для достижения своего идеала полагал укрепление сената и восстановление его авторитета, то Цезарь, наоборот считал ослабление сената необходимым условием централизации власти. И, наконец, если Саллюстий стремился к «возрождению» римского народа путем организации смешанных поселений и допущения народа к государственной жизни (хотя и на весьма ограниченных условиях!), то Цезарь заботился лишь об уравнении всего свободного населения империи в правах, отнюдь не помышляя о допущении этого населения к управлению государством.

Об отношении к этому вопросу Цезаря достаточно ярко свидетельствует его «популярная» политика. Политика Цезаря по отношению к римскому плебсу была политикой типичного демагога. Цезарь понимал необходимость сохранить популярность в низших слоях римского гражданства, но привлекать эти народные массы к делу управления государством он вовсе не стремился. Отсюда чисто демагогическая политика «подачек» городскому плебсу, отсюда щедрые раздачи

---

[1] См. И. Сталин. Относительно марксизма в языкознании, 1950, стр. 10—11.

во время триумфов, отсюда характерные попытки регулирования долговой проблемы, отношение к движению Долабеллы и пр. Но как только дело касается политических прав и участия в государственной жизни, сразу бросается в глаза антидемократический характер мероприятий Цезаря. К таким мероприятиям следует отнести и lex Iulia iudiciaria и эдикт о роспуске клодиевых коллегий. В этом суть «популярной политики» Цезаря, политики демагогических подачек при постепенном вытеснении народных масс из сферы государственной жизни.

Итак, Саллюстий на опыте внутриполитической деятельности Цезаря за 50—46 гг. мог достаточно наглядно убедиться в том, что его предложения не нашли отклика. Для того чтобы выяснить, как воспринял Саллюстий расхождение деятельности Цезаря со своей политической программой и как он реагировал на это расхождение, необходимо обратиться к более позднему «Письму к Цезарю», написанному в тот период, когда это расхождение обнаружилось достаточно ярко и когда, в основном, уже определилось направление внутриполитической деятельности Цезаря.

Позднее письмо Саллюстия к Цезарю по своему содержанию, по своим основным идеям и даже по манере изложения существенно отличается от раннего.

Прежде всего нужно ознакомиться с изображением картины упадка римского общества в позднем письме.

Характерные черты, которыми Саллюстий набрасывает картину разложения римского общества, рассыпаны по всему произведению. Саллюстий говорит о непомерной роскоши и алчности, царящих в римском обществе, о развращенности юношества [1], об испорченности народа денежными и хлебными раздачами [2].

Но главным образом в позднем письме Саллюстий останавливается на ужасах междоусобной войны, описанию которых посвящена целиком глава IV. Саллюстий говорит здесь о тайных убийствах и преступлениях, о массовых избиениях, о гибели женщин и детей, о разрушении жилищ [3]. Он гневно обрушивается на тех, кто в эти тяжелые дни, несмотря на все ужасы

---

[1] Sall., Epp., I, 5.

[2] Там же, I, 7.

[3] Там же, I, 4: «heu quam illa occulta civium funera et repentinae caedes, in parentum aut liberorum sinum fuga mulierum et puerorum, vastatio domuum ante partam a te victoriam omnia saeva atque crudelia erant», «о, сколь эти тайные убийства граждан, внезапная резня, бегство женщин и отроков под защиту родителей или [своих взрослых] детей, опустошение жилищ, сколь все это было ужасно и невыносимо, вплоть до того, пока ты не достиг победы».

войны, проводит время в пирах, излишествах и преступных наслаждениях [1].

В таких красках изображается Саллюстием в позднем письме современное ему состояние римского общества.

Нетрудно убедиться, что картина разложения в раннем письме была несравненно более полной и убедительной. Кроме того, она была более «обоснованной», ибо она «увязывала» разложение общества с развращенностью народа и слабостью сената, т. е. в какой-то степени отражала «систему» Саллюстия, логически вытекая из нее.

Картина разложения общества в позднем письме скорее даже не стройная и законченная картина, а ряд ярких, но все-таки торопливых мазков, ряд фактических примеров. Но и эти фактические примеры не систематизированы, не подобраны так, чтобы они могли служить иллюстрацией к определенным теоретическим положениям автора, как то было сделано в раннем письме. Изображение состояния римского общества в позднем письме носит на себе печать торопливости и растерянности, и, по существу, картина разложения римского общества совершенно вытеснена рассказом об ужасах междоусобной войны, которые и привлекают все внимание Саллюстия. Можно только еще отметить сугубое подчеркивание безнравственности, царящей в Риме,— лейтмотив всех описаний и рассуждений в позднем письме.

Анализ причин разложения общества дается в главе VII. Саллюстий рассказывает здесь, что специальные занятия и размышления о причинах возвышения или гибели отдельных выдающихся людей, народов и государств убедили его в том, что причиной возвышения всегда было презрение к богатству, а причиной падения — страсть к деньгам, корыстолюбие. Достичь истинного величия как для отдельного человека, так и для государства возможно лишь одним путем, путем нравственного самоусовершенствования [2].

Таким образом, в позднем письме причинами упадка уже оказываются моральное несовершенство, нравственное разложение римских граждан. В этих кратких формулировках, по существу, дана в зародыше саллюстиева теория упадка нравов,

---

[1] Sall., Epp., I, 4: «neque enim te praeterire puto, quali quisque eorum more aut modestia, etiam tum dubia victoria, sese gesserit; quoque modo in belli administratione scorta aut convivia exercuerint nonnuli: quorum aetas ne per otium quidem tales voluptates sine dedecore attigerit», «я полагаю, что от тебя не ускользнуло, каковы были нравы и поведение этих людей тогда, когда еще было неясно, на чьей стороне окажется победа, и как некоторые из них в самый разгар военных действий занимались куртизанками и пирами, хотя их возраст делал подобные развлечения для них позорными даже и в мирное время».

[2] Там же, I, 7.

в зародыше потому, что позднее письмо еще не дает ответа на вопрос о том, кто же является конкретным носителем зла, по чьей вине произошло разложение общества. Саллюстий еще оперирует общими и отвлеченными категориями, которые не являются пока атрибутами той или иной общественной группировки, а бытуют в римском обществе вообще.

Следует еще ознакомиться с позитивной программой, т. е. с проектами реформ в позднем письме.

Поскольку причиной упадка и разложения государства является непомерная алчность, то Саллюстий, в первую очередь, предлагает уничтожить роскошь и любовь к деньгам. Крайне характерно, что сделать это, по мнению Саллюстия, путем восстановления древних законов и обычаев для современного общества в силу крайнего его разложения уже невозможно[1]. Поэтому существует лишь один выход, который Саллюстий и предлагает. Для того чтобы каждый довольствовался своим, следует уничтожить ростовщичество[2]. Саллюстий понимает всю затруднительность проведения подобного проекта в жизнь, но интересы государства настоятельно требуют такой меры, и потому выполнить это необходимо[3].

Затем идет ряд второстепенных предложений, которые Саллюстий только перечисляет «оптом», даже не давая себе труда развить и обосновать их. Тут и уничтожение торга должностями, который, впрочем, прекратится сам собой, когда будет уничтожена любовь к деньгам, тут и меры по обеспечению безопасности в Италии, и регулирование срока военной службы, и предложения относительно раздачи хлеба ветеранам[4].

Этими предложениями исчерпывается новая программа реформ Саллюстия, изложенная им в позднем письме.

Если ее сравнивать с программой реформ раннего письма, то прежде всего бросается в глаза неглубокий, непринципиальный характер новых проектов Саллюстия. Проекты реформ раннего письма, как уже было отмечено, являлись планом основательного переустройства всего государства, проекты же реформ позднего письма носят несравненно более поверхностный характер. Это всего-навсего ближайшие шаги, ближайшие практические мероприятия. Даже основное и наиболее серьезное, с точки зрения самого Саллюстия, предложение об уничтожении ростовщичества вовсе не требует переустройства

---

[1] Sall., Epp., I, 5.

[2] Там же: «quare tollendus fenerator in posterum, uti suas quisque res curemus», «поэтому ростовщик должен быть истреблен, чтобы впредь каждый из нас довольствовался только своим собственным состоянием».

[3] Там же, I, 6.

[4] Там же, I, 8.

государства, а вполне укладывается в рамки «существующего строя». В этом и заключается коренное отличие нового плана реформ Саллюстия от плана реформ, изложенного в раннем письме.

Следует еще отметить отсутствие систематизации реформ и единой целевой установки всего плана, в то время как план реформ раннего письма был поставлен на службу определенной цели, а именно возрождению Рима как полиса. Как и на картине разложения римского общества, данной в позднем письме, так и на программе реформ лежит печать торопливости, отрывочности и растерянности. Это не случайное явление: очевидно, в позднем письме эти разделы имеют уже второстепенное, побочное значение и центр тяжести перенесен автором на нечто иное. В связи с этим следует перейти к чрезвычайно интересному вопросу, для выяснения которого позднее письмо дает обильный и весьма существенный материал,— к вопросу об отношении Саллюстия к Цезарю.

Обращения Саллюстия к Цезарю в позднем письме составляют добрую половину всего произведения. Это не только обращения, это — просьбы, уговоры, заклинания. Уже самое обилие уговариваний внушает мысль о том, что Саллюстий, очевидно, на основании опыта, был далеко не уверен в том, последует ли Цезарь его советам.

Позднее письмо также начинается с традиционной captatio benevolentiae и с восхваления заслуг Цезаря, но, однако, в самом начале имеется некий замаскированный намек, который можно отнести на счет самого Цезаря. Говоря о том, что всякий человек, стоящий на вершине могущества, как бы он ни был добр и милосерд, все же внушает опасение тем, что может употребить свою власть во зло, Саллюстий объясняет, почему это так бывает.

Причиной подобных опасений является пример многих могущественных людей, которые неправильно считают свою власть тем прочнее, чем более ничтожны те, кем они управляют[1]. Правда, Саллюстий сразу же переходит к тому, что Цезарю, наоборот, следует стремиться к возможности управлять «лучшими», но весьма возможно, что Саллюстия на подобный пример натолкнуло направление и характер деятельности Цезаря в первые же годы гражданской войны.

Затем Саллюстий всячески подчеркивает beneficia Цезаря, его кротость во время войны, его отношение к побежденным

[1] Sall., Epp., I, 1: «id evenit, quia plerique rerum potentes perverse consulunt et eo se munitiores putant, quo illi quibus imperitant, nequiores fuere», «это происходит потому, что нередко власть имущие превратно судят об этом вопросе и считают свое положение тем прочнее, чем ничтожнее те, которыми они управляют».

соотечественникам[1]. Он призывает Цезаря к проведению подобной же политики и в дальнейшем, но самая настойчивость этих призывов заставляет думать о том, что Саллюстий скорее ожидает обратного[2].

Небезинтересно отметить описание лагеря Цезаря, который изображен отнюдь не в радужных красках. Сюда стекается весь сброд, все те, кто погряз в пороках и преступной роскоши, все те, кто мечтает «подорвать общественный порядок»[3]. Опять-таки Саллюстий указывает, что Цезарь не дает воли порочным страстям и наклонностям этих людей, вследствие чего многие уже покинули его лагерь, но все же некоторые остаются, и как раз такие, для кого лагерь является надежным прибежищем от их кредиторов[4]. Все это выглядит как попытка Саллюстия в замаскированной форме подвергнуть критике Цезаря и его окружение.

Далее Саллюстий снова переходит к увещеваниям на тему о том, что власть, основанная на жестокости, непрочна и тягостна, ибо тот, кто внушает страх многим, и сам живет в постоянном страхе. В противовес этому властитель, который управляет милостиво и снисходительно, имеет прочную, спокойную власть[5]. Саллюстий всячески старается сделать тезис о милостивой власти наиболее убедительным, и вся картина ужасов гражданской войны в главе IV должна служить наглядным подтверждением этой мысли. В главе VI Саллюстий снова заклинает Цезаря употребить все могущество на пользу отечества, не прибегать к суровым приговорам и казням, но проявить истинное милосердие — vera clementia — и позаботиться, в первую очередь, о восстановлении нравственности среди молодого поколения[6].

Итак, позднее письмо пронизано призывами к Цезарю не обратить во зло завоеванную им власть, но воспользоваться ею с милосердием, употребив ее на восстановление добрых нравов в Римском государстве.

---

[1] Sall., Epp., I, 1.

[2] Там же, I, 3; 4; 6 и т. д.

[3] Там же, I, 2: «per idem tempus, maledictis iniquorum, occupandae rei publicae in spem adducti homines, quibus omnia probro ac luxuria polluta erant, concurrere in castra tua», «в то же самое время вследствие клеветы твоих врагов люди, рассчитывающие на захват государственной власти, запятнанные позором и разложением, сбегаются в твой лагерь».

[4] Там же, I, 2.

[5] Там же, I, 3.

[6] Там же, I, 6: «neque quisquam te ad crudeles poenas aut acerba iudicia invocat, quibus civitas vastatur magis quam corrigitur; sed uti pravas artes malasque lubidines ab iuventute prohibeas», «тебя никто не призывает к жестоким казням и суровым приговорам, которыми, кстати говоря, государство скорее опустошается, чем восстанавливается, но твоя задача — удержать молодежь от гибельных страстей и наклонностей».

Все это свидетельствует о том, что отношение Саллюстия к Цезарю ко времени написания этого письма существенно изменилось. Если на основании раннего письма можно было сделать вывод, что Цезарь был тогда для Саллюстия единственной фигурой, единственным деятелем, который мог провести реформу государственного строя, и Саллюстий, очевидно, возлагал на него определенные надежды в этом отношении, то сейчас, ко времени позднего письма, приходится говорить о неуверенности Саллюстия в Цезаре, о его растерянности, о его разочаровании в личности и деятельности Цезаря. Это подтверждается ожиданием проскрипций, которое явно ощущается в «заклинаниях» Саллюстия, это подтверждается самим обилием подобных «заклинаний», это проскальзывает в осторожных и замаскированных намеках по адресу Цезаря. Таково изменение отношения Саллюстия к Цезарю.

Что касается до общего итога, который можно подвести изучению политических воззрений Саллюстия на основе материала позднего письма, то его особенно легко выявить при сравнении с некоторыми, сделанными выше по поводу раннего письма, выводами.

В позднем письме можно наметить, хотя довольно условно, те же «конструктивные» разделы, что и в раннем. Однако при этом внешнем и довольно условном сходстве конструкций обоих писем приходится констатировать глубокое различие их внутреннего содержания.

Прежде всего в раннем письме имелось изложение довольно стройной и разработанной политической «системы» Саллюстия, базирующейся на его политическом идеале (сенат + народ). Составные части раннего письма: картина разложения общества, анализ причин разложения, программа реформ — все это являлось иллюстрацией и развитием основных положений «системы», будучи приведено в строгое соответствие со всей «системой» в целом. Как сам политический идеал Саллюстия, так и выводы из него (программа реформ) требовали коренного, принципиального переустройства Римского государства.

В позднем письме Саллюстий как будто отходит от своей прежней политической «системы». Во всяком случае эта «система» более не ощущается. Политический идеал Саллюстия этого времени четко не выражен. Центральной проблемой ныне становится проблема нравственного возрождения римского общества. Однако учение о нравственной регенерации общества еще не представляет развитой теории, поэтому и соответствующие составные части позднего письма: картина разложения общества, анализ причин и программа реформ — значительно менее разработаны, чем соответствующие разделы раннего письма. Программа реформ, как уже отмечено, бросается

в глаза поверхностным характером предложений: они отнюдь не предполагают переустройства общества, но целиком укладываются в рамки существующих отношений. Саллюстий отказывается от основных предложений раннего письма — аграрной реформы и реформы сената и все сводит к уничтожению роскоши и корыстолюбия, к мероприятиям воспитательного характера.

Раннее письмо построено на конкретном историческом материале. Изложение политической системы Саллюстия подкреплено историческим экскурсом, органически врастающим в ткань произведения; изображение картины упадка общества также носит вполне конкретный характер (развращенность народа, слабость сената). Проекты реформ четко распределены и соответствуют общему духу письма. Исторические факты, ссылки и указания рассыпаны по всему письму.

Позднее письмо носит несравненно более отвлеченный, абстрактный характер. Здесь отсутствуют исторические экскурсы и, за исключением скорее реторического, чем исторического отступления по поводу ужасов гражданской войны, в позднем письме не имеется никакого исторического материала. Картина разложения общества сводится к отвлеченным рассуждениям о падении нравственности «вообще», о разложении общества «в целом».

Проекты реформ даны нечетко, они не систематизированы. В связи с этим невольно создается впечатление, что Саллюстий стремится отойти от конкретных фактов и событий, от живой действительности, от политической и партийной борьбы в область «общих истин», одинаково справедливых для всех, в область общих рассуждений о нравственном самоусовершенствовании.

Наконец, раннее письмо характерно тем, что основное внимание автора в этом произведении устремлено на изложение, развитие и разработку самой «системы». Обращения к Цезарю, имеющиеся в этом письме, носят внешний, обрамляющий характер и подсказаны скорее самым жанром συμβουλευτικὸς λόγος, чем настоятельной внутренней необходимостью в них для автора. Это не значит, что Саллюстий вообще не хотел обращаться к Цезарю, наоборот, это говорит о том, что Саллюстий еще верил в Цезаря и в его историческую миссию по восстановлению республики. Поэтому раннее письмо содержит советы, но не уговаривания.

В позднем письме, и это очень характерно, центр тяжести перенесен именно на captatio benevolentiae, на уговоры не прибегать к проскрипциям, на просьбы о проявлении vera clementia. Это и есть, очевидно, основная цель позднего письма, а «теоретическая часть» в этом письме имеет явно

второстепенное, подчиненное значение. Подобное перенесение центра тяжести наилучшим образом свидетельствует о растерянности Саллюстия, о разочаровании в Цезаре и о страхе перед ним.

Таким образом, политические воззрения Саллюстия в период написания позднего письма претерпевают существенное изменение. Саллюстий, как мы убедились, отходит от своей прежней политической «системы», а следовательно, отказывается и от конкретных выводов из нее (например, изменение программы реформ). Позднее письмо отражает этот переходный момент в развитии политических воззрений Саллюстия. В этом и заключается его основное значение.

Итак, многие из прежних убеждений, прежних взглядов и симпатий Саллюстия терпят крах. Но так как этот крах есть следствие весьма конкретных причин, а именно событий 50—46 гг., то весьма понятно желание Саллюстия как-то отойти от этой конкретной действительности, приносящей только разочарование, весьма характерна тяга к абстрактным построениям, к учению о нравственном самоусовершенствовании и об упадке нравов как о причине гибели и отдельных личностей и целых народов. Вот этим частичным отказом от старых убеждений, неуверенностью и растерянностью, тягой к абстракциям характеризуется изменение политических воззрений Саллюстия в период написания им позднего письма.

Однако в заключение необходимо сказать, что подобное состояние политической растерянности и прострации было для Саллюстия лишь переходным и временным явлением. Саллюстий отнюдь не превратился в бесстрастного и разочарованного свидетеля событий, в «надпартийного» созерцателя. Наоборот, крушение прежних идеалов привело его в иной лагерь. Он нашел в себе силы перестроить свою «систему» и придти к новым выводам. Уже само позднее письмо заключает в себе некоторые предпосылки возрождения политической активности Саллюстия. Теория упадка нравов, впервые намеченная в позднем письме, постепенно наполняется вполне конкретным содержанием. Она становится для Саллюстия орудием партийной борьбы против его главного политического врага — против римского нобилитета.

## Глава II

# ТЕОРИЯ УПАДКА НРАВОВ И ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Учение об упадке нравов как причине разложения государства было чрезвычайно распространено среди высших кругов римского общества. Это учение имело определенный политический смысл и направленность и использовалось различными римскими политическими деятелями в качестве орудия партийной борьбы. Не говоря уже о Катоне, который не только мыслил, но и практически действовал в духе этой теории, подобные взгляды имеются у ряда историков и моралистов: Ливия, Валерия Максима и т. д. Впервые эти воззрения были объединены в более или менее стройную систему представителями эллинистической философской мысли в Риме — Полибием и Посидонием. Но так как сохранившиеся фрагменты Посидония не дают достаточно полного представления об этом учении то можно сказать, что наиболее развернутое и яркое выражение теории упадка нравов имеется в исторических трудах Саллюстия (находившегося под несомненным влиянием концепции Полибия и Посидония), например, в «Заговоре Катилины».

Как уже говорилось[1], причиной кризиса древнеримской идеологии и, в частности, древнеримской морали был кризис полиса, назревший в свою очередь в силу роста внутренних противоречий римского рабовладельческого общества. Отражением этого кризиса в идеологической сфере и был «упадок нравов», выражавшийся в ломке традиций, отходе от древних морально-этических норм и устоев. Господствующая верхушка рабовладельцев уже не могла осуществлять свое не только материальное, но и моральное превосходство при помощи тех идеологических норм, которые возникли в маленькой латинской общине и были рассчитаны на ее граждан. Поэтому древнеримская

[1] См. выше, стр. 54—56.

«мораль» вступает в полосу определенного кризиса с того времени, когда Римское государство, ломая рамки полиса, выходит за пределы Италии, становится на путь превращения в великую средиземноморскую державу.

Таковы некоторые соображения по поводу кризиса древнеримской «морали». Теперь следует обратиться к тому, какое отражение получили эти явления общественной жизни в римской литературе, или, точнее говоря, в римской историографии.

У многих авторов имеются лишь краткие указания на разложение нравов в римском обществе, которые, однако, дают представление о том, как сами римляне датировали начало этого процесса. Так, например, Фабий Пиктор, по словам Страбона [1], считал, что римляне впервые «попробовали богатства» в период Третьей Самнитской войны, подчинив себе сабинян. Валерий Максим [2] говорит о склонности к менее строгому образу жизни, которая стала заметной после конца Второй Пунической войны (201 г.) и поражения Филиппа Македонского (197 г.). Ливий [3], источник которого в данном случае указать затруднительно (во всяком случае, как видно из дальнейшего, не Полибий), считает, что возвращавшееся из Азии оккупационное войско (187 г.) принесло с собой в Рим семена расточительства. Если обратиться к Полибию [4], то он считает исчезновение древней скромности и бережливости следствием войны с Персеем (168 г.). Почитатель Катона Старшего, консул 133 г. Л. Кальпурний Писон Фруги, датирует крушение древней pudicitia вполне определенным годом, а именно 154 г. [5] Посидоний начинает период упадка с разрушения Карфагена (146 г.), и в этом ему следуют Саллюстий [6], а затем Веллей Патеркул [7]. Следовательно, датировка начала упадка нравов колеблется между 290 и 146 гг. Однако сами по себе эти указания дают немного. Первая попытка поставить вопрос об упадке нравов более широко и дать исторический анализ причин этого явления принадлежит Полибию.

Полибий в одном общем рассуждении [8], но безусловно имея в виду современное ему положение Рима, говорит следующее: «если государство отбило многие опасности и затем пришло в состояние безусловного превосходства и могущества, то получается, что образ жизни каждого в отдельности становится все

[1] Strabo, V, 3, 1.
[2] Val. Max., IX, 12.
[3] Liv., XXXIX, 6, 7.
[4] Polyb., XXXI, 25.
[5] Piso Frugi, фр. 38 (Peter, HRF, 1883, стр. 86).
[6] Sall., Cat., 10 слл.; Iug., 41 слл.; Hist., I, 11 слл.
[7] Vell., II, 1.
[8] Polyb., VI, 57, 5.

более притязательным, так как в государстве повсюду распространяется богатство и люди начинают домогаться должностей и всяких других предприятий с бóльшим честолюбием, чем это следует.

В дальнейшем ходе подобного развития страсть к господству, ущемленное самолюбие и честолюбие образуют начало разложения и кичливую пышность частной жизни». В заключение Полибий развивает мысль о том, как народ, развращенный благодаря φιλαρχία и πλεονεξία руководящего класса, нарушает гражданское согласие и содействует торжеству охлократии. Полибий считает, что судьба каждого государства подчинена органическим законам становления и уничтожения [1]. Эти законы имеют такую силу, что на основе изучения их можно предсказать историческую судьбу любого народа; период расцвета дает возможность предугадать неизбежный распад и даже определить его особенности. При таком воззрении упадок нравов римского общества, равно как и гибель самого государства, становятся чем-то неотвратимым.

Воззрения Полибия на упадок нравов и его причины нельзя еще расценивать как самостоятельную теорию упадка нравов. Эти воззрения всего лишь какая-то часть общеисторической концепции Полибия, а потому лишь зародыш собственно теории упадка нравов. Важно отметить, что в своих рассуждениях Полибий твердо стоит на конкретно-исторической почве и взгляды, развиваемые им, имеют определенную политическую направленность; так, например, он говорит о φιλαρχία и πλεονεξία не вообще, но о φιλαρχία и πλεονεξία руководящего класса, т. е. нобилитета.

Творцом первой достаточно широко разработанной теории упадка нравов был, очевидно, Посидоний. Поскольку сохранившиеся фрагменты его творений не могут дать полного представления о некоторых весьма существенных деталях этой теории, то приходится обращаться к Диодору, ибо, как доказано [2], в XXXII—XXXVII книгах Диодор тесно примыкает к Посидонию.

Посидоний, развивая и теоретизируя взгляды Полибия и, видимо, Панетия на исторические судьбы Рима, создал теорию упадка нравов, которая усматривала причины разложения римского общества именно в нравственной деградации римлян. Фрагменты Диодора (так как упомянутые книги сохранились тоже в эксцерптах) показывают, что основными элементами теории Посидония были: картина «золотого века» [3], роль metus

[1] Polyb., VI, 57.
[2] См. Ed. Meyer, Kleine Schriften, I, 1910, стр. 390 слл.
[3] См. Überweg-Prächter, Die Philosophie des Altertums, Brl., 1926, стр. 481.

Punicus как некоего сдерживающего начала, разрушение Карфагена и каузальная связь этого события с падением нравов в Риме, представление о 146 г. как о том рубеже, за которым следует разгул страстей и пороков и катастрофически прогрессирующее разложение общества[1], картина этого разложения[2] и, наконец, рассуждение о корыстолюбии как об одной из главных причин упадка нравов. Все эти элементы, как будет показано ниже[3], вошли в схему Саллюстия[4]. Сейчас важно отметить то обстоятельство, что теория Посидония была как бы поворотным моментом в развитии учения о разложении нравов. Она отличается от конкретно-исторической концепции Полибия тем, что стремится перевести вопрос в область философии и этики, в область отвлеченных нравственных категорий. Посидоний в своем анализе причин и картины упадка нравов исходит уже не столько из исторических фактов, сколько из интерпретации этих фактов при помощи философской теории. Эта эллинистическая теория ведет к классическим греческим образцам, к греческим мыслителям, вплоть до Платона и Аристотеля, систематизирующего различные причины гражданских смут и неурядиц[5].

Дальнейшее развитие и, пожалуй, наиболее своеобразное применение теории упадка нравов имеется в трудах Саллюстия[6]. Поэтому необходимо остановиться на Саллюстиевой интерпретации этой теории более подробно. Для этого удобнее всего проанализировать исторический экскурс из «Заговора Катилины»[7], где Саллюстий дает наиболее полное и яркое изложение своего учения об упадке нравов.

Излагая в этом экскурсе историю Римского государства, Саллюстий подразделяет ее как бы на три больших периода.

К первому периоду относится основание Рима троянцами, которые, слившись воедино с аборигенами, образовали общину, жившую еще без законов, но согласно и свободно[8]. Преуспевающая община, как это обычно и бывает, стала вызывать по отношению к себе зависть; соседние цари и народы начали делать попытки нападений. Римляне мужественно и согласно отражали опасность, защищая свою родину, свободу, семью[9]. Власть в этот период они имели царскую, причем государст-

---

[1] Jacoby, FGH, II A, 1926, стр. 298 (Poseid., фр. 112).
[2] Überweg-Prächter, ук. соч., стр. 482.
[3] См. ниже, стр. 113—114.
[4] Более подробно о концепции Посидония и влиянии ее на Саллюстия см. W. Schur, Sallust als Historiker, Stuttg., 1934, стр. 62—101.
[5] Arist., Polit., V, 2 (1302 a 9 слл.).
[6] Sall., Cat., 10 слл.; Iug., 41 слл.; Hist., I, 11 слл.
[7] Там же, 6—12.
[8] Там же, 6, 1—2.
[9] Там же, 6, 3—5.

венные дела обсуждались старейшинами или «отцами» (patres). Когда царская власть начала вырождаться в тиранию, римляне изменили государственное устройство и поставили во главе государства двух выборных и ежегодно сменявшихся правителей (consules)[1]. На этом и оканчивается первый период римской истории.

Второй период, который характерен этой выборностью властей, свободой и высоконравственной жизнью общества, Саллюстий описывает более подробно, ибо это лучшая пора «золотой век» римской истории. У всех граждан наблюдается необычайный подъем чувства собственного достоинства[2], стремление к славе овладевает всем обществом, люди заботятся не о накоплении денег, но о накоплении геройских подвигов и доблестных деяний, ибо только они и считались тогда истинным богатством[3]. В обществе и в мирное и в военное время культивируются добрые нравы, царит согласие, прирожденная порядочность заменяет писаные законы[4]. Неустрашимость на войне и строгая неподкупная справедливость в мирное время — вот какими двумя средствами охраняют римляне свое государство. Этот лучший период римской истории, период «золотого века», продолжается вплоть до разрушения Карфагена[5].

Третий период римской истории — время смут и раздоров, начало упадка государства. Прежде всего в обществе развивается стремление к власти, затем страсть к деньгам[6]. Честолюбие и корыстолюбие — вот те гибельные страсти, которые явились источником и первопричиной всех зол в Римском государстве[7]. Снова верховная власть вырождается из самой справедливой в самую несправедливую — тиранию[8]. Первым человеком, который олицетворил собою эту тираническую власть, был Сулла[9]. Захват власти Суллой приводит к дальнейшему разложению общества: армия развращается, изнеживается, привыкает к роскоши[10], начинаются грабежи и разбои[11], молодежь стремится лишь к роскоши, к богатству, забывает всякий стыд и скромность[12], бросается в разврат и излишества[13].

---

[1] Sall., Cat., 6, 6—7.
[2] Там же, 7, 1.
[3] Там же, 7, 4—6.
[4] Там же, 9, 1.
[5] Там же, 10, 1.
[6] Там же, 10, 3; 11, 1.
[7] Там же, 10, 3.
[8] Там же, 10, 6.
[9] Там же, 11, 4.
[10] Там же, 11, 5—7.
[11] Там же, 11, 4.
[12] Там же, 12, 1—2.
[13] Там же, 13, 2—3.

Происходит, наконец, полное разложение нравов граждан, полное вырождение общества. Олицетворением этого окончательного разложения, олицетворением тирании являются теперь Катилина и его достойные приспешники; Катилина, по словам Саллюстия, как бы «имел вокруг себя в качестве телохранителей полчища пороков и преступлений»[1]. Заговор Катилины — вполне закономерное следствие, логический продукт вышеизложенных причин[2]. Этим заканчивается описание третьего и последнего периода римской истории, периода, который приводит римское общество к полному разложению, нравственность граждан—к окончательному упадку, государственные формы — к вырождению в тиранию.

Такова в общих чертах концепция римской истории в историческом экскурсе «Заговора Катилины».

Может быть, небезинтересно отметить зависимость данного экскурса от греческих историко-философских построений и, в частности, от Платона.

Можно предполагать, что периодизация (трехчленное деление) римской истории, данная в историческом экскурсе «Заговора Катилины», заимствована в общих чертах у Платона. Как известно, Платон, излагая в «Законах» историю развития государственных форм, устанавливает некие эпохи или ступени общественного и культурного развития человечества. Платонова смена государственных форм и легла, повидимому, в основу саллюстиевой периодизации римской истории.

Первая эпоха, во время которой господствует государственная или, вернее, общественная форма, называемая Платоном «династией» (δυναστεία), характеризуется первобытным строем жизни, чистотой нравов, отсутствием развитого государственного аппарата и писаных законов. Власть в этот период осуществляется царями[3]. Нетрудно убедиться, что древнейший период римской истории в изображении Саллюстия в основном соответствует этой картине «патриархального быта» в «Законах» Платона и наиболее характерные черты платоновой «династии» (чистота нравов, отсутствие государственного аппарата и законов, царская власть) заимствованы Саллюстием для своей картины архаического периода римской истории.

Вторая эпоха у Платона начинается с избрания нескольких лиц, которые из существующих законов отбирают лучшие и устанавливают новый государственный строй — аристократию (ἀριστοκρατία) или «нечто вроде царской власти» (βασιλεία)[4].

---

[1] Sall., Cat., 14, 1: «omnium flagitiorum atque facinorum circum se tamquam stipatorum catervas habebat».
[2] Там же, 14, 2—7.
[3] Plato, Leg., III, 677e—680e.
[4] Там же, 680e—681d.

Между тем второй период римской истории, выступающий в изложении Саллюстия как период блестящего расцвета, «золотого века», как раз и характерен тем, что для уничтожения тиранических тенденций законом была установлена выборная и ежегодно сменяющаяся власть. Результатом этого мудрого государственного устройства явилось то процветание общества, о котором столь подробно распространяется Саллюстий. Таким образом, наиболее характерные черты второй эпохи Платона также перенесены Саллюстием в описание «золотого века» римской истории.

Наконец, свойственная третьей эпохе государственная форма, которую Платон никак не называет (демократия?), характеризуется, с одной стороны, ростом культуры и могущества государства, но, с другой — это период смут и раздоров, начало упадка, разложения государственных форм[1]. Нетрудно убедиться, что последний период римской истории в интерпретации Саллюстия сконструирован на основе главнейших характерных черт третьей эпохи Платона и зиждется на учении Платона о вырождении демократических форм в тиранию. Таким образом, трехчленная периодизация римской истории, примененная в историческом экскурсе «Заговора Катилины», имеет своим источником учение Платона об эпохах общественного и культурного развития человечества. Что касается картины морального разложения римского общества, разложения, наступающего в «третий период» римской истории, то схема Саллюстия, по которой это разложение обусловлено развитием сначала честолюбия (ambitio), а затем корыстолюбия и роскоши (avaritia и luxuria)[2], воспроизводит этапы постепенного ухудшения «совершенного государства» Платона, как они даны в VIII книге «Политии». У Платона первым этапом дегенерации оказывается тимократия со свойственной ей φιλοτιμία, затем олигархия, для которой характерны φιλοχρηματισταί, а потом демократия, в которой рождаются ἀναλωτικαὶ ἐπιθυμίαι, последняя же ступень вырождения — появление τυραννικὸς ἀνήρ, образ которого, как показал еще Эгерманн[3], использован Саллюстием для характеристики Катилины.

Таким образом, влияние Платона на концепцию римской истории, изложенную в экскурсе «Заговора Катилины», бесспорно. Однако это было чисто литературное влияние[4], и в

---

[1] Plato, Leg., III, 681e—682e; 701a—702a.

[2] Sall., Cat., II, 1—6.

[3] Egermann, ук. соч., стр. 48.

[4] Что касается общей литературной манеры, в которой написан экскурс «Заговора Катилины», то на ней бесспорно сказалось влияние исторического экскурса «Менексена» (см. Egermann, ук. соч., 41 слл.).

заимствованные в качестве некоего стилистического образца формы Саллюстий вкладывал совершенно самостоятельное и своеобразное содержание[1].

Теперь следует сравнить рассматриваемый экскурс с историческим экскурсом из раннего «Письма к Цезарю»[2]. Они имеют много внешних черт сходства. В обоих экскурсах Саллюстий дает обзор исторического прошлого Римского государства, изображает картину современного ему упадка общества и анализирует причины этого упадка. Исторический экскурс «Заговора Катилины», несомненно, разработан более тщательно. То, что в раннем письме дается намеком или одной фразой, то в «Заговоре Катилины» разрастается до целого описания. Такова, например, тема «золотого века», едва намеченная в раннем письме и подробно развитая в экскурсе «Заговора Катилины».

Однако этим и исчерпывается сходство обоих исторических экскурсов. По своему содержанию, по основным идеям, заложенным в них, они глубоко различны. Бросается в глаза крайняя абстрактность и аполитичность изложения римской истории в «Заговоре Катилины». Если в историческом экскурсе раннего письма имелись указания на борьбу сословий, если там упоминались конкретные факты этой борьбы, например, сецессия плебеев, то экскурс «Заговора Катилины» дает крайне отвлеченное, схематичное изображение истории Римского государства. За исключением Суллы, не упоминается ни одной исторической личности, сословная борьба полностью исчезла, вся история разложения и упадка римского общества представлена как следствие борьбы абстрактных категорий, как победа честолюбия (ambitio) и корыстолюбия (avaritia) над древнеримской доблестью (virtus). Таким образом, если можно говорить о формальном или конструктивном сходстве экскурсов из раннего письма и «Заговора Катилины», то по своему «идейному содержанию» они отнюдь не совпадают. Наоборот, в смысле идейного содержания исторический экскурс «Заговора Катилины» является развитием того круга идей, той новой системы, первоначальный набросок которой Саллюстий дает в позднем «Письме к Цезарю»[3].

Система взглядов Саллюстия, изложенная в позднем письме, может быть определена как набросок учения об упадке нравов. Это учение получает свое наиболее полное выражение и развитие в экскурсе «Заговора Катилины». Во-первых, Сал-

[1] О теории «золотого века», развиваемой в диалоге Платона «Политик», см. В. П. Волгин, Очерки по истории социализма, 1935, стр. 25.

[2] Sall., Epp., II, 5.

[3] Там же, I, 7.

люстий здесь подробно развивает тему «золотого века», которая раньше была едва лишь намечена[1]. Развитие этой темы обусловлено новыми воззрениями Саллюстия на разложение римского общества. Поскольку разложение общества ныне трактуется Саллюстием как состояние упадка нравов, то естественно возникает потребность в противопоставлении современной автору эпохе какого-то периода римской истории, когда люди не были еще развращены гибельными пороками и страстями, когда и в мирное время и на войне культивировались добрые нравы[2], когда существовало величайшее согласие, а корыстолюбие встречалось лишь в самой ничтожной степени[3].

Нужно остановиться несколько подробнее на картине разложения общества и на анализе причин разложения в историческом экскурсе «Заговора Катилины».

Начало разложения римского общества приурочивается Саллюстием к разрушению Карфагена: «но когда... Карфаген, соперник римской власти, был разрушен до основания, были открыты пути во все моря и земли, [тогда] судьба начала изливать свой гнев и всё смешала»[4]. Основными причинами разложения являются две страсти, два порока, которые именно в это время развиваются в римском обществе: жажда власти — ambitio и страсть к деньгам — avaritia. Развитие первого порока привело к тому, что люди превратились в лжецов: имея на уме одно, на словах высказывают другое, расценивают дружеские или неприязненные отношения не по существу, а исходя из расчета, заботятся о привлекательности внешнего вида, а не внутреннего содержания[5]. Второй, еще более гибельный порок в корне подорвал верность, правдивость и прочие добрые навыки. Вместо этого выдвинуты на первый план заносчивость и жестокость, пренебрежение к богам и уверенность в том, что все на свете продажно[6]. Саллюстий посвящает несколько строк сравнению и описанию этих двух пороков: властолюбия и корыстолюбия, считая, что властолюбие (честолюбие) все же стоит ближе к добродетели, чем второй порок, т. е. чем корыстолюбие: «tamen vitium propius virtutem erat»[7].

---

[1] Весьма ценные соображения о возникновении и источниках «общественной легенды» и теории «золотого века» см. В. П. Волгин, ук. соч., стр. 21—24.

[2] Sall., Cat., 9, 1.

[3] Там же.

[4] Там же, 10, 1: «sed ubi... Carthago aemula imperii Romani, ab stirpe interiit, cuncta maria terraeque patebant; saevire fortuna ac miscere omnia coepit».

[5] Там же, 10, 5.

[6] Там же, 10, 4.

[7] Там же, 11, 1.

Окончательное падение нравов в римском обществе связывается Саллюстием с диктатурой Суллы. После того как Сулла с оружием в руках вторично овладел государством, все предались грабежам и разбоям. Победители (т. е. сулланцы), утратив всякое самообладание и чувство меры, совершали по отношению к согражданам отвратительные преступления и насилия. Даже римская армия, которая славилась когда-то закаленностью духа воинов, развратилась и, забыв обычаи предков, предалась роскоши и разврату [1].

И вот римское общество окончательно погрязло в пороках и преступлениях. Уважается лишь богатство, добродетель попрана, бедность считается позором, честность — как бы неблагонамеренностью [2].

Особенно неустойчивой оказалась молодежь, которая под влиянием алчности и роскоши пустилась, с одной стороны, на грабежи, с другой—на безумные траты, забыла стыд и скромность и не желает подчиняться ни людским, ни божеским законам[3].

Если сравнить современные дома и виллы с храмами, построенные предками в честь богов, то нетрудно убедиться, что предки старались украшать свои святилища набожностью, а свои жилища—славой. Потомки же этих благородных людей дошли до чудовищных извращений, самое богатство для них — предмет дикой забавы, ибо чем иначе объяснить, что некоторые частные лица из прихоти срывают горы и застраивают постройками моря [4].

Нет ничего удивительного в том, что в подобном обществе пышно расцвели разврат, половые извращения, чревоугодие и прочие пороки. Подобная жизнь, подобная обстановка сама толкает людей, в особенности молодежь, на всякие преступления и беззакония [5].

Такова картина упадка Римского государства и анализ причин разложения в историческом экскурсе «Заговора Катилины». Мы снова можем убедиться в том, что эта картина есть не что иное, как более полное воспроизведение наброска разложения общества из позднего письма. Кроме того, следует еще раз подчеркнуть различие между этим отрывком и экскурсом раннего письма. Там картина упадка отражала, прежде всего, два основных момента: слабость сената и развращенность народа, что и обусловливало тогда для Саллюстия разложение общества. Но в историческом экскурсе «Заговора Катилины» нет

[1] Sall., Cat., 11, 4—7.
[2] Там же, 12, 1.
[3] Там же, 12, 2.
[4] Там же, 12, 3—5; 13, 1—2.
[5] Там же, 13, 3.

упоминания ни о сенате, ни о народе. Все дело заключается в упадке нравственности, причем причиной подобного упадка выставляется борьба отвлеченных моральных категорий: победа ambitio и avaritia над древнеримской virtus. Снова картина разложения общества в «Заговоре Катилины» представляется крайней абстракцией, являясь в этом смысле как бы прямым продолжением тенденций позднего письма, тенденций «аполитичности».

На первый взгляд действительно теория упадка нравов Саллюстия ставит в центр внимания отвлеченные моральные принципы и критерии. В трактовке римской истории факты социальной и политической борьбы выхолащиваются и подменяются борьбой этих моральных категорий. Основной причиной разложения Римского государства провозглашается упадок нравов.

Таким образом, Саллюстий как будто отходит от конкретно-исторической и политически заостренной концепции Полибия, акцентируя и углубляя те элементы аполитичности, которые даны в схеме Посидония.

Буржуазные ученые, занимавшиеся исследованием этого вопроса, охотно примиряются с видимой аполитичностью теории Саллюстия. Насколько нам известно, в буржуазной науке нет ни одной сколько-нибудь серьезной попытки вскрыть истинный смысл и содержание тех моральных категорий, которыми Саллюстий оперирует. Наоборот, некоторые из буржуазных ученых с видимым удовлетворением отмечают, что подобные воззрения Саллюстия свидетельствуют о его якобы «надпартийных позициях»[1].

Однако можно доказать полную необоснованность и абсурдность подобных утверждений, искажающих истинный облик римского историка, который на самом деле был одним из самых ярких представителей вполне определенного партийного направления в римской историографии.

Прежде всего необходимо поставить вопрос, не являются ли «абстрактность» и «аполитизм» Саллюстия своего рода дымовой завесой, не есть ли это попытка завуалировать некоторые политические убеждения, а сама «абстрактная» теория упадка нравов — не есть ли всего-навсего только фразеология, за которой можно вскрыть весьма конкретные политические симпатии и антипатии. Не являются ли эта «надпартийность», этот «аполитизм» осторожностью опытного политика?

Повидимому, дело обстоит именно так. Картина упадка нравов в «Заговоре Катилины» изображает не разложение общества «вообще», не борьбу абстрактных категорий, как это

[1] W. Schur, ук. соч., стр. 23 слл.

может показаться на первый взгляд, а рисует разложение вполне определенной группы, определенной прослойки римского общества. Это — картина разложения римского нобилитета.

Дальнейшее знакомство с материалом может лишь подтвердить это предположение.

Действительно, как было показано выше, основной причиной, вызвавшей, по мнению Саллюстия, упадок нравов, в римском обществе было развитие ambitio, а затем avaritia. Но в какой же среде развились эти пороки? Отнюдь не прямо, а только намеками, косвенно дает возможность Саллюстий узнать его истинное отношение к этому вопросу.

Саллюстий указывает на то, что в результате развития упомянутых пороков власть в государстве вырождается из справедливой в самую жестокую и неприемлемую[1]. Но если это так, то упомянутые пороки характерны, как это и подчеркивает Саллюстий, в первую очередь для тех, кто стоит у власти. Между тем власть в Римском государстве незаконно захвачена нобилитетом. Об этом Саллюстий совершенно прямо говорил еще в раннем письме[2]; в «Заговоре Катилины» можно встретить не менее определенные высказывания по этому вопросу[3].

Господство клики нобилитета становится особенно явным после того, как Помпей отправился на войну с пиратами и Митридатом. В руках олигархии сосредоточились государственные должности, управление провинциями и все прочее[4].

Но если ambitio и avaritia свойственны именно власть имущим, то из вышесказанного следует, что эти пороки, вызвавшие столь глубокий упадок нравов, характеризуют римский нобилитет.

Не случайно Саллюстий в историческом экскурсе подчеркивал, что окончательный распад общества начинается со времени сулланской диктатуры[5], предавшей государство нобилитету. Также не случайно Саллюстий указывает, что именно действия Суллы побудили Катилину к его преступной попытке захватить власть, что Катилина рассчитывал на поддержку сулланских ветеранов[6].

Когда Саллюстий переходит к описанию тех безумных трат и роскоши, того преклонения перед богатством, которые пышно расцвели в Риме, он снова подразумевает насквозь безнравственную и продажную среду нобилитета. Это опять та же не-

[1] Sall., Cat., 10, 6.
[2] Sall., Epp., II, 3; 11.
[3] Sall., Cat., 38, 2—3.
[4] Там же, 39, 1—2.
[5] Там же, 11, 4.
[6] Там же, 5, 6; 16, 4.

многочисленная клика, которая благодаря своему богатству — а богатство их единственная доблесть и достоинство — захватила власть и первенство в государстве[1]. Говоря же о роскоши домов и вилл, о безумных предприятиях и тратах вроде срытия гор и застройки морей, Саллюстий, несомненно, намекал на определенных, всем известных лиц, представителей нобилитета, хотя бы, например, на Лукулла.

Итак, оказывается, что в историческом экскурсе Саллюстий, рисуя картину развращенности и разложения римского общества, подразумевал не общество «в целом», а в первую очередь и главным образом среду нобилитета. Но в этом нас убеждает не только материал исторического экскурса.

Самый факт заговора, самая личность Катилины есть для Саллюстия явление закономерное и неизбежное, есть следствие морального разложения той социальной среды, которая одна только и могла породить чудовище, подобное Катилине. Саллюстий сам подчеркивает, что Катилина был продуктом окружавшей его среды: «вдохновили его к тому же испорченные нравы общества, терзаемого двумя противоположными, но одинаково отвратительными пороками — роскошью и корыстолюбием»[2]. Между тем, как было установлено выше, общество, терзаемое подобными пороками — luxuria atque avaritia,— это среда нобилитета. Да и сам Саллюстий дает совершенно четкий ответ на вопрос о том, какой средой был порожден Катилина: «L. Catilina, nobili genere natus»[3].

Таким образом, Катилина — порождение развратной среды нобилитета, в нем как бы персонифицированы все пороки этого сословия. У него извращенный характер, который сводит на нет все его природные дарования[4], его смолоду прельщают междоусобные войны, грабежи и убийства[5], он коварен, непостоянен, лжив, неискренен, жаден до чужого, расточителен в своем, неумерен в страстях[6]. Почти в тех же самых выражениях перечисляются здесь Саллюстием те качества и пороки, которыми он наделил римское общество «в целом», т. е. римский нобилитет.

Но Катилина для Саллюстия — типичный представитель нобилитета не только по данным своего характера, но и по всем своим «устремлениям». Он обуян безмерно страстным желанием захватить государственную власть, он стремится к тирании,

---

[1] Sall. Cat., 12, 1.

[2] Там же, 5, 8: «incitabant, praeterea corrupti vicitatis mores, quos pessima ac diversa inter se mala, luxuria atque avaritia vexabant».

[3] Там же, 5, 1.

[4] Там же.

[5] Там же, 5, 2.

[6] Там же, 5, 4.

он не стесняется в выборе средств для достижения этой цели и наметил себе в качестве образца для подражания Суллу и его действия[1].

В связи с вышеизложенным небезинтересно отметить один момент, который, несмотря на свою явную нарочитость и искусственность, до сих пор почему-то не отмечен никем из исследователей Саллюстия. Дело в том, что тезис Саллюстия: Катилина — закономерный продукт развращенной среды нобилитета — подчеркнут самим Саллюстием «конструктивно». Действительно, после главы V, где дана характеристика Катилины, изложение прерывается и дается обширный исторический экскурс. Саллюстий сам объясняет это тем, что поскольку уж ему пришлось заговорить об общественных нравах, то необходимо вернуться назад и хотя бы вкратце рассказать о порядках, установленных предками, о том, как они управляли государством и как оно, постепенно изменяясь, превратилось из прекраснейшего в самое худшее и самое порочное[2].

Но дело не только в том, что исторический экскурс повествует о «прошлых порядках» и о том, как «государство из прекраснейшего превратилось в самое худшее и порочное», но в том, что этот рассказ имеет определенную целеустановку. Он «увязан» с личностью Катилины, он должен показать развращенность и разложение именно той социальной среды, продуктом которой явился Катилина, должен исторически обосновать развитие тех пороков римского нобилитета, персонификацией которых опять-таки является Катилина. Глава V — характеристика Катилины, главы VI—VIII — характеристика той социальной среды, которая породила Катилину. Он плоть от плоти, кровь от крови этой среды; в нем, как в микрокосме, сконцентрированы все характерные черты, все пороки людей этого сословия, в нем есть все, что характерно для них, и ничего, чего бы у них не было. Это вполне естественно — поскольку Саллюстий рассматривает общество как собирательное выражение одного человека, то и римский нобилитет есть для него собирательное выражение Катилины, как сам Катилина — персонификация наиболее характерных черт и свойств нобилитета. Вот почему исторический экскурс вставлен именно после характеристики Катилины. Саллюстию нужно было показать, как в результате разложения нобилитета исторически и неизбежно сложился такой социальный тип, как Катилина.

Нельзя не отметить и того обстоятельства, что Саллюстий всячески старается подчеркнуть знатность происхождения заговорщиков, т. е. непосредственного окружения Катилины,

---

[1] Sall., Cat., 5, 6.
[2] Там же, 5, 9.

его «среды»: «в таком и столь испорченном государстве Катилина, что было всего легче сделать, имел вокруг себя в качестве свиты толпы пороков и преступлений»[1]. В изображении Саллюстия нобилитет является основной руководящей силой в заговоре, хотя Саллюстий в числе участников заговора Катилины упоминает не только представителей нобилитета в узком смысле этого слова, но и других знатных лиц. Саллюстий подробно перечисляет наиболее видных деятелей заговора: Публия Лентула Суру, Публия Автрония, Луция Кассия Лонгина, Кая Цетега, Публия и Сервия Суллу[2], Луция Варгунтея, Квинта Анния, Марка Порция Леку, Луция Бестию, Квинта Курия — и указывает, что все они были «senatorii ordinis»[3], затем Марка Фульвия Нобилиора, Луция Статилия, Публия Габиния Капитона и Кая Корнелия, которые были «ex equestri ordine»[4] и, наконец, упоминает о многих (multi) из колоний и муниципиев, не преминув указать, что они были «domi nobiles»[5]. Но, кроме них, в заговоре было замешано значительное количество более тайных участников, тоже из среды нобилитета[6], а что касается молодежи, то «в остальном большая часть юношества, но особенно [из среды] нобилей, благоприятствовала начинаниям Катилины»[7]. Другие сторонники Катилины снабжаются также характеристиками, где подчеркивается их принадлежность к нобилитету. Так, например, про участника первого заговора Гнея Писона говорится: «знатный юноша необыкновенной дерзости, энергичный»[8]. Упомянутый уже Квинт Курий характеризуется как человек «natus haud obscuro loco»[9] и указывается на его связь с Фульвией, «muliere nobili»[10]. И, наконец, в речи, вложенной в уста Катону, заговор прямо характеризуется как дело рук нобилитета: «знатнейшие граждане составили заговор с целью уничтожить родину в огне»[11]. Таким образом, едва ли возможно сомневаться в том, что Саллюстий хочет представить заговор Катилины как

[1] S a l l., Cat., 14, 1: «in tanta tamque corrupta civitate Catilina, id quod factu facillimum erat, omnium flagitiorum atque facinorum circum se, tamquam stipatorum, catervas habebat».

[2] Сыновья Сервия Корнелия Суллы, т. е. племянники Луция Корнелия Суллы.

[3] S a l l., Cat., 17, 3—4.

[4] Там же, 17, 4.

[5] Там же, 17, 4—5.

[6] Там же, 17, 5.

[7] Там же, 17, 6: «ceterum inventus pleraque, sed maxume nobilium Catilinae inceptis favebat».

[8] Там же, 18, 4: «adolescens nobilis, summae audaciae, egens factiosus».

[9] Там же, 23, 1.

[10] Там же, 23, 3.

[11] Там же, 52, 24: «coniuravere nobilissumi cives patriam incendere».

преступную попытку со стороны представителей нобилитета узурпировать государственную власть и установить открытую тиранию.

В заключение доказательств предлагаемого понимания картины упадка нравов римского общества как картины разложения нобилитета хотелось бы указать на одно существенное обстоятельство. Оно заключается в том, что в «Заговоре Катилины» характеристика разложения «народа» выделена в самостоятельное отступление в главах XXXVII—XXXVIII. Поскольку это так, то очевидно, что в историческом экскурсе, т. е. в главах X—XIII, подразумевается сенат и в первую очередь нобилитет, как его наиболее типичная и наиболее активная часть.

Теперь возможно сделать твердый вывод. Изображая картину упадка нравов в «Заговоре Катилины» и анализируя причины этого упадка, Саллюстий пользовался «абстрактной» фразеологией лишь в качестве дымовой завесы для прикрытия своих нападок на нобилитет, развивая на самом деле растущее в нем убеждение, что к своей гибели римское общество было приведено в результате развращенности и безнравственности нобилитета. Нобилитет для Саллюстия является главной причиной разложения, нобилитет — конкретный носитель зла, язва, разъедающая римское общество. Вся история Рима излагается как история падения нравов (если сохранить «дымовую завесу») или, что по существу одно и то же, как история «злокозненности» нобилитета (если «дымовую завесу» отбросить). Труд Саллюстия «Заговор Катилины» есть попытка построить серьезный обвинительный акт против нобилитета, к тому же исторически «обоснованный», ибо исторический экскурс и должен доказать глубокую закоренелость, «извечность» злокозненности нобилитета. Так Саллюстий пользуется отвлеченной, абстрактной, на первый взгляд, теорией упадка нравов в качестве орудия острой партийной борьбы.

Дальнейшее развитие политических воззрений римского историка может только подтвердить такое изображение позиций Саллюстия в отношении нобилитета. Если, как было только что установлено, «Заговор Катилины» можно назвать скрытой инвективой против нобилитета, то более поздние произведения Саллюстия — «Югуртинская война» и «Истории» — представляют собою уже явное, ничем не прикрытое нападение на политического врага.

В самом начале «Югуртинской войны», говоря о мотивах, побудивших его заняться историей этой войны, Саллюстий совершенно недвусмысленно и открыто заявляет: «я буду описывать войну, которую римский народ вел с Югуртой, царем нумидийцев; во-первых, потому, что она была велика и

жестока, и победа клонилась то на ту, то на другую сторону; затем потому, что тогда было впервые оказано сопротивление высокомерию нобилитета»[1]. Таким образом, оказывается, что даже цель написания сочинения о Югуртинской войне заключалась в показе истоков борьбы против нобилитета и в обличении злокозненности последнего.

Обращение к историческому экскурсу «Югуртинской войны» может лишь еще раз убедить в том, что основным, конкретным носителем зла для Саллюстия является нобилитет. В этом экскурсе[2] римская история излагается как история борьбы между плебсом и нобилитетом, причем плебеи борются за свои «права», а нобилитет творит беззакония. Недаром, говоря об убийстве Гракхов и о «беззаконном торжестве» нобилитета, Саллюстий делает следующий вывод: «такие вещи очень часто губили великие государства»[3]. Во фрагментах экскурса «Историй» Саллюстий еще более четко ставит вопрос о прирожденности зла человеческой природе, подразумевая, конечно, «природу» римского нобилитета: «у нас первые разногласия были результатом порочности человеческой природы»[4]. Затем он показывает, в чем заключались эти dissensiones и кто был их виной. Оказывается, что эти dissensiones есть не что иное, как извечная борьба сословий в римском обществе, борьба плебеев против патрициев, борьба римского народа против нобилитета за узурпированную им власть и права.

Ценность фрагментов экскурса «Историй» заключается, между прочим, в том, что они совершенно ясно дают понять, на чьей стороне симпатии Саллюстия и чье дело он считает правым. Когда Саллюстий говорит, что «затем отцы властвовали над плебсом как над рабами»[5], то ясно, что он всецело на стороне плебеев; когда Саллюстий рассказывает, что «плебс, подавленный этими жестокостями и более всего ростовщичеством, так как при постоянных войнах он одновременно терпел и от налогов и от военной службы, будучи вооружен, занял священную гору и Авентин и выговорил тогда себе трибунов плебса и другие права»[6], то и здесь явно проглядывает

[1] Sall., Iug., 5, 1—2: «bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha, rege Numidarum, gessit: primum quia magnum et atrox, variaque victoria fuit; dein quia tum primum superbiae nobilitatis obviam itum est».

[2] Подробный разбор этого экскурса дан ниже, см. стр. 133—135.

[3] Sall., Iug., 42, 4: «quae res plerumque magnas civitates pessum dedit».

[4] Sall., Hist., I, 7: «nobis primae dissensiones vitio humani ingenii evenere».

[5] Там же, I, 11: «dein servili imperio patres plebem exercere».

[6] Там же, I, 11: «quibus saevitiis et maxume foenere opressa plebes, cum assiduis bellis tributum et militiam simul toleraret, armata montem sacrum atque Aventinum insedit tumque tribunos plebis et alia

сочувствие к плебсу, который борется за «права», а не творит беззакония, как это делает аристократия.

Для того, чтобы подвести итог вопросу об отношении Саллюстия к нобилитету, следует остановиться на анализе речей Меммия и Мария из «Югуртинской войны». В этих речах Саллюстием мобилизован весь арсенал обвинений против нобилитета.

Схема речи Меммия приблизительно такова. Он начинает с обращения к народу, упрекая его в бездеятельности, политической индифферентности, в рабском подчинении нобилитету[1]. Затем Меммий дает обзор преступных деяний нобилитета в отношении народа, говорит об убийстве Кая Гракха и Марка Фульвия, о разграблении народных денег, о господстве кучки честолюбцев и корыстолюбцев[2].

После этого Меммий переходит к изображению безотрадной и мрачной картины современного ему разложения общества, т. е. непосредственного и неизбежного следствия вышеизложенных преступных действий нобилитета. Подкупные, развратные представители нобилитета, находящиеся у кормила правления, продают ныне с торгов законы и величие Римского государства заклятым врагам Рима. Вся власть сосредоточена в руках этих изменников, запятнанных народной кровью, в руках убийц и гонителей народа. Их правление — преступный заговор (factio) против римского народа, и нобилитет есть не что иное, как кучка преступных заговорщиков (factiosi)[3]. Меммий проводит яркое сопоставление бесправия плебеев с преступным и беззаконным господством нобилитета и предлагает выступить против него, избрав в качестве пробного камня дело Югурты[4].

Заключительным аккордом этой речи служит гневное обличение узурпаторских действий нобилитета, призыв к народу стряхнуть с себя политическую индифферентность и, наконец,

---

iura sibi paravit». Отсюда видно, что Саллюстий смешивает сецессию 494 г. (на Священную гору; по Диодору — 471) и 449 г. (на Авентин), причем соединяет их не только по месту удаления плебеев, но и по результатам; результатом сецессии 494 г. были только народные трибуны, результатом сецессии 449 г., если она действительно имела место, различные alia iura, так называемые законы Валерия и Горация, согласно которым один консул должен был избираться из плебеев — постановление, которое не соблюдалось до 366 г., когда для этого потребовались законы Лициния и Секстия (впрочем, вскоре после 449 г. вместо консулов стали избираться военные трибуны из обеих общин), — решения плебса по трибам должны были иметь силу закона и т. д. О сецессии 287 г. Саллюстий ничего не говорит. В свете всего этого становится понятным, почему он говорит об одной сецессии.

[1] Sall., Iug., 31, 1—5; ср. с речью Лициния Макра в «Историях».

[2] Там же, 31, 6—9.

[3] Там же, 31, 10—16.

[4] Там же, 31, 18—19.

Указание на то, что борьбу следует вести до конца и непримиримо, ибо всякий компромисс приведет к полному краху дела [1].

Изложение речи Меммия намеренно дано здесь несколько схематично. Дело в том, что самая конструкция, самое построение речи представляют значительный интерес. Речь, как нетрудно убедиться, представляет собой дублет, корректив исторического экскурса из «Югуртинской войны», отличающийся еще более четкой и непримиримой партийной установкой, чем сам экскурс [2].

Речь Мария также является блестящей инвективой против нобилитета. Она построена в ином плане и дополняет собою речь Меммия. Если речь Меммия есть некое «историческое доказательство» злокозненности нобилетета, некий исторический обзор его преступных деяний, то речь Мария является теоретическим и принципиальным обоснованием этой злокозненности. В ней сделана попытка развенчать и окончательно дискредитировать самый принцип, на котором держится понятие nobilitas.

Марий начинает свою речь с того, что высокое звание консула, полученное им по милости народа, налагает на него ряд ответственных обязанностей. Он указывает на особую трудность своего положения: другие могут рассчитывать на древность происхождения, выдающиеся подвиги предков, на средства друзей и родственников, на множество клиентов. Он же может надеяться только на самого себя, на свою собственную доблесть и правоту своих действий [3]. Трудность положения Мария усугубляется еще тем, что нобилитет, конечно, только и ждет случая, чтобы использовать какой-нибудь промах или недостаток Мария и погубить его, но он, привыкнув с детства к трудам и опасностям, останется тверд, непоколебим и не свернет с пути добродетели [4].

После этого вступления Марий переходит к главной части своей речи, к построению «принципиального» обвинения против нобилитета. Обязанность вести войну с Югуртой, говорит Марий, возложена на него к величайшему неудовольствию нобилей. Но разве было бы лучше избрать для выполнения этой сложной задачи человека древнего рода, имеющего длинный ряд фамильных изображений, но вместе с тем совершенно неспособного к ведению войны? Такие люди, все равно, вынуждены перепоручать фактическое ведение военных действий

---

[1] Sall., Iug., 31, 20—22.

[2] Это наблюдение, кстати, свидетельствует о том, что в ряде случаев в речах своих героев Саллюстий по существу говорит «от себя». См. ниже, стр. 143—146; 152—153.

[3] Sall., Iug., 85, 4—5.

[4] Там же, 85, 5—9.

другим лицам или же они бросаются изучать труды греческих теоретиков военного искусства, наивно надеясь, что это заменит недостающий им практический опыт[1]. Марий просит сравнить его, человека незнатного происхождения, с подобными людьми. То, о чем эти люди знают лишь из книг, он испытал на практике, на поле сражения. Пусть они презирают его за незнатность происхождения, он может отплатить им еще бóльшим презрением за их неспособность и ничтожность, тем более, что в первом виновата судьба, а во втором они сами[2]. Свое рассуждение Марий заканчивает следующей замечательной фразой, в которой кратко формулируется основная, ведущая мысль всей речи: «хотя я [и] полагаю, что природа едина и общa у всех, я все же думаю, что достойнейший является и благороднейшим»[3].

Далее Марий развивает эту ведущую мысль. Он доказывает, что знатность (nobilitas) завоевывается славными деяниями, и представители так называемых знатных родов всецело обязаны этой своей знатностью славным подвигам предков, которые тоже когда-то были безвестными и незнатными. Поэтому представители нобилитета совершенно напрасно надеются беспрестанным упоминанием о подвигах предков увеличить свой собственный авторитет, наоборот, славная жизнь и деяния их предков еще более оттеняют позорное бездействие ничтожного потомства[4].

Затем Марий говорит, что «знатность» его рода начинается с него самого и поэтому он не может представить фамильных портретов, но зато может продемонстрировать полученные им самим военные трофеи, почетные награды и раны, нанесенные ему спереди. Речь его, конечно, недостаточно изысканна, он не изучал правил греческого красноречия, однако, по его мнению, от подобного изучения люди не становятся ни добродетельнее, ни лучше. Взамен этого он в совершенстве изучил науку, которая более полезна для отечества, науку войны, науку побед. На войско он может действовать своим личным примером, он будет делить с ним все невзгоды и трудности похода. Так следует поступать военачальнику, так именно поступали предки, и этим они прославили себя и возвеличили Римское государство[5].

Наконец, Марий обрушивается на образ жизни представителей нобилитета и противопоставляет нравы и обычаи, царя-

---

[1] Sall., Iug., 85, 14—15.
[2] Там же.
[3] Там же, 85, 15—16: «quamquam ego naturam unam et communem omnium existumo, sed fortissumum quemque generosissumum».
[4] Там же, 85, 18—24.
[5] Там же, 85, 25; 29—36.

щие в развращенной среде нобилитета, своему собственному образу жизни. Эти люди унаследовали от своих предков знатность и богатства, унаследовали все, кроме добродетели. Они проводят свою жизнь среди пиров, роскоши и разврата. Но пусть бы так было и впредь! Марий говорит, что он не променяет военные труды, пыль и пот на эти роскошные пиршества, ибо истинная доблесть ищет славы в оружии, а не в роскошном образе жизни. Но все дело в том, что эти презренные хотят отнять у людей достойных то, что заслужено трудами и доблестью. Этого уже нельзя терпеть, ибо это обращается во вред самому государству [1].

Заключение речи Мария посвящено перспективам дальнейших военных действий против Югурты, которые рисуются Марием в весьма оптимистических тонах. После того как командование передано ему, Марию, война, несомненно, должна окончиться победой, ибо у Югурты отнимается его лучшая защита: корыстолюбие, надменность и неопытность римских военачальников. Следовательно, победа близка, а вместе с ней — добыча и слава [2].

Таково содержание речи Мария. Эта речь — не только злейшая инвектива против нобилитета, где развенчивается все то, что составляет гордость данного сословия, все то, на чем держится самое понятие «нобилитет», но одновременно это панегирик жизнеспособности, энергии «новых людей», выходцев из низших слоев, к которым принадлежит и сам Марий. Речь Мария с ее принципиальной и даже философской окраской, с ее необычайной политической направленностью как бы подводит окончательный итог развития взглядов Саллюстия на нобилитет.

Отношение Саллюстия к нобилитету, сформулированное в «Заговоре Катилины» в форме абстрактной теории упадка нравов, теперь в более поздних произведениях римского историка проступает уже вполне обнаженно, в совершенно конкретных и политически заостренных формулировках и лозунгах. Эта примечательная эволюция отношения Саллюстия к нобилитету, несомненно, тесно связана с дальнейшим развитием политических воззрений римского историка, которое может быть вскрыто на основе более детального анализа его поздних произведений — «Югуртинской войны» и «Историй».

---

[1] Там же, 85, 37—43.
[2] Там же, 85, 44—50.

## Глава III

# РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ САЛЛЮСТИЯ

Политические воззрения римского историка издавна привлекали к себе внимание различных ученых. В буржуазной науке, начиная с конца XIX в. и вплоть до настоящего времени, политические взгляды Саллюстия служили предметом и темой многочисленных исследований. Однако всем этим исследованиям свойствен один общий и весьма характерный недостаток. Политические воззрения Саллюстия рассматриваются в отрыве от их классовой основы, статично, вне процесса их развития. Результатом подобного метода является наклеивание на римского историка ярлыка либо «цезарианца» (Моммзен, Эдуард Шварц), либо «антицезарианца» (Скард), приписывание Саллюстию устойчивых и неизменных воззрений на всем протяжении его общественной и литературной деятельности.

Конечно, подобный метод приводит к односторонним и попросту неправильным выводам. Ни в коем случае не следует рассматривать сумму политических воззрений и симпатий Саллюстия как нечто однажды данное и не подверженное никаким изменениям. Наоборот, должно рассматривать именно процесс развития его воззрений. Саллюстий, в смысле определенных политических взглядов и симпатий, в период «Писем к Цезарю» совсем не то, что Саллюстий периода «Югуртинской войны» и «Историй». Подобное изменение, конечно, есть результат длительного и противоречивого процесса, обусловленного в первую очередь конкретным ходом классовой борьбы в Риме в период гражданских войн. Конкретные события и факты, деятельность отдельных лиц (Цезарь, Октавиан) — все это оказывало самое непосредственное влияние на политические симпатии, взгляды и чаяния Саллюстия; он вынужден был неоднократно пересматривать свои позиции, во многом разочаровываться, отказываться от прежних выводов и приходить к новым.

В данной работе нет возможности изучить процесс развития политических воззрений Саллюстия во всей его сложности и многообразии. Но даже те отдельные наблюдения, которые были нами сделаны в этом плане по отношению к «раннему» Саллюстию, т. е. Саллюстию периода «Писем к Цезарю» и «Заговора Катилины», могут дать возможность придти к определенным выводам об изменении политических воззрений римского историка в последний период его литературной деятельности.

Наиболее примечательным выводом, который мы и постараемся ниже обосновать, является вывод о приближении Саллюстия к «партийной программе» и лозунгам римской «демократии», в связи с чем стоит усиление «духа партийности» в политических воззрениях Саллюстия. Это — несомненно новый этап развития его воззрений, совпадающий с тем периодом литературной деятельности, когда были написаны «Югуртинская война» и «Истории». Эти поздние произведения Саллюстия сравнительно мало изучены, и литература, посвященная им, гораздо менее обширна, чем литература, накопившаяся вокруг «Писем к Цезарю» или «Заговора Катилины». Все же, однако, следует остановиться на некоторых наиболее интересных точках зрения.

В написанной в начале текущего столетия работе К. Лаукнера[1], посвященной «Югуртинской войне», развивается взгляд на Саллюстия как на крайне «тенденциозного», партийного писателя. Все основные приемы историко-литературной манеры Саллюстия поставлены на службу этой «тенденциозности». Характеристики действующих лиц — сугубо тенденциозны, речи героев являются, по существу, речами самого Саллюстия. В «Югуртинской войне» ощущается крайне отрицательное отношение историка к нобилитету, и истинным героем Саллюстия в этот период оказывается вождь демократии — Марий, которому Саллюстий придает черты «идеального консула».

К изложенным взглядам присоединяется и Фунайоли[2]. Однако, Дрекслер[3] находит, что «Югуртинская война» написана отнюдь не из-за «ненависти к нобилитету». Саллюстий, по его мнению, одинаково отрицательно относится и к нобилитету и к плебсу, для Саллюстия важны лишь интересы государства «в целом». Марий вовсе не противопоставлен Метеллу и не является для Саллюстия идеалом государственного деятеля. В. Шур[4] считает, что в «Югуртинской войне» и в «Историях» впервые проявляется в полной силе «монистический пессимизм» Саллюстия. Он вытекает из того, что Саллюстий

---

[1] C. Laucner, Die künstlerischen und politischen Ziele der Monographie Sallusts über Jugurthinischen Krieg, Leipz., 1911.
[2] Funaioli, Sallustius, 10, RE, I A, 2, 1920, стб. 1913—1955.
[3] H. Drexler, Sallust, N. Y.—W., 1928.
[4] W. Schur, ук. соч.

к этому времени окончательно уверился в порочности людской натуры, во врожденности зла человеку, а потому и рассматривает процесс разложения Римского государства как неизбежный, естественный процесс. Таковы оценки политических позиций Саллюстия, высказываемые в буржуазной науке.

Теперь можно перейти к изучению «Югуртинской войны» и «Историй». Оба эти произведения следует рассматривать совместно. Целесообразность совместного рассмотрения диктуется следующими соображениями: а) вследствие фрагментарности «Историй» нет возможности составить полное и самостоятельное представление о политической «системе» Саллюстия в том виде, в каком она была развита в «Историях», а потому материал, который могут дать «Истории», способен служить лишь дополнением к основным данным, почерпнутым из «Югуртинской войны»; б) политические взгляды Саллюстия, с которыми он выступает в «Историях», являются логическим продолжением и развитием взглядов, изложенных в «Югуртинской войне». Таким образом, оба эти произведения Саллюстия в действительности тесно связаны между собой и оказываются новым этапом развития политической «системы» Саллюстия.

Наибольший интерес для изучения этого нового этапа представляет знакомство с историческим экскурсом из «Югуртинской войны»[1].

Исторический экскурс «Югуртинской войны» начинается с упоминания о некоем периоде, когда Римское государство наслаждалось миром и благополучием, когда благодаря правильным взаимоотношениям и правильному распределению функций государственного управления между сенатом и народом дела республики процветали. Это согласие между сенатом и народом существовало до разрушения Карфагена, когда римские граждане еще не враждовали друг с другом из-за почестей и власти[2]. Как раньше, в «Заговоре Катилины», так теперь в «Югуртинской войне» предельной чертой этого периода процветания является разрушение Карфагена. Но в «Югуртинской войне» разрушение Карфагена не только внешне связывается с окончанием «золотого века» республики; напротив, Саллюстий настойчиво подчеркивает причинную связь этих событий. Оказывается, что все пороки, все низменные страсти и наклонности, которые вырвались в римском обществе на волю после

---

[1] Sall., Iug., 41—42.

[2] Там же, 41, 2—3: «... nam ante Carthaginem deletam populus et senatus Romanus placide modesteque inter se rem publicam tractabant: neque gloriae neque dominationis certamen inter civis erat»; «... ибо до разрушения Карфагена народ и сенат римский спокойно и умеренно распределяли между собой управление государством, и между гражданами не было борьбы из-за славы и из-за господства».

разрушения Карфагена, все они существовали в потенции и до этого момента[1], но страх перед могущественным врагом, metus hostilis, обуздывал все эти низкие страсти и держал их в определенных границах[2]. Когда же эта постоянная, висевшая над головой угроза исчезла, то хлынули уже ничем не сдерживаемые пороки и страсти, начался упадок нравов, разложение общества, с тех пор непрерывно прогрессирующее: «но когда умы освободились от этого страха, то выплыло все то, что свойственно благоприятному течению дел, — необузданность и высокомерие»[3].

Как нетрудно убедиться, характеристика «золотого века» в историческом экскурсе «Югуртинской войны», во-первых, является несравненно более краткой, чем в «Заговоре Катилины», затем по сравнению с экскурсом «Заговора Катилины» здесь внесены новые моменты, как, например, установление каузальной связи между разрушением Карфагена и началом упадка нравов в римском обществе, рассуждение на тему о metus hostilis и т. п.[4]

Несравненно более подробно в историческом экскурсе «Югуртинской войны» Саллюстий останавливается на изображении картины упадка. Разложение римского общества рассматривается здесь как результат внутренних смут и борьбы двух партий: партии сената и народной партии. Разделение же общества на эти партии и связанные с ним смуты и междоусобицы, в свою очередь, трактуются как следствие слишком долговременного спокойствия и изобилия всех тех благ, которые столь ценятся людьми[5]. После того как исчез metus hostilis, те самые

---

[1] Здесь, возможно, опять идет речь о прирожденной и исторически «доказанной» еще в «Заговоре Катилины» злокозненности нобилитета. См. об этом ниже, стр. 137.

[2] Sall., Iug., 3: «... metus hostilis in bonis artibus civitatem retinebat»; «... страх врагов удерживал государство в добрых нравах».

[3] Там же, 41, 3—4: «sed ubi illa formido mentibus decessit; scilicet ea, quae secundae res amant, lascivia atque superbia, incessere».

[4] В историческом экскурсе «Заговора Катилины» в лучшем случае можно усмотреть лишь намек на каузальную связь разрушения Карфагена с упадком нравов в римском обществе: «sed ubi... Carthago, aemula imperii Romani, ab stirpe interiit, cuncta maria terraeque patebant; saevire fortuna ac miscere omnia coepit» (10, 1—2); «но когда... Карфаген, соперник римской власти, был разрушен до основания, были открыты пути во все моря и земли; [тогда] судьба начала изливать свой гнев и все смешала». Но этот намек развивается в звено «системы» лишь в историческом экскурсе «Югуртинской войны».

[5] Sall., Iug., 41, 1—2; «ceterum mos partium popularium et senati factionum, ac deinde omnium malarum artium, paucis ante annis Romae ortus, otio et abundantia earum rerum, quae prima mortales ducunt»; «разделение на партии популяров и сенатской знати и затем развитие дурных страстей возникли в Риме немногими годами раньше, как следствие досуга и изобилия всех тех вещей, которые считаются людьми самыми главными».

мир и спокойствие, которые в тяжелые минуты для государства были лишь желанной мечтой, теперь начали приносить ему вред; нобилитет свое достоинство, а народ свою свободу обратили во зло. Так образовались две враждебных партии, республика оказалась раздробленной, общественное благо попранным[1]. Начиная с этого момента, Саллюстий дальнейшую историю Римского государства излагает как историю войны между нобилитетом и плебсом. Саллюстий указывает на то, что сила нобилитета была сосредоточеннее: «...нобилитет был сильнее вследствие того, что представлял собой сплоченную клику»[2], а силы плебеев, вследствие их раздробленности, гораздо менее значительны: «сила плебеев, растворенная и раздробленная во множестве [людей], имела меньшее значение»[3]. Поэтому отдельные представители нобилитета незаконно захватили в свои руки всю власть, высшие посты и должности, казну, управление провинциями, почести и триумфы[4]. Народ был подавлен, ему остались лишь военная служба, да угнетающая его беспросветная нужда[5]. Это злоупотребление властью повлекло за собою развитие страшного порока — корыстолюбия; все сделалось предметом хищения и разврата, не было ничего святого и заветного, римское общество безудержно устремилось к своей собственной гибели. Виновником же всех этих бедствий, смут и разложения является опять-таки клика нобилитета, незаконно захватившая государственную власть. Как только, говорит Саллюстий, из среды нобилитета явились люди, предпочитающие истинной славе (veram gloriam) несправедливо захваченную власть, так государство потеряло равновесие и гражданские смуты начали колебать его подобно землетрясению[6].

Затем Саллюстий переходит к характеристике деятельности Гракхов, которая трактуется им, с одной стороны, как попытка отстоять права и свободу народа, а с другой — как противодействие злоупотреблениям нобилитета. Саллюстий упрекает Гракхов в некоторой неумеренности, что, впрочем, может быть оправдано их стремлением к победе и вполне искупается их мученической смертью[7]. Гракхов никоим образом нельзя ставить

---

[1] Sall., Iug., 41, 5—6; «... ita omnia in duas partes abstracta sunt: res publica, quae media fuerat, dilacerata»; «...итак, все разделилось на две партии; республика, которая оказалась между ними, растерзана».

[2] Там же, 41, 6—7: «...nobilitas factione magis pollebat».

[3] Там же, 41, 6—7: «plebis vis, soluta atque dispersa in multitudine minus poterat».

[4] Ср. Sall., Epp., II, 3.

[5] Sall., Iug., 41, 7: «...populus militia atque inopia urgebatur», «народ угнетался военной службой и нуждой».

[6] Там же, 41, 10.

[7] Ср. с отношением к Гракхам Цицерона.

на одну доску с представителями клики нобилитета, которые узурпировали власть совершенно недопустимыми средствами. Гракхов никак нельзя обвинить в подобной неразборчивости средств, в этом их заслуга, об этом опять-таки свидетельствует их гибель: «для хорошего гражданина лучше быть побежденным, чем победить несправедливость злом»[1]. Нобилитет же, наоборот, праздновал свою победу торжеством преступнейшего произвола, кровавой расправой, что только увеличило общую ненависть к нобилям. И снова Саллюстий подчеркивает гибельность подобных действий для государства: «такие вещи очень часто губили великие государства»[2], и на этом заканчивает исторический экскурс «Югуртинской войны».

Только что разобранный экскурс по своей схеме конструктивно ближе к историческому экскурсу раннего «Письма к Цезарю», чем «Заговора Катилины». Однако на содержании этого экскурса несомненно отразились политические взгляды и настроения, развитые Саллюстием уже в «Заговоре Катилины». Тем не менее в «Югуртинской войне» все политические симпатии и антипатии историка выражены несравненно резче, определеннее, без прикрытия.

Если в экскурсе «Заговора Катилины» исторический процесс интерпретировался как борьба отвлеченных категорий, что являлось для Саллюстия определенным приемом, определенной фразеологией, маскирующей политическую направленность экскурса (и это свидетельствует о стремлении самого Саллюстия к подобной «маскировке»), то в историческом экскурсе «Югуртинской войны» все прикрытия и вся фразеология отброшены, исторический процесс дан конкретно, и движущей силой исторического процесса признается борьба «партий» нобилитета и плебса. Все это придает экскурсу «Югуртинской войны» резкую политическую заостренность и направленность, что опять-таки сближает его с экскурсом раннего «Письма к Цезарю». Исторический экскурс «Югуртинской войны» как бы повторяет экскурс этого письма, но на новой и более расширенной основе.

К историческому экскурсу из «Югуртинской войны» примыкают по своему содержанию некоторые фрагменты, которые, очевидно, являются фрагментами экскурса (или экскурсов) из «Историй». Сохранился ряд таких фрагментов; насколько можно судить по ним, экскурс «Историй» был насыщен еще бо́льшим политическим темпераментом, еще более непримиримым духом партийной борьбы.

---

[1] Sall., Iug., 42, 3—4: «sed bono vinci satius est, quam malo more iniuriam vincere».

[2] Там же, 42, 4: «quae res plerumque magnas civitates pessum dedit».

Уже один из первых фрагментов показывает, что Саллюстий принадлежал к определенной «партии» в ходе гражданской войны: «и принадлежность к партии в гражданской войне меня не отвлекла от истины»[1]. Другой отрывок чрезвычайно интересен тем, что его можно рассматривать как развитие тезиса о прирожденной злокозненности нобилитета, тезиса, который впервые был намечен еще в «Заговоре Катилины». Саллюстий говорит о прирожденности зла людям, и эта прирожденность зла есть причина всех смут и волнений в государстве[2]. После показа фразеологии Саллюстия на материале «Заговора Катилины» и в особенности после рассмотрения исторического экскурса «Югуртинской войны» эту тираду Саллюстия вполне можно отнести по адресу порочного, «злокозненного» римского нобилитета.

Следующий большой фрагмент начинается с указания на то, что Римское государство обладало наибольшей мощью и наибольшими территориальными размерами в консульство Сервия Сульпиция и Марка Марцелла[3], однако наилучшие нравы и наибольшее согласие среди римских граждан царили в период между Второй и Третьей Пуническими войнами[4]. Здесь крайне характерно сокращение периода «золотого века» до небольшого отрезка в пятьдесят лет.

Помимо этого, исследуемый фрагмент дает необычайно конкретное и политически заостренное изложение римской истории, совершенно в духе основных идей исторического экскурса «Югуртинской войны». Саллюстий говорит о несправедливостях и притеснениях «сильных людей», что явилось причиной разрыва между патрициями и плебеями. Эти раздоры имели место с самого начала существования Римского государства[5]. Затем

---

[1] S a l l., Hist., I, 6: «neque me diversa pars in civilibus armis movit a vero».

[2] Там же, I, 7: «... nobis primae dissensiones vitio humani ingenii evenere; quod inquies atque indomitum, semper inter certamina libertatis, aut gloriae, aut dominationis agit»; «... у нас первые разногласия были результатом порочности человеческой природы, поскольку она непокойна и неукротима [и] постоянно находится в борьбе за свободу или славу или господство».

[3] Т. е. в 51 г.

[4] S a l l., Hist., I, 11: «... optumis autem moribus et maxuma egit inter secundum atque postremum bellum Carthaginiense», «... [Римское государство] обладало наилучшими нравами и [наибольшим] величием между второй и последней Карфагенской войной».

[5] Там же, I, 11: «... nam iniuriae validiorum et ob eas discessio plebis a patribus aliaeque dissensiones domi fuere iam inde a principio neque amplius quam regibus exactis, dum metus a Tarquinio et bellum grave cum Etruria positum est, aequo et modesto iure agitatum», «ибо несправедливости сильных и разрыв вследствие них между плебеями и патрициями и другие разногласия бывали в государстве уже с самого начала, а справедливое и умеренное правление, наступившее после изгнания царей,

следует изображение борьбы сословий и описание бесправного, рабского положения плебеев. Патриции, говорит Саллюстий, стали угнетать плебеев деспотическим управлением, распоряжаясь их жизнью и личной неприкосновенностью по образцу царей. Они сгоняли плебеев с земель и, отстранив всех других, стали одни управлять государством[1].

Это положение неминуемо должно было привести к борьбе плебеев за узурпированные у них права. Саллюстий рассказывает, что плебеи, возмущенные подобными жестокостями, а в особенности придавленные бременем долгов (ибо при непрерывных войнах именно они и несли все тяготы военной службы и денежного обложения), вооружившись, заняли Священную гору и Авентин.

Это выступление имело успех: именно тогда плебс добился создания должности народных трибунов и различных других прав и привилегий[2].

Предел этой внутренней борьбе был положен Второй Пунической войной: «концом раздоров и борьбы была Вторая Пуническая война»[3]. Тогда и наступает уже упоминавшийся 50-летний период внутреннего мира и процветания, который здесь Саллюстием, видимо, никак не описывается[4]. Но зато в данном отрывке подробно развивается и аргументируется учение о metus hostilis как единственном сдерживающем начале. Саллюстий на протяжении исторического экскурса неоднократно подчеркивает ту мысль, что только страх перед внешним или внутренним врагом — будь то Тарквиний или этруски, или, наконец, Карфаген, — сдерживал развитие пороков и смут в Римском государстве. Но теперь, когда последняя угроза или, вернее, последнее сдерживающее начало — Карфаген — перестало существовать, исчезает metus hostilis, так что теперь даже самые благоприятные обстоятельства обращаются во вред. Загнанные внутрь дурные страсти (lubidines), в том числе наихудшие из них — страсть к раздорам, алчность, честолюбие — вырываются на волю: «разногласия, корыстолюбие

---

продолжалось, пока не были изжиты страх перед Тарквинием и тягостная война с Этрурией».

[1] Sall., Hist., I, 11: «dein servili imperio patres plebem exercere, de vita atque tergo regio more consulere agro pellere et ceteris expertibus soli in imperio agere», «затем патриции стали властвовать [над] плебсом, [как над] рабами, распоряжались их жизнью и личной неприкосновенностью по образцу царей, сгоняли с земли и, отстранив всех, стали одни управлять государством».

[2] Там же, I, 11.

[3] Там же, I, 11: «discordiarum et certaminis utrimque finis fuit secundum bellum Punicum».

[4] Это утверждение может быть высказано лишь предположительно, ибо в тексте имеется лакуна, которая, возможно, и соответствует описанию «золотого века».

и честолюбие и другое зло, имеющее обыкновение возникать при благоприятных обстоятельствах, величайшим образом выросли после разрушения Карфагена»[1].

Следующий фрагмент развивает эти же основные положения Саллюстия о metus hostilis, о беззаконном захвате власти и торжестве олигархической группы (pauci potentes) нобилитета[2].

И, наконец, в последних фрагментах исторического экскурса Саллюстий резко бичует подкупность партий: «[цвет] всех партий был развращен подкупами»[3] — и общую развращенность, царящую в римском обществе, в первую очередь, среди молодежи[4].

Несмотря на фрагментарность данного исторического экскурса, нетрудно убедиться, что он, как указано выше, является развитием основных мыслей и положений экскурса «Югуртинской войны». Но если положительной стороной экскурса «Югуртинской войны» было преодоление абстрактности и завуалированной фразеологии, характерных для Саллюстия в период написания «Заговора Катилины», то экскурс «Историй» является как бы следующим шагом по этому пути: римская история излагается здесь как история сословной и партийной борьбы, тезис о закоренелой порочности нобилитета получает более четкое выражение.

Но особенно замечательной в «Историях» является новая тенденция, которая становится уже вполне ощутимой в только что разобранных фрагментах. Это — новое понимание «роли народа». Когда Саллюстий говорит о бесправном положении плебса, о противозаконном захвате власти кучкой олигархов, когда он описывает борьбу плебеев за политические права, — трудно сомневаться, на чьей стороне находятся его симпатии. Дальнейший анализ фрагментов «Историй» может нас убедить в том, что эта тенденция отнюдь не случайна и что это не только тенденция, но новое и сложившееся воззрение. Саллюстий выступает перед нами в этот период как один из последних представителей и идеологов римской демократии. Таков итог развития его политических воззрений, тесно связанный с ходом классовой борьбы в современном ему римском обществе.

Но, конечно, — и по этому поводу необходимо сразу же оговориться, — демократизм Саллюстия чрезвычайно условен и ограничен. Прежде всего — это «демократизм» типичного представителя рабовладельческого класса, для которого в понятие

---

[1] Sall., Hist., I, 11: «at discordia et avaritia atque ambitio et cetera secundis rebus oriri sueta mala post Carthaginem excidium maxime aucta sunt».

[2] Там же, I, 12.

[3] Там же, I, 13: «omnium partium in mercedem corruptum erat».

[4] Там же, I, 16.

«народ» включается лишь сравнительно узкая и, по существу, все же привилегированная группа свободного населения. Не говоря уже о том, что основная масса производителей материальных благ, т. е. рабов, конечно, не включалась в понятие «народа», Саллюстий не имел в виду, говоря о народе, и низшие, деклассированные слои свободного населения, которые презрительно именуются им vulgus. Эти соображения следует иметь всегда в виду, когда будет идти речь о демократических тенденциях Саллюстия.

Исторические экскурсы «Югуртинской войны» и «Историй» подводят к основной и «единственной» теме Саллюстия — изображению картины современного ему упадка римского общества.

Можно без всякого преувеличения сказать, что изображение картины упадка есть главная тема «Югуртинской войны». Война с Югуртой потому и интересует Саллюстия, что это некий переломный момент, это развязывание тридцатилетнего периода смут и потрясений, приведшего к диктатуре Суллы. Война с Югуртой является чрезвычайно наглядной иллюстрацией внутреннего разложения римского общества.

Этой же теме посвящено и последнее произведение Саллюстия — «Истории». Как известно, «Истории» представляли собой продолжение исторического труда Сисенны и, состоя из пяти книг, охватывали период от смерти Суллы до перехода восточного командования к Помпею, т. е. от 78 до 66 г. Но сулланская реакция, как об этом уже говорилось, была для Саллюстия тоже чрезвычайно важным переломным моментом, содействовавшим тому, что все пороки, все lubidines хлынули наружу.

Картина современного разложения римского общества в «Югуртинской войне» и в «Историях» складывается, как в раннем «Письме к Цезарю», из характеристики состояния сената и положения народа.

Сначала нужно остановиться на том, как изображает Саллюстий состояние сената.

Характеристика состояния сената в «Югуртинской войне» по существу продолжает и развивает линию, намеченную по отношению к сенату еще в «Заговоре Катилины». Сенат изображается как учреждение устарелое и бессильное, обреченное на то, чтобы быть жалкой игрушкой в руках нобилитета.

Еще в prooemium к «Югуртинской войне», объясняя свое удаление от общественной жизни, Саллюстий говорит о том, что чувство собственного достоинства не позволяет ему находиться в сенате среди того «сброда», который его наполняет[1]. Затем

[1] Sall., Iug., 4, 4—5.

на протяжении всего сочинения Саллюстий беспощадно бичует подкупность и разложение сената.

Любопытно, что для своих обличительных целей Саллюстий использует тот же прием, что и в «Заговоре Катилины»[1]. Саллюстий описывает заседание сената, в котором Адгербал произносит речь, прося помощи и защиты у римлян. Это описание предваряется упоминанием о том, что послы Югурты прибыли в Рим и роздали большие подарки его прежним приятелям и вообще всем тем лицам, которые имели влияние на сенат. Тогда, говорит Саллюстий, произошла существенная перемена, и Югурта уже вместо негодования возбуждал теперь любовь и расположение нобилитета. Богатые подарки и обещания вызвали к нему такое участие, что его приверженцы ходили к каждому сенатору и упрашивали их быть не столь строгими при разбирательстве дела. Таким образом, когда эти послы подготовили почву, сенат собрался для разбора дела Югурты и Адгербала[2]. После этого понятно, что обширная речь Адгербала, в которой он пытается обращаться к чувству достоинства и благородству сенаторов, обычаям и законам Римского государства, не имеет никакого успеха[3]. Послы же Югурты, наоборот, надеясь более на действие своих подарков, чем на доказательства справедливости своих притязаний, отвечают весьма немногословно[4].

Как и следовало ожидать, просьбы Адгербала остаются без ответа, его дело терпит крах. Все это происходит потому, что подкупленные послами Югурты, а таких было большинство, ополчились против Адгербала, и только незначительное число сенаторов показало, что справедливость и добродетель им дороже денег. Они встали на сторону Адгербала.

Однако это вовсе не говорит о том, что еще среди сенаторов есть такие лица, которые чтут интересы государства, следовательно, разложение и продажность овладели еще не всеми.

Это произошло совсем из других соображений, это всего лишь показная сторона. Приверженность к справедливости, даже и этого незначительного количества сенаторов, берется Саллюстием под серьезное сомнение. Он говорит о том, что дело заключалось не столько в порядочности сенаторов, сколько в том, что подкуп был слишком груб и бесцеремонен, а следовательно, мог легко обнаружиться.

---

[1] Но поскольку в «Югуртинской войне» и в особенности в «Историях» ставятся все точки над i, то здесь этот прием использован гораздо более смело и обнаженно. См. S a l l., Cat., 50—52.

[2] S a l l., Iug., 13, 7—9.

[3] Там же, 14.

[4] Там же, 15, 1—2.

Саллюстий указывает на то, что во главе «приверженцев справедливости» стоял Эмилий Скавр — «человек знатный, деятельный, [большой] политикан, жаждавший власти, почета и богатства[1], но, впрочем, умело скрывавший свои пороки»[2]. Однако этот человек оказался в числе ревнителей справедливости и во главе противников Югурты только потому, что он умел скрывать свои пороки, был осторожен и видел, что подкуп проводится слишком нагло и бесстыдно[3]. Но как бы то ни было, победа в конечном счете осталась на стороне подкупленных Югуртой: «однако в сенате победила та партия, которая истине предпочитала деньги и выгоды»[4].

Это изображение сената чрезвычайно характерно и напоминает, как уже указывалось, описание заседания сената в «Заговоре Катилины». Как там Цезарь, так здесь Адгербал обращается к благородным чувствам сенаторов и терпит крах. Как там Катон, так здесь Югурта, действующий через своих послов, бьет на эгоизм и корыстолюбие сенаторов и добивается успеха. Но только теперь и самое дело и средства его проведения — совершенно вопиющие. В «Заговоре Катилины» сенат в конце концов принимает если не юридически, то по существу правильное решение, направленное ко благу Римской республики (так во всяком случае считает сам Саллюстий), а в «Югуртинской войне» сенат принимает решение, по существу граничащее с изменой интересам государства. Таким образом, картина продажности и разложения сената является еще более отвратительной, падение его еще более глубоким.

Точно такая же история, хотя о ней Саллюстий повествует более кратко, разыгрывается в сенате при получении письма от Адгербала[5]. Когда письмо, в котором Адгербал снова просил о помощи и защите, было оглашено, некоторые сенаторы стали настаивать на отправлении войск в Африку на помощь Адгербалу, однако снова возобладало мнение людей, подкупленных Югуртой[6].

Когда Югурте сдалась Цирта и он убил Адгербала, то сенат еще раз под давлением лиц, подкупленных Югуртой, не предпринял никаких решительных действий и, по выражению

---

[1] Крайне типичная ныне для Саллюстия характеристика представителя нобилитета. Ср. с характеристикой Метелла (Sall., Iug., 43, 1) и Мария (63, 2—6).

[2] Sall., Iug., 15, 4—5: «homo nobilis, impiger, factiosus, avidus potentiae, honoris, divitiarum, ceterum vitia sua callide occultans».

[3] Там же, 15, 5.

[4] Там же, 16, 1—2: «vicit tamen in senatu pars illa qui vero pretium aut gratiam anteferebant».

[5] Там же, 24, 1—10.

[6] Там же, 25, 2—4.

Саллюстия, дело могло окончиться тем, что в долгих и бесплодных прениях негодование против Югурты растворилось бы и угасло[1], если бы только не вмешательство народа[2].

Но и на сей раз, хотя в Африку было послано войско под командованием консула Луция Кальпурния Бестии, который окружил себя видными представителями нобилитета (в числе их был, кстати, уже упоминавшийся Скавр), дело кончается для Югурты благоприятно. Он подкупает Кальпурния и Скавра, и те заключают с ним позорный, изменнический мир[3]. И снова Саллюстий подчеркивает полное разложение и слабость сената, указывая на то, что сенат долго колебался уничтожить этот постыдный договор, ибо боялся Скавра, который, как известно, был видным представителем нобилитета[4]. А это и свидетельствует о том, что продажный, разложившийся сенат окончательно превратился в жалкую игрушку в руках отдельных честолюбцев из олигархической клики. Такова полная деградация сената; не случайно, когда усиливается демократическая оппозиция[5], сенат, хотя он и был, как указывает Саллюстий, враждебен ей и ее вождю Марию, но противостоять ни в чем не мог[6].

Так изображается в «Югуртинской войне» окончательное разложение сената, приведшее к тому, что величие и интересы Римского государства распродаются его заклятым врагам. Эта основная мысль отчетливо выражена в краткой, но энергичной формулировке, вложенной Саллюстием в уста народного трибуна Меммия: «злейшему врагу предан авторитет сената, предана ваша власть, во время мира и во время войны государство стало продажным»[7].

И действительно, интересы Римского государства, как показывает Саллюстий, предаются и продаются врагам всеми, начиная от консулов и кончая низшим командным составом армии. Сенат в смысле развращенности и продажности всего лишь как бы задает тон. Картина этой всеобщей продажности рисуется Саллюстием с потрясающей силой.

Так, например, вся деятельность, вся политика Югурты строится на уверенности в том, что в Риме все продажно; в этом сам Югурта уверился еще со времен Нумантинской войны[8].

---

[1] Sall., Iug., 27, 2.
[2] Там же, 27, 2—5.
[3] Там же, 29, 1—7.
[4] Там же, 30, 2—3.
[5] Там же, 73, 4—7.
[6] Там же, 84, 3.
[7] Там же, 31, 25—26: «hosti acerrumo prodita senati auctoritas, proditum imperium vestrum; domi militiaeque respublica venalis fuit».
[8] Там же, 20, 1.

Когда начинается война Югурты с Римом, то все его расчеты блестяще оправдываются. Вплоть до перехода командования к Метеллу война с Югуртой изображается Саллюстием как целая серия подкупов оптом и в розницу — сенаторов, магистратов, военачальников, вплоть до центурионов. Югуртой были подкуплены, как уже упоминалось, Кальпурний и Скавр[1], подкуплен народный трибун Кай Беббий[2], а когда Кальпурний вернулся в Рим, то оставленные им военачальники вступили в форменные торги с Югуртой, продавая ему слонов или выдавая за деньги его же перебежчиков, не стыдясь к тому же грабить мирную провинцию[3]. Консул Спурий Альбин поспешно перевез в Африку припасы и жалованье солдатам, торопясь приступить к военным действиям, но вдруг перешел от этой поспешности к полной пассивности, причем Саллюстий намекает на то, что это был злонамеренный поступок[4]. Претор Авл, брат консула Альбина, неожиданно, зимой возобновляет военные действия против Югурты, но оказывается, что им движет отнюдь не стремление защитить интересы государства, а честолюбие или, скорее всего, надежда поживиться большим выкупом от Югурты[5]. Что же касается победы, которую Югурта одержал над Авлом, то Саллюстий объясняет ее тем, что Югурте удалось подкупить не только отдельных военачальников, но и некоторые вспомогательные войсковые подразделения (когорту лигурийцев и два эскадрона фракийцев), которые и перешли на его сторону во время битвы[6].

Таковы примеры разложения, подкупности римских магистратов и римской армии, и если их сопоставить с теми фактами, которые свидетельствуют о нравах, царящих в сенате, то вырисовывается поистине потрясающая картина, и, конечно, Югурта имел все основания для своего знаменитого возгласа: «город продажный, который тотчас погибнет, если найдет покупателя»[7].

Однако следует вернуться к описанию состояния сената. Теперь нужно дополнить характеристику сената из «Югуртинской войны» теми данными, которые можно почерпнуть из «Историй». Правда, среди фрагментов «Историй», наряду с тремя речами, обращенными к народу, сохранилась лишь одна речь, произнесенная в сенате, — речь Филиппа против Лепида

---

[1] Sall., Iug., 29, 1—7.
[2] Там же, 33, 2—3.
[3] Там же, 32, 2—4.
[4] Там же, 36, 3—4.
[5] Там же, 37, 3.
[6] Там же, 38, 3, 7.
[7] Там же, 35, 10: «urbem venalem et mature perituram si emptorem invenerit».

(а также письмо к сенату Помпея). Но, во всяком случае, речь Филиппа представляет значительный интерес.

Эта речь, произнесенная в сенате, в то же время является блестящей инвективой против сената, облеченной во внешне безукоризненную форму. Эта речь как бы подводит итог разоблачительной кампании против сената, которую Саллюстий вел на всем протяжении своей историко-литературной деятельности. В этой речи Саллюстием мобилизован и использован весь арсенал обвинений, выдвигаемых им против сената.

Но прежде чем перейти к разбору этой речи, следует ответить на вопрос о том, насколько вообще позволительно считать, что взгляды и положения, развиваемые в речах героев Саллюстия, разделяются самим историком.

В подавляющем большинстве случаев введение Саллюстием речей в повествование — лишь прием, лишь предлог для того, чтобы развить собственные взгляды и убеждения. В речах Саллюстий, по существу, говорит от себя. Он, несомненно, понимал функцию речей в историческом повествовании иначе, чем, например, Фукидид[1] или Полибий[2]. Что это именно так, может быть доказано хотя бы тем, что в «Югуртинской войне», политическая установка которой вполне определенно и резко выражена, Саллюстий вкладывает речи исключительно в уста поборников и представителей демократии, не противопоставляя им речей, идущих из противоположного лагеря. Правда, как выше указывалось, фрагменты «Историй» сохранили речь Филиппа против Лепида[3], но и эта речь только может подтвердить высказанное положение, ибо, хотя Филипп нападает на Лепида, выступает как сторонник сулланского режима и сенатской олигархии, говорит о представителях демократической оппозиции, как о «худших и зловредных» людях, тем не менее речь является развитием основных обвинений сенату, высказанных Лепидом, в то время как в ней должно было бы содержаться возражение Лепиду.

Эти соображения заставляют признать, что основной задачей речей у Саллюстия является развитие определенной политической идеи, как правило, отражающей современные самому Саллюстию события и изложенной с его собственной точки зрения. Это отнюдь не исключает того, что во второстепенных и непрямых речах Саллюстий часто говорит не от себя и даже высказывает противоположные своим собственным убеждениям взгляды[4].

---

[1] Thuc., I, 22.

[2] Polyb., XII, 25, a; b; i.

[3] Консул 78 г. до н. э., выступивший против сулланского режима и боровшийся за восстановление старой конституции.

[4] См., например, Sall., Iug., 44, 2; 64, 5; 65, 3; 83, 1; 106, 3.

После этих предварительных соображений можно перейти к анализу речи Филиппа.

В самом начале своей речи Филипп, говоря о смутах и опасностях для республики, недвусмысленно обвиняет сенат в том, что он вместо предупреждения этих зол сам раздувает беспорядки и междоусобицы в государстве, превратившись в орудие «худших и зловредных». Таким образом, людям порядочным и благоразумным приходится выполнять то, что постановили самые негодные и глупейшие люди[1].

В результате всего этого сенаторы в поисках наживы и покровительства у «сильных» дошли до того, что сами дают оружие и власть в руки врагам отечества и своим собственным. Так, например, Лепиду дарована власть проконсула, и он за все свои преступления перед государством... награжден провинцией![2]

Вместо непримиримой и беспощадной борьбы с врагами отечества сенат занят пустыми словопрениями, противопоставляет враждебным действиям одни лишь слова, на вопиющие нарушения законности, на открытый бунт отвечает лишь посольствами и декретами, с которыми никто не считается. До каких же пор, восклицает Филипп, вы, отцы-сенаторы, будете своим промедлением оставлять республику беззащитной и бороться за нее только на словах![3]

Но таким путем защитить дело мира невозможно, и сама слабость сената лишь унижает его достоинство и ободряет врагов[4]. Филипп обвиняет сенат в трусости[5], в мелком эгоизме и полном забвении интересов государства. Мне самому недостаточно ясно, говорит он, что́ с вами; страх ли это, или малодушие, или безумие: кажется, вы все видите это зло, готовое обрушиться на вас, подобно молнии, хотите, чтобы оно не поразило никого из вас, но сами даже не пытаетесь ему противодействовать[6].

В заключение Филипп пытается устрашить сенаторов напоминанием о Цинне[7] и требует решительных действий, указывая на реальные силы, на которые сенат может опереться, обещая поддержку «всего нобилитета»[8].

Такова инвектива против сената, вложенная Саллюстием в уста Филиппу. Здесь использован весь запас саллюстиевых обвинений против сената, начиная с обвинений, имевших место еще в раннем «Письме к Цезарю» (например, забвение интересов государства в угоду интересам личным и своекорыстным) и

[1] Sall., Hist., I, 77, 1—2.
[2] Там же, I, 77, 4.
[3] Там же, I, 77, 17.
[4] Там же, I, 77, 3—4.
[5] Там же, I, 77, 13.
[6] Там же, I, 77, 12.
[7] Там же, I, 77, 20—21.
[8] Там же.

вплоть до обвинений, выдвигаемых впервые в «Югуртинской войне» и «Историях» (например, трусость, предательство, угождение врагам). Поэтому речь Филиппа как бы доводит до логического конца и подытоживает развитие отношения Саллюстия к сенату.

Теперь можно перейти к характеристике роли народа в «Югуртинской войне» и «Историях».

Говоря в «Югуртинской войне» о состоянии народа, Саллюстий попрежнему основным злом считает его бездеятельность и развращенность, благодаря чему нобилитет узурпировал власть в государстве. Недаром это обвинение вложено Саллюстием в качестве упрека в уста лучших представителей самого же народа, его вождей. Народный трибун Кай Меммий, который характеризуется Саллюстием, как «человек энергичный и непримиримый враг могущества нобилитета»[1], призывая народ к борьбе за права, попранные нобилитетом, говорит: стыдно и сказать, что вы в течение последних пятнадцати лет были как бы игрушкой честолюбия олигархов. Какой позорной и еще неотомщенной смертью погибли защитники ваших прав! Но дух ваш обессилел от бездействия и беспечности и даже теперь, когда враги сами отдаются вам в руки, вы не в состоянии пробудиться, вы боитесь их, тогда как должны были бы сами внушать им ужас[2]. И далее вся речь Меммия является обличением преступного произвола нобилитета, который подавлял народ, избивал народных трибунов, торговал интересами государства; он призывает народ, рожденный для власти, сбросить с себя ярмо рабства[3].

Ярким примером того, до какой степени дошло издевательство над правами народа, служит инцидент с молчанием Югурты по приказу подкупленного им К. Беббия. Народ хоть и негодовал, но ничего не добился[4]. Саллюстий говорит об этом инциденте как о дерзкой насмешке над правами народа и одновременно подчеркивает слабость и пассивность последнего.

Когда же, наконец, народное собрание проявляет энергию, про что Саллюстий говорит: «incredibile memoratu est»[5], и добивается следствия по делу Югурты, этот факт не находит себе у Саллюстия положительной оценки. Саллюстий, во-первых, считает, что плебс добился этого главным образом вследствие ненависти к нобилитету, а не из истинной заботы о нуждах государства: «более из ненависти к нобилитету, которому

---

[1] S a l l., Iug., 27, 2: «vir acer et infestus potentiae nobilitatis».
[2] Там же, 31, 2—4.
[3] Там же, 31, 8.
[4] Там же, 34, 2: «... ita populus, ludibrio habitus, ex concione discedit», «... так народ, над которым насмеялись, разошелся со сходки».
[5] Там же, 40, 3.

эти предложения создавали затруднения и бедствия, а не вследствие заботы о государстве: так сильна была тогда борьба партий»[1], а, во-вторых, он полагает, что следствие велось слишком жестоко, пристрастно, и плебеи, как прежде нобилитет, постарались максимально использовать выгодную для них ситуацию[2].

На основании высказанного можно, казалось бы, сделать вывод о крайне отрицательном отношении Саллюстия к народу. Однако такой вывод был бы совершенно неправилен[3].

Как мы убедились, главным упреком, выдвигаемым Саллюстием против народа, является то, что народ развратился в бездеятельности, не может противостоять нобилитету, в то время как именно он и должен был бы обладать полнотой власти в государстве.

Уже в этом сказывается глубокое различие в изображении Саллюстием картины разложения народа, по сравнению с разложением сената, а также совершенно новое понимание роли народа. Развращенность народа не есть врожденный порок, это — следствие определенных причин, и, конечно, не случайно Саллюстий, говоря о «пристрастности» народа при организации следствия по делу Югурты, извиняет его тем, что — tanta lubido in partibus!

Таким образом, вышеприведенные высказывания Саллюстия не могут свидетельствовать о его отрицательном или «презрительном» отношении к народу, тем более что ими вообще исчерпываются все отрицательные суждения Саллюстия о народе в «Югуртинской войне».

Зато здесь достаточно яркое выражение получает совсем иное направление, совсем новая струя в воззрениях Саллюстия на роль народных масс. Народ и только народ есть единственная реальная и положительная сила в насквозь прогнившем и испорченном римском обществе. Он не занимает, правда, подобающего ему места в государственном организме, он погряз

---

[1] S a l l., Iug., 40, 3—4: «magis odio nobilitatis, cui mala illa parabantur, quam cura rei publicae: tanta lubido in partibus».

[2] Там же, 40, 5: «... uti saepe nobilitatem, sic ea tempestate plebem ex secundis rebus insolentia ceperat», «... как часто [прежде] нобилитет, так в это время плебс, вследствие благоприятных обстоятельств, охватило высокомерие».

[3] Кстати, как показывает анализ речи Меммия, а также других отрывков из «Югуртинской войны» (S a l l., Iug., 30; 34; 40 и т. д.), как, в свое время, «Писем к Цезарю» (см. выше, стр. 81, прим. 5) использование Саллюстием терминов: populus, plebs, Quirites, multitudo (но не vulgus!) снова свидетельствует о том, что Саллюстий вкладывал в эти термины однозначный смысл. Все эти понятия противопоставляются им сенату, который, таким образом, не включается Саллюстием в понятие populus. В этом же смысле мы оперируем термином «народ» во всех дальнейших рассуждениях.

в преступном бездействии, но в потенции это — огромная и единственная сила, на которую Саллюстий теперь возлагает все свои надежды и упования.

На всем протяжении «Югуртинской войны» эта мысль подчеркивается неоднократно и достаточно ясно. Когда Югурта становится на путь преступлений и, наконец, вынужден столкнуться с Римом, то оказывается, что он опасается лишь римского народа, а правящие круги (т. е. нобилитет) и их отношение к этому делу его совсем не волнуют, ибо здесь он возлагает весьма определенные надежды на их корыстолюбие и на свои сокровища[1]. Здесь Саллюстий подчеркивает не только то, что единственной силой, с которой необходимо было считаться, являлся римский народ, но снова дает некое противопоставление народа продажному, разложившемуся нобилитету.

Когда Югурта при попустительстве правящей клики увенчивает целую серию своих злодеяний убийством Адгербала, подкупленные Югуртой члены сената пытаются затянуть обсуждение этого дела, сенат в целом занимает нерешительную позицию и лишь вследствие вмешательства народа и, в частности, Кая Меммия, решает вопрос о посылке войска в Африку. Саллюстий прямо говорит, что сенат принял это решение только из страха перед народом[2].

Когда был заключен Кальпурнием Бестией и Эмилием Скавром позорный мир и слух об этом достиг Рима, то сенат снова занял преступную и трусливую позицию, и одни лишь плебеи негодовали и, воспламененные речью Меммия, в которой тот призывал народ проявить свою волю в делах государства, оказали еще раз определенное давление на сенат[3]. Саллюстий уделяет этому моменту настолько серьезное внимание, что вкладывает в уста Меммия большую речь[4].

Можно привести еще одно свидетельство Саллюстия о том, что после поражения Авла следствие по делу о подкупах и пр. было проведено, несмотря на сопротивление нобилитета и

---

[1] Sall., Iug., 13, 5—6: «... tum Iugurtha, patratis consiliis, postquam omni Numidia potiebatur, in otio facinus suum cum animo reputans, timere populum Romanum, neque advorsus iram eius usquam, nisi in avaritia nobilitatis et pecunia sua, spem habere», «тогда Югурта, исполнив [свои] замыслы [и] после того, как [он] овладел всей Нумидией, размышляя в глубине души на досуге о своем преступлении, стал бояться римского народа, не имея против его гнева никакой надежды, если не в жадности нобилитета и своих богатствах».

[2] Там же, 27, 3—4: «...sed ubi senatus, delicti conscientia, populum timet, lege Sempronia provinciae futuris consulibus, Numidia atque Italia decretae», «но так как сенат, сознавая [совершенное Югуртой] правонарушение, боялся народа, то [по] Семпрониеву закону будущим консулам были определены провинции Нумидия и Италия».

[3] Там же, 30, 1—3.

[4] Там же, 31.

сената, опять-таки по инициативе народного трибуна Меммия, и народ проявил при этом необычайную энергию[1].

Во всех приведенных примерах Саллюстий не только подчеркивает положительную роль народа, но и противопоставляет его вконец разложившемуся, окончательно не способному к государственным делам сенату. В этой связи можно упомянуть одно чрезвычайно любопытное замечание Саллюстия, которое ярко подтверждает только что высказанную мысль. Когда Саллюстий рассказывает о поручении Марию командования армией против Югурты, то по поводу участия в этом деле народа он говорит: «Плебеи были так возбуждены, что земледельцы и ремесленники, средства к существованию которых зависели от постоянной работы, тем не менее, оставив все свои занятия, следовали за Марием, ибо считали его честь и успех (honorem) важнее своих повседневных дел»[2]. Здесь замечательно указание на то, что «честь» Мария, дело Мария было поднято плебсом до принципиальной высоты, что оно оказалось для плебеев важнее личных нужд и интересов. Таким образом, Саллюстий здесь признает за народом то достоинство, которое он раньше считал немыслимым ему приписывать[3] и отсутствие которого у сенаторов, у людей, правящих государством, служило для него не раз предметом самых горьких упреков[4].

Таково отношение Саллюстия к вопросу о роли народа в «Югуртинской войне».

Но наиболее четкое выражение это новое отношение к народу, наметившееся еще в «Заговоре Катилины» и проходящее через «Югуртинскую войну», получает только в последнем произведении Саллюстия — в «Историях».

Окончательным итогом взглядов Саллюстия на этот вопрос и вместе с тем новым шагом в развитии отношения Саллюстия к народу является речь трибуна Лициния Макра, приводимая в одном из фрагментов «Историй».

В этой речи Саллюстий по-новому решает вопрос о месте народа, т. е. низших слоев гражданского населения, в государстве и о его роли в деле управления государством. Еще в «Югуртинской войне» в речи Меммия можно встретиться с постановкой этого вопроса. Меммий говорит народу, что ему не подобает быть на положении рабов, ибо вся власть по праву должна принадлежать народу: «вы, квириты, рожденные для власти, равнодушно сносите рабство»[5]. Но это

---

[1] Sall., Iug., 40, 1—4.
[2] Там же, 73, 6—7.
[3] Sall., Epp., II, 10.
[4] См. выше, стр. 85.
[5] Sall., Iug., 31, 11—12: «vos, Quirites, imperio nati, aequo animo servitutem toleratis».

пока лишь «постановка вопроса». Принципиальное решение вопрос об «imperium народа»[1] получает впервые в «Историях», в речи Лициния Макра.

Лициний начинает свою речь со страстного призыва к народу, призыва к борьбе за восстановление народом своих прав и своего положения в государстве. Он снова рисует безотрадную картину порабощения народа, ибо народ ценится лишь по мере приносимой им выгоды — наравне с домашним скотом, — а все права и привилегии давно утратил[2]. Но Лициний тут же подчеркивает, что даже при подобной бездеятельности и бесправии народ представляет из себя огромную грозную силу: «Или вы еще колеблетесь, — говорит Лициний Макр, обращаясь к своим слушателям, — как бы что не помешало вам, когда вы будете выступать единодушно, после того, как они испугались вас даже тогда, когда вы были медлительными и бездеятельными»[3].

Затем Лициний останавливается на смутах и междоусобицах, которые, по его мнению, целиком можно объяснить борьбой за власть, за господство над плебеями[4]. Эта борьба неизбежна, и народ не может стоять в стороне от нее, наоборот, он должен принять в ней участие и выйти победителем, если не хочет уготовить себе худшую участь и окончательное порабощение. Подумайте о том, говорит Лициний Макр, что если вы не победите, то для вас будут созданы еще более трудные условия, так как всякая несправедливость тем безопаснее, чем она тяжелее[5].

Далее в своей речи Лициний развивает программу, обосновывающую права народа на суверенное положение в государстве. Мне ли, говорит он, возбуждать вас к доблести, вас, которым предки завоевали трибунскую власть, равную высшим патрицианским магистратурам, но не зависящую от их голосов. Ибо вся сила (vis omnis) в вас, квириты, и не вам исполнять приказания других, но вы сами должны решать, что вам следует или чего не следует делать... Помните, что огромная власть консулов и постановления сената имеют реальную силу только при условии выполнения их вами, квириты...[6]

Это — центральное место речи и в смысле своего содержания и в смысле лежащего на нем логического ударения.

---

[1] Необходимо, однако, оговориться, что само по себе представление об imperium populi Romani не было новым. Оно лежало в основе всего римского государственного права. Принципиально новым у Саллюстия было то, что он в данном случае подменял суверенный populus Romanus Quiritium средними и даже низшими слоями гражданского населения.

[2] Sall., Hist., III, 48, 6—7.

[3] Там же, III, 48, 8.

[4] Там же, III, 48, 11—12.

[5] Там же, III, 48, 13.

[6] Там же, III, 48, 14—17.

Лицинием дано здесь обоснование суверенного положения народа в государстве; у народа — vis omnis[1], права народа, отвоеванные еще предками, священны, и никто не имеет права посягать на них, власть народа стоит выше консульской власти и даже декретов сената. Очень любопытно сравнить вышеприведенный отрывок речи Лициния с тем местом из раннего «Письма к Цезарю», где Саллюстий говорит о неспособности народа в то время ad capessendam rem publicam[2]. Теперь к управлению государством оказывается способным только народ, и только он имеет на это право. Речь Лициния — развернутое обоснование суверенных прав народа, притом не только народа вообще — populus Romanus Quiritium — но, в частности, — и это самое главное — низших слоев римского гражданства, тех, кого Саллюстий называет populus, противопоставляя сенату.

В конце своей речи Лициний предостерегает от обольщения демагогическими подачками нобилитета[3] и снова призывает к борьбе за возвращение прав и свободы.

Этот призыв к борьбе народа за свои права есть по существу призыв к борьбе за руководящее положение в государстве. Оно и должно принадлежать народу, во-первых, согласно правам, отвоеванным еще предками, а во-вторых, потому, что народ, несмотря на еще недостаточную сознательность и политическую активность, является все же единственной реальной силой в государстве, которая только и может противопоставить себя вконец разложившимся, бессильным, продажным сенату и нобилитету.

Таково развитие отношения Саллюстия к вопросу о роли народа, подытоженное речью Лициния Макра. Как нетрудно убедиться, отношение Саллюстия к народу проделывает весьма примечательную, но вместе с тем вполне закономерную эволюцию.

Однако, и это необходимо подчеркнуть еще раз, говоря о роли народа в политической жизни, Саллюстий под словом «народ» понимал, конечно, не городскую пролетаризованную массу, для которой у него есть презрительная кличка vulgus, а скорее всего среднезажиточные круги населения, бывшие промежуточным слоем между римскими нобилями, с одной стороны, и vulgus — с другой. Конкретно под этими среднезажиточными кругами населения следует подразумевать: в Риме — всех тех жителей города, которые сумели сохранить известное благосостояние (торговцы, владельцы ремесленных мастерских, одним словом, в первую очередь все те, кто входил в категорию эрарных трибунов, но не всадники, которые в этот период отходят от политики, а если и

[1] Ср. S a l l., Epp., II, 5.
[2] S a l l., Epp., II, 5.
[3] S a l l., Hist., III, 48, 19—20.

принимают в ней участие, то нередко блокируются с нобилитетом), в Италии — вообще всех средних и даже мелких землевладельцев, не успевших еще потерять своих земельных участков и превратиться в развращенную массу — plebs urbana, живущую подачками нобилей.

Политические позиции и воззрения этих групп населения в годы правления Цезаря, а затем после его смерти и вплоть до второго триумвирата нам почти неизвестны, трудно поддаются выделению и изучению. Возможно, что именно эволюция политических воззрений Саллюстия, своеобразного представителя этой своеобразной демократии, способна дать нам,— хотя бы неполное и приблизительное,— представление о том, какова же была политическая позиция этих общественных слоев. Но об этом — несколько ниже.

Здесь, пожалуй, снова уместно поставить вопрос: насколько правомерно идентифицировать взгляды и положения, развиваемые в речах народных представителей, со взглядами самого Саллюстия. Возможно предположение, что Саллюстий для придания большего исторического правдоподобия и в целях «исторической объективности» считал необходимым сколь возможно точно изложить платформу и политические лозунги римской «демократии», сам отнюдь не сочувствуя этим лозунгам. Прямой и безапелляционный ответ на этот вопрос, очевидно, невозможен, и приходится основываться лишь на косвенных доказательствах.

Не отрицая того, что в речах народных представителей Саллюстий мог допускать крайние формулировки, которые, возможно, были бы смягчены и урезаны, если бы автор вел речь от своего имени, тем не менее, надо полагать, что форма речи, как и самый метод введения речей в повествование, служили для Саллюстия одним из наиболее излюбленных приемов изложения его собственных взглядов. Именно потому, что его собственные политические воззрения в этот период были близки основным идеям, которые развивались Меммием, Лицинием Макром и т. д., он и «предоставлял им слово» на страницах своего произведения и, по существу, не противопоставил их речам ни одной речи, пропагандирующей политические лозунги идущие из противоположного лагеря. Трудно и почти невероятно представить себе, чтобы автор (да еще такой партийно-страстный автор, как Саллюстий), если б он стоял на «антидемократических» позициях, отводя в своих произведениях столько места пропаганде и прославлению (в той или иной форме) демократических лозунгов, не сделал попытки хоть раз, пусть устами того или иного представителя нобилитета, показать читателю с положительной стороны программу сенатской олигархии.

Кстати говоря, подобная «односторонность» противоречит устоявшейся традиции античных методов и приемов доказательства, которая характерна как для повествования исторического, так и для принципов построения ученых философских трактатов и которая сформулирована в завете: audiatur et altera pars. Не возвращаясь к ссылкам на принципы Фукидида и Полибия, достаточно указать лишь на чрезвычайно типичное в этом отношении рассуждение Цицерона об особенностях и преимуществах «чистых государственных форм»[1], где Цицерон «беспристрастно» излагает точки зрения защитников всех трех форм. И хотя можно приблизительно установить, какая из них более всего импонировала самому Цицерону (что, кстати сказать, тоже далеко не бесспорно)[2], то все же он считает своим долгом столкнуть и сопоставить все точки зрения, все pro и contra. У Саллюстия этого нет, и подобное «упущение» не может считаться простой случайностью.

Теперь следует перейти к анализу причин упадка на основе материала «Югуртинской войны» и «Историй».

Как было установлено выше, картина разложения общества в раннем «Письме к Цезарю» изображалась как картина слабости сената и развращенности народа. Причины подчеркивались следующие: забвение сенаторами государственных интересов и предпочтение ими интересов личных, своекорыстных, и, с другой стороны, утеря народом земельных участков. Картина упадка в «Заговоре Катилины» была дана как картина нравственного разложения общества в целом, причем в качестве причин этого разложения выступала борьба абстрактных категорий и победа ambitio и avaritia над virtus. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что в «Заговоре Катилины» подразумевается отнюдь не разложение общества «вообще», а в первую очередь разложение нобилитета и причинами разложения являются не абстрактные категории, а злокозненность нобилитета, развитие которой «доказано» исторически. И, наконец, картина разложения в «Югуртинской войне» и «Историях» снова представляется как картина полного разложения сената и развращенности народа, причем «развращенность» народа сказывается главным образом в его бездеятельности, в его недостаточной политической активности.

На первый взгляд может показаться, что Саллюстий в «Югуртинской войне» и «Историях» выдвигает совершенно новые причины разложения, а именно разрушение Карфагена, уничтожение metus hostilis, с чем теперь связывается каузально

---

[1] Cic., de rep., I, 26, 42—32, 48; 42, 65—43, 67; ср. 35, 54; 40, 62—41, 64; 45, 69.

[2] См. стр. 164—165.

упадок нравов в Риме. Такой точки зрения придерживается, например, В. Шур[1].

Но это, конечно, не так. Для Саллюстия все эти факты внешней истории Рима имеют значение лишь как «корректив» к его теоретическим положениям. Разрушение Карфагена и уничтожение metus hostilis отнюдь не причины разложения, а лишь своеобразный катализатор, убыстряющий процесс разложения. Саллюстий в своих последних произведениях, как и в «Заговоре Катилины», стоит на той точке зрения, что основной причиной разложения римского общества является злокозненность нобилитета. Но поскольку Саллюстий уже в «Заговоре Катилины» исторически «доказал» развитие этой злокозненности, т. е. выставил положение о врожденности ее нобилитету — мысль, которая получает свое окончательное выражение в «Историях»,— постольку ему было необходимо ввести некоторый корректив в изображение картины упадка общества. Ибо, если злокозненность нобилитету врождена, так почему же она начинает проявляться и влиять на разложение общества только с определенного периода? И Саллюстий поступает так: во-первых, он сгущает краски в своих исторических экскурсах и дает гораздо более мрачное изображение римской истории (сужение рамок «золотого века», борьба сословий, смуты и междоусобицы), во-вторых, разрушение Карфагена и уничтожение metus hostilis он ставит в причинную связь с разгулом пороков в римском обществе. Эти пороки существовали исстари в среде продажного и развращенного нобилитета, но до поры до времени они сдерживались в определенных границах наличием metus hostilis. Разрушен Карфаген, исчез metus hostilis, и вот все эти пороки, lubidines, ничем уже не сдерживаемые, хлынули широким потоком. Следовательно, разрушение Карфагена лишь способствовало проявлению врожденной испорченности нобилитета.

Итак, основной причиной, обусловливающей разложение общества, для Саллюстия попрежнему является злокозненность нобилитета, врожденность нобилитету губительных пороков: ambitio и avaritia.

Бросается в глаза еще одно чрезвычайно характерное обстоятельство, свидетельствующее о расширении «демократической платформы» Саллюстия. Вплоть до «Историй» Саллюстий во всех своих произведениях обрушивается на продажный и развращенный римский нобилитет, но к древнеримской аристократии, к patres, у него отношение совсем иное[2]. В «Историях» Саллюстий впервые выступает и против patres, изобра-

[1] W. Schur, ук. соч.
[2] Sall., Epp., II, 5; 10; Iug., 41, 2.

жая историю Рима как историю извечной борьбы народа против угнетавшей его аристократии. Изменение отношения Саллюстия к patres, несомненно, обусловлено его полным разочарованием в авторитете сената.

Здесь, кстати, чрезвычайно уместно будет указать и на то, какую характерную эволюцию проделывает отношение Саллюстия к трибунской власти. Если в «Заговоре Катилины» отношение Саллюстия к трибунату остается еще достаточно неопределенным (он, в частности, указывает, что после восстановления трибунской власти в полном объеме в 70 г. она нередко использовалась честолюбивыми людьми в личных целях)[1], то в «Историях» отношение к трибунату совершенно иное. Еще более примечательна в этом смысле характеристика трибунской власти как власти, созданной предками для справедливой защиты прав народа. Эта характеристика трибуната вложена в «Историях» в уста Лепиду[2].

В заключение следует подвести общие итоги и ответить на некоторые вопросы, которые имеют определенное значение для понимания и оценки всего пути развития Саллюстия. Таков, в первую очередь, вопрос о «политическом идеале» римского историка и о том влиянии, какое оказало на этот «идеал» констатированное выше изменение его политических убеждений и симпатий.

На первый взгляд может показаться, что политическим идеалом Саллюстия попрежнему остается его старая формула «сенат + народ», которая и обусловливала собой наиболее совершенное государственное устройство. На этот счет снова имеется довольно ясное указание в историческом экскурсе «Югуртинской войны»[3].

Однако подобный вывод был бы слишком поспешным, а потому и неверным. Необходимо обратить внимание на то, что если для Саллюстия периода раннего «Письма к Цезарю» и «Заговора Катилины» «золотой век» обусловливался формой правления[4], то в экскурсе «Югуртинской войны» этого уже нет; здесь форма правления, как нетрудно убедиться, не обусловливает «золотого века» — он обусловлен добрыми нравами и наличием metus hostilis[5]. Такое изменение точки зрения Саллюстия объясняется тем, что теперь его прежний политический идеал уже не «идеал», его формула совершенного государственного устройства уже очень далека от совершенства. Политический идеал Саллюстия терпит крах, и этот крах

[1] Sall., Cat., 38, 1—4.
[2] Sall., Hist., I, 55, 23.
[3] Sall., Iug., 41, 2.
[4] См. Sall., Epp., II, 5; Cat., 6, 7.
[5] Sall., Iug., 41, 2—3.

вызван событиями политической жизни этого периода, которые, в свою очередь, оказали решающее влияние на развитие и изменение взглядов Саллюстия.

Прежде всего следует отметить крайне существенный факт изменения причин, объясняющих для Саллюстия разложение общества. Если для Саллюстия эпохи раннего «Письма к Цезарю» причинами разложения сената и народа, т. е. общества, были такие моменты, как утеря сенаторами чувства достоинства и утеря народом земельных участков, то теперь для Саллюстия причина разложения скрыта в порочном и развращенном нобилитете, захватившем полноту власти в государстве. Губительные пороки ambitio и avaritia, ignavia и superbia врождены нобилитету и в этой врожденной злокозненности нобилитета таится причина разложения римского общества.

Во-вторых, следует отметить не менее существенный факт изменения отношения Саллюстия к сенату. Если Саллюстий периода раннего «Письма к Цезарю» говорил о слабости и разложении сената, то он все-таки еще верил в возможность восстановления прежнего морального и политического авторитета сената путем определенных реформ, которые он и предлагал в своем «Письме». В «Югуртинской войне» и в «Историях» сенат изображается настолько разложившимся, настолько испорченным, что говорить о его возрождении немыслимо. Духом полной безнадежности и разочарования веет от этой картины разложения сената.

И, наконец, в-третьих, следует отметить наиболее замечательный факт, а именно изменение отношения Саллюстия к роли «народа». Если для Саллюстия в период раннего «Письма к Цезарю» народ казался неспособным ad capessendam rem publicam, если народ, сообразно взглядам, развиваемым в «Письме», должен был повиноваться сенату, как тело душе, то теперь Саллюстий выступает с учением о суверенном положении народа в государстве. Уже в «Югуртинской войне» народ показан как единственный фактор спасения государства, и показ этой выдающейся роли народа, как подчеркивает сам Саллюстий, есть основная задача его работы[1]. В «Историях» Саллюстий, как указывалось выше, своеобразно истолковывает учение о суверенном положении народа, лежавшее в основе римского государственного права. Столь замечательное изменение отношения Саллюстия к роли народа объясняется тем, что теперь для него народ является той единственной, реальной силой, которая: а) может противостоять нобилитету, толкающему Римское государство в пропасть, б) может быть обращена на великое дело реституирования общества и в) яв-

[1] Sall., Iug., 5, 1—2.

ляется единственной общественной силой, способной ad capessendam rem publicam.

Отмеченные серьезные сдвиги в политических воззрениях римского историка не могли не повлиять на его представление о лучшем государственном устройстве, несмотря на философскую сублимированность этого представления.

Из идеальной схемы Саллюстия «сенат + народ» выпадает первое звено, так как оно оказалось прогнившим насквозь, так как оно окончательно дискредитировано. Идеалом же государственного устройства для Саллюстия теперь является такая форма, которая может обеспечить суверенное положение, приоритет народа в государстве.

Остается еще решить вопрос о том, имеет ли развитие политических воззрений Саллюстия только частный, субъективный характер или его следует рассматривать шире.

В свое время уже говорилось о Саллюстии, как об идеологе тех среднезажиточных кругов, той группировки господствующего класса, которую можно назвать промежуточной прослойкой между нобилитетом и деклассированными низами[1]. В связи с этим было установлено, что политическая «система» Саллюстия, выработанная им еще в период написания раннего «Письма к Цезарю», отражала политические требования и чаяния данной группировки. Вряд ли есть какие-нибудь основания предполагать, что Саллюстий теперь «оторвался» от этой прослойки, от своего классового окружения и пошел каким-то особым, «самобытным» и независимым путем. Гораздо более вероятно предположить, что путь, проделанный Саллюстием, характерен, в общих чертах, и для той классовой группировки, к которой он принадлежал.

Политическая программа, выработанная Саллюстием в раннем «Письме к Цезарю» была охарактеризована выше как «полисный идеал». Выставляя эти политические требования, Саллюстий, а следовательно, и та классовая группировка, идеологом которой он являлся, возлагали свои надежды на Цезаря, бывшего еще вождем populares. Цезарь, с их точки зрения, был единственным политическим деятелем того времени, который мог бы реализовать и воплотить в действительность их «идеал», т. е. возродить Рим, как полис.

Однако деятельность Цезаря и его мероприятия в области внутренней политики (даже еще до завершения гражданской войны) нанесли этим иллюзиям сокрушительный удар. Свидетельством определенной растерянности и, одновременно, разочарования в Цезаре служит позднее «Письмо к Цезарю». Несомненно, что и в нем Саллюстий отразил настроения,

[1] См. выше, стр. 91—93; 151—152.

характерные для представляемой им группировки, а не только свои личные переживания. Это обстоятельство дает основание говорить о зарождении некоей «полисно-демократической» оппозиции внутри цезарианской «партии».

Прослеженный выше путь развития политических воззрений Саллюстия, вплоть до обоснования идеи народного суверенитета, намеченной в «Югуртинской войне» и развитой в «Историях», тоже, очевидно, характеризует эволюцию не только самого римского историка. Это те позиции, к которым неизбежно должны были придти сторонники возрождения демократической полисной республики, если только они оставались верны своей ненависти к сенатской олигархии или, с другой стороны, не желали примириться с «тиранией».

Несомненно, что существовала определенная генетическая связь этой классовой группировки со старой демократической «партией», точнее, с ее умеренным крылом. К умеренному крылу или, лучше сказать, к умеренному направлению следует отнести Гракхов, демократическое движение времени Югуртинской войны, частично Мария, затем Аппулея Сатурнина, Главцию, демократические реформы после смерти Суллы (например, Лициний Макр) и, наконец, деятельность Цезаря в ранний период, в то время, когда он был только вождем популяров.

Это умеренное направление в демократическом движении периода кризиса республики может быть достаточно четко выделено и отграничено как от борьбы низов городского населения (определенные элементы в движении Катилины, движения Клодия, Целия Руфа, Долабеллы), так и от военной демагогии (отчасти Марий, Помпей с 67 г., поздний Цезарь, триумвиры 43 г.). Знаменем этого умеренно-демократического направления была борьба с сенатской олигархией, с нобилитетом и в этом плане, с одной стороны, «расширение прав народа», а с другой — реформа сената в духе мероприятий, намеченных еще в раннем «Письме к Цезарю». Дальше идеала республики, руководимой реформированным и «очищенным» сенатом, т. е. по существу далее возрождения демократического рабовладельческого полиса, идеологи этого умеренного крыла не шли. Отсюда и определенный консерватизм данной группировки: фактически они призывали вернуться к исторически уже пройденному этапу в развитии римского государства. Причем, следует подчеркнуть, что если лозунг борьбы с сенатской олигархией сближал их с цезарианцами, то дальнейшие пункты только что изложенной программы как раз являлись тем самым, что их отдаляло от Цезаря и превращало в «полисно-демократическую» оппозицию внутри цезарианской партии.

Как указывалось выше, внутриполитическая деятельность Цезаря за 49—46 гг. и даже самое направление его деятель-

ности не могли дать представителям упомянутой группировки надежд на то, что их основные требования будут удовлетворены. Тем более в период единовластия Цезаря эти среднезажиточные слои римского населения[1], эти круги умеренной демократии оказались вовсе оттесненными от руководства государственными делами. Они не могли примкнуть к антицезарианскому лагерю, т. е. к лагерю сенатской олигархии, которому они были искони враждебны, но они и не стали настоящей опорой нового режима. Так они превратились в оппозиционную силу внутри цезарианской партии, и поэтому разочарование в Цезаре выросло вполне закономерно и не только у Саллюстия, но и среди той общественной группировки, идеологом которой он являлся.

Положение мало изменилось и после смерти Цезаря. Если после убийства «тирана» эти слои, как о том свидетельствует Цицерон[2], в подавляющем большинстве оказались на стороне заговорщиков-республиканцев, хотя последние, как известно, принадлежали к лагерю сенатской аристократии, то отрезвление наступило очень быстро. Восстановление могущества сенатской олигархии толкало представителей умеренной демократии к новому сближению с цезарианцами. Но трагичность их положения состояла в том, что слияния с цезарианцами не могло произойти, поскольку те и другие стремились фактически к совершенно различным целям: одни — к восстановлению полиса, другие по существу — к полному его уничтожению. К тому же истинной опорой триумвиров была армия, которая к этому времени уже стала единственной решающей силой, вследствие чего триумвиры почти не нуждались в демократических кругах римского населения в качестве своей социальной опоры.

Примечательно, что сам Саллюстий и некоторые другие видные цезарианцы занимают в это время позицию абсолютного невмешательства в политическую жизнь. Правда, вполне возможно, что триумвиры относились к Саллюстию благосклонно: обличение им нобилитета в «Югуртинской войне» и в «Историях» было им наруку. Однако хотя Саллюстий, как известно, и не пострадал во время проскрипций, но, бесспорно,

[1] Необходимо подчеркнуть, что речь идет именно о римских среднезажиточных кругах населения. Италийская муниципальная знать стояла на стороне Цезаря, и мероприятия, им проводившиеся (например, lex Iulia municipalis) были для нее благоприятны. Самое перерождение полиса в империю, наметившееся при Цезаре, также было для нее приемлемо, поскольку оно оттесняло от управления государством население города Рима, но шире, чем когда-либо, открывало дорогу в сенат представителям муниципальной знати; достаточно вспомнить положение этой знати при Августе. Римские же среднезажиточные слои населения от всего этого только теряли!

[2] Cic., ad. Att., XIV, 6, 2.

что вакханалия налогов и поборов, сопровождаемая безудержным террором против состоятельных людей, могла вызвать у него, в лучшем случае, настороженно-выжидательное отношение, а многие из его окружения, очевидно, с сожалением вспоминали некогда ненавистную для них «тиранию» Цезаря[1].

Что касается учения Саллюстия о суверенном положении народа в государстве, то, хотя, конечно, трудно сказать, насколько оно типично для всей общественной группировки, охарактеризованной выше, однако идея «народного суверенитета», как средство идеологической борьбы с сенатской олигархией, была вполне приемлема в тот период даже для триумвиров. Как Цезарю в свое время было выгодно, чтобы его программа толковалась достаточно широко и неопределенно (см. «Письма» Саллюстия), так и теперь триумвиры ничего не имели против того, чтобы противопоставить своему основному врагу, т. е. сенатской олигархии — на словах — «суверенный народ», а на деле — армию, которая очень хорошо и удобно подставлялась в качестве реальной величины в этот демократический, но уже лишенный какого-либо реального содержания лозунг.

Из вышесказанного ясно, насколько различны по своему существу были политические идеи и цели триумвиров и «полисно-демократической» оппозиции. Если триумвиры установили антисенаторскую военную диктатуру, а затем Октавиан сделал попытку «примирить», консолидировать все группировки господствующего класса, чем и был открыт прямой путь к победе нового политического режима, то, напротив, «полисный идеал» демократической оппозиции в этих условиях был нереален, оторван от действительности, обращен в прошлое и мог лишь характеризовать внутреннюю слабость римской «полисной» демократии в это трагическое для нее время.

Таков путь развития политических воззрений Саллюстия. Так устанавливается связь между «эволюцией» Саллюстия и изменением классовых позиций той общественной группировки, идеологом которой он являлся, а следовательно, и общественная значимость его политических воззрений. Изучение их дает возможность проследить в области политических идей одну из характерных тенденций социально-политической борьбы в Риме, которая была определена как тенденция «демократическая», как тенденция, отраженная в лозунге борьбы за «партийные» интересы. Эволюция политических воззрений Саллюстия вскрывает существенную модификацию этого лозунга на грани гибели республики и утверждения нового политического режима.

---

[1] Dio, XLVII, 15.

# III

## Глава I

## УЧЕНИЕ О СМЕШАННОЙ ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА И ЕГО КЛАССОВАЯ СУЩНОСТЬ

Учение о смешанной форме государственного устройства играло определенную и весьма заметную роль в политических теориях древности. Оно возникло в качестве составной части этих теорий еще у древнегреческих мыслителей (в частности, у пифагорейцев, Платона, Аристотеля) и получило свое развитие в политико-философских концепциях представителей эллинистической (например, Полибий) и римской идеологии. Важное место занимает оно и в сочинении Цицерона «De re publica».

Это учение и, в частности, соответствующие воззрения Цицерона не раз служили предметом внимания буржуазной историографии[1]. Однако буржуазные историки проявляли к этому вопросу односторонний и специфический интерес. Их занимала главным образом проблема источников или формальная сторона учения о смешанном государственном устройстве, тогда как его классовая сущность оставлялась в тени.

В действительности же концепция смешанного государственного устройства имела в политических системах Платона и Цицерона вполне определенный классовый смысл. Это было глубоко реакционное учение, характерное для идеологии господствующих слоев рабовладельческого общества. Его следует понимать как попытку правящего класса, т. е. крупных рабовладельцев и землевладельцев, в период кризиса рабовладельческого общества идеологически обосновать отказ от

[1] См., например, E. Ciaceri, Cicerone e i suoi tempi, т. I, 1939—XVII; т. II, 1941—XIX; V. Pöschl, Römischer Staat und griechisches Staatsdenken bei Cicero, Brl., 1936; H. Eulenberg, Cicero, Brl., 1932, и т. д.

демократического устройства и найти «теоретическое оправдание» своего безраздельного господства. Особенно наглядно эту тенденцию можно проследить путем анализа учения о смешанной форме государственного устройства в той интерпретации, какую оно получает у Цицерона.

Центральной идеей того раздела сочинения Цицерона «De re publica», который сам автор определял как раздел, посвященный вопросу de optimo statu civitatis[1], является учение о смешанной форме правления. Наиболее развернутое определение этой формы, как составленной из трех простых, Цицерон дает в конце первой книги «De re publica». Он говорит, что из трех простых форм наилучшей является, по его мнению, царская, царскую же форму превосходит такая, которая будет равномерно и в правильных пропорциях сочетаться из трех лучших форм общественного устройства[2]. Здесь же поясняется, какие именно начала должны войти в качестве компонентов в эту смешанную форму, как они должны сочетаться друг с другом и взаимно умерять друг друга: желательно, чтобы в государство входило нечто выдающееся и свойственное царской власти, а также нечто характеризующее авторитет правления первых людей в государстве и нечто свойственное контролю над делами по воле и усмотрению масс[3]. Преимуществами этого смешанного устройства являются, во-первых, некое великое равенство (aequabilitas magna), которое едва ли может быть продолжительное время уделом простых форм государственного устройства, а затем — прочность (firmitudo), тоже такое свойство, которым едва ли могут похвалиться простые формы, слишком легко вырождающиеся in contraria vitia. Для смешанных форм подобное вырождение почти исключено (оно может иметь место лишь при каких-то особых пороках правителей!), «ибо нет причины для переворота там, где каждый прочно занимает свое место, и нет формы, в которую она могла бы

[1] Cic., ad. Qu. fr., III, 5, 1.

[2] Cic., De rep., I, 45, 69; «quod ita cum sit e tribus primis generibus longe praestat mea sententia regium, regio autem ipsi praestabit id, quod erit aequatum et temperatum ex tribus optimis rerum publicarum modis», «[а] если это так, из трех первоначальных видов государственного устройства наилучшим является, по моему мнению, царская власть, самое же царскую власть превосходит такая [форма правления], которая соединяет элементы трех наилучших видов государственного устройства, уравнивая и умеряя [их крайности]».

[3] Там же: «placet enim esse quiddam in re publica praestans et regale, esse aliud auctoritati principum partitum ac tributum, esse quasdam res servatas iudicio voluntatique multitudinis», «итак, необходимо, чтобы в республике было нечто выдающееся и напоминающее царскую власть, было [также и] нечто другое уделенное и предоставленное авторитету первых [по положению в государстве] людей, и, наконец, чтобы некоторые дела были оставлены суждению и воле большинства».

выродиться»[1]. Однако к этому развернутому определению смешанного государственного устройства Цицерон подходит далеко не сразу. Значительная часть первой книги посвящена сравнительному описанию простых форм.

Необходимо прежде всего проследить, как развивается рассуждение Сципиона о государстве, составляющее основное содержание первой книги. После предварительных замечаний относительно названия (res publica=res populi), рассмотрения проблемы возникновения (в силу природного социального влечения) и определения существа res publica (совокупность людей, связанных воедино общностью правосознания и интересов), причем эти соображения даны весьма кратко, Сципион переходит к определению основных типов государственного устройства. Им устанавливаются три простых формы: монархия или царство (regnum), аристократия (civitas optimatium arbitrio regi dicitur) и демократия (civitas popularis)[2]. Ни одна из этих форм не считается Сципионом совершенной, он считает их только терпимыми[3], усиленно подчеркивает их недостатки и в особенности тот главный порок, что каждая из этих форм, взятая в отдельности, не имеет устойчивости и легко превращается в соответствующую ей извращенную форму[4]. Так возникают своеобразные циклы и кругообороты сменяющих друг друга государственных форм, от которых застрахована лишь некая четвертая форма государственного устройства, т. е. смешанная из трех уже названных[5].

После этого введения Сципион, казалось бы, должен перейти к определению смешанной формы. Но здесь Лелий обращается к нему с просьбой ответить на вопрос о том, какую из трех уже названных простых форм Сципион считает наилучшей[6]. В середине этого обращения текст обрывается. Сципион, как это явствует из дальнейшего, соглашается, но замечает, что ответ не так прост, поскольку мнения расходятся, и излагает сначала точку зрения сторонников демократии (здесь текст восстанавливается), затем — сторонников правления оптиматов[7], но сам не высказывается ни за, ни против и уклоняется от оценки. Тогда Лелий снова спрашивает его о том, какую же форму из трех названных он одобряет более всего[8]. С оговоркой

---

[1] Cic., de rep., I, 45, 69: «non est enim causa conversionis, ubi in suo quisque est gradu firmiter collocatus et non subest quo praecipitet ac decidat».
[2] Там же, I, 26, 42.
[3] Там же.
[4] Там же, I, 28, 44.
[5] Там же, I, 29, 45.
[6] Там же, I, 30, 46.
[7] Там же, I, 31, 47—34, 53.
[8] Там же, I, 35, 54.

о предпочтении смешанной формы (это, конечно, ослабляет последующее заключение) Сципион говорит о том, что из простых форм он наиболее одобряет царскую (regium)[1]. Затем, с помощью различных примеров и аналогий, он пытается убедить Лелия в правильности этой мысли и снова подходит к вопросу о различных вырождениях простых государственных форм[2], по сравнению с которыми только смешанная форма является устойчивой. Как и в начале диалога[3], необходимость смешанной формы выводится главным образом из факта неустойчивости форм простых. И только после этого Сципион, наконец, дает развернутое определение смешанного государственного устройства и описывает его преимущества[4].

При подобном анализе речи Сципиона явно бросаются в глаза два характерных момента[5], играющих важную конструктивную роль в построении этой речи: а) рассуждение о недостатках чистых форм и вытекающая отсюда необходимость смешанного устройства[6] и б) вставленное по инициативе Лелия описание преимуществ чистых форм с точки зрения их сторонников[7].

Конструктивное значение этих двух моментов в речи Сципиона состоит в том, что они объясняют, почему определению смешанной формы предпосылается описание чистых форм. Благодаря подобному описанию подчеркивается и оттеняется тот факт, что смешанная форма, с одной стороны, свободна от недостатков чистых форм, а с другой — объединяет в себе все их преимущества. Но, вообще говоря, невыгоды и недостатки чистых форм рассматриваются довольно кратко, значительно более подробно обсуждается опасность их постоянной смены[8]. Этим уже подчеркнуто, что главный недостаток простых форм заключается в их неустойчивости. Однако, в противоположность Полибию, для Цицерона это отнюдь не единственный недостаток. Полибий противопоставляет ἀνακύκλησις простых форм прочности Ликургова смешанного устройства[9]. Его критика простых форм исходит целиком из этого противопоставления, в то время как у Цицерона она все же увязана с представлением о нравственных основах государства. Для Цицерона смешанное государственное устройство прежде всего

---

[1] Cic., de rep., I, 35, 54.
[2] Там же, I, 42, 65 слл.
[3] Там же, I, 26, 44—29, 45.
[4] См. выше, стр. 162.
[5] V. Pöschl., ук. соч., стр. 11.
[6] Cic., de rep., I, 26, 42—29, 45; 41, 64.
[7] Там же, I, 30, 46—41, 64.
[8] Там же, I, 28, 44—29, 45; 42, 65—44, 58.
[9] Polyb., VI, 5—9.

является единственным, которое выражает (в области социальной и политической!) идею справедливости[1].

Что касается установки всего рассуждения: utramque partem disputare, то она вообще чрезвычайно характерна для Цицерона, и здесь, очевидно, прав В. Пёшль, который отмечает, что если то относительное значение, которое установлено для чистых форм, не дает Сципиону повода критически исследовать эти формы, то зато возникает возможность предоставить слово самим заинтересованным сторонам, изложить все мнения за и против и предпочесть живое воздействие прямой речи — речи косвенной[2]. Цицерону, который особенно тяготел к академическому скепсису, свойственно стремление показать различные аспекты одной и той же проблемы, высказать даже чуждые ему воззрения и не торопиться с собственными выводами[3]. В данном же случае этот прием особенно удобен для Цицерона, ибо он дает возможность показать, как легко найти аргументы и за и против в отношении любой чистой формы, подчеркнув, таким образом, еще раз отсутствие в них совершенства. «Однозначное» решение проблемы государственного устройства дает лишь смешанная форма, точнее говоря, — римская смешанная форма[4].

Таковы основные тенденции речи Сципиона, прилагающего идею о смешанном государственном устройстве к римской конституции. Быть может, не случайно Цицерон вкладывает изложение этой теории в уста Сципиона, в кружке которого подобные вопросы, как это видно хотя бы из политических воззрений Полибия, несомненно дебатировались. Необходимо рассмотреть источники этого учения.

Как уже указывалось выше, учение о смешанной форме правления разрабатывалось еще греческой философской мыслью. В известной работе Вехова[5], которая в значительной своей части сохраняет интерес и значение по сей день, дан широкий обзор этих высказываний. Так как знакомство с ними может оказаться полезным для некоторых дальнейших выводов, то следует использовать этот обзор при рассмотрении данного вопроса.

Фрагменты из сборника Иоанна Стобея свидетельствуют о том, что идея смешанной формы правления разрабатывалась греческими философами еще до Платона и Аристотеля. Так, например, Архит говорил, что «наилучшее государственное устройство должно состоять из соединения всех других

[1] См. V. Pöschl, ук. соч., стр. 14.
[2] Там же, стр. 16.
[3] См. выше, стр. 153.
[4] См. V. Pöschl, ук. соч., стр. 16—17.
[5] С. Вехов. Сочинения Цицерона «О государстве», СПб., 1882.

политических форм, должно заключать отчасти демократию, отчасти олигархию, монархию и аристократию»[1].

Более широкое развитие это воззрение получает в сочинении о государстве пифагорейца Гипподама: «Законы особенно будут прочны в том случае, если государство имеет характер смешанный и составлено из всех других форм государственного устройства». И далее автор довольно подробно объясняет выгоды сочетания этих «других форм», т. е. царской власти, аристократии и демократии[2].

У Платона нет развернутого определения смешанной формы, но в «Законах», где идет речь о различных формах правления, имеется следующее, правда довольно беглое, указание: «Мы должны сказать, что есть еще и третья форма государственного устройства, в которой заключаются все виды и случаи остальных форм»[3].

Аристотель уже является сторонником учения о смешанной форме и высказывается на эту тему более определенно: «некоторые полагают, что лучшее государственное устройство — смешанное из всех форм. Поэтому они хвалят политическое устройство Лакедемона». Далее он говорит: «итак, кто думает, что следует соединять различные формы государственного быта, рассуждает правильнее, ибо государственное устройство, сложенное из многих других, действительно лучше»[4].

К числу государств, в которых этот принцип нашел себе практическое применение, Аристотель относил, кроме Лакедемона (монархический элемент — цари, аристократический — герусия, демократический — эфоры), также Крит[5] и Карфаген[6]; даже законодательство Солона он считал не чуждым этого принципа[7].

К римской конституции, для ее характеристики и для объяснения причин величия Рима, учение о смешанной форме было впервые применено Полибием. Он тоже отмечает достоинства лакедемонской конституции, учрежденной Ликургом, который, понимая, что «всякий вид государственного устройства, простой и опирающийся на одну силу, опасен»[8], соединил все достоинства лучших политических форм воедино, «чтобы ни один из элементов государственной власти не мог склониться к свойственному ему пороку, чрезмерно усилившись, но чтобы

---

[1] См. С. Вехов, ук. соч., стр. 57.
[2] Stob., Flor., стр. 251.
[3] Plato, Legg., III, 681d.
[4] Arist., Pol., II, 3, 10.
[5] Там же, II, 3, 11.
[6] Там же, II, 7, 1—8.
[7] Там же, II, 8, 1—9.
[8] Polyb., VI, 10.

государство, уравновешенное одинаковыми тяжестями, существовало как можно долее»[1].

К той же цели, по мнению Полибия, направлено и римское государственное устройство, «самое лучшее из всех, какие были на нашей памяти»[2], в котором три простые формы соединены с необычайным искусством (монархический элемент — консулы, аристократический — сенат, демократический — комиции), и ни одной из них не отдается видимого предпочтения[3].

Таков краткий обзор высказываний греческих авторов по вопросу о смешанном государственном устройстве. Из них, если говорить об источниках Цицерона в «De re publica», следует, очевидно, назвать, в первую очередь, Платона[4] (что неоднократно подчеркивает сам Цицерон) и Полибия[5]. Можно еще предположить влияние Дикеарха, который со времен Озанна[6] считается также одним из творцов теории смешанного устройства, хотя следует заметить, что известное место из Фотия, на которое более всего опирался Озанн, едва ли может быть приписано Дикеарху без новых доказательств[7] и поэтому, пожалуй, осторожнее принять точку зрения Виламовица, который хотя и допускает возможность и вероятность влияния Дикеарха, но говорит вместе с тем, что определенно доказать это едва ли возможно[8].

Но особенно важным и интересным представляется вопрос о Платоне как источнике «De re publica». При этом характер влияния Платона представляется чрезвычайно своеобразным и отражает, повидимому, скрытую полемику и даже «борьбу» Цицерона со своими источниками, которая доказывается ярче всего именно на этом примере (т. е. на характере влияния Платона).

Влияние Платона на учение о смешанном государственном устройстве, изложенное в «De re publica», отнюдь не исчерпывается указаниями самого Цицерона на это влияние. Скорее, наоборот, оно может быть вскрыто и показано наиболее ярко в тех разделах и на тех звеньях государствоведческой теории Цицерона, где оно явилось безотчетным и едва ли сознавалось

---

[1] Polyb. VI, 10.
[2] Там же., VI, 11.
[3] Там же.
[4] См. V. Pöschl, ук. соч., стр. 37.
[5] См. F. Taeger, Die Archaeologie des Polybios, Stuttg., 1922, стр. 1—11.
[6] F. Osann, Beiträge zur griechischen und römischen Literaturgeschichte, II, 1839.
[7] См., например, основательные возражения Egermann'a, Die Proömien zu den Werken des Sallust, SWAW, 1932, Phil.-hist. Klasse, 214 B, 3 Abth., стр. 61 слл.).
[8] U. Wilamowitz-Möllendorff, Glaube der Hellenen, II, стр. 17 слл.

самим Цицероном. Так, например, есть все основания говорить о влиянии третьей книги «Законов» на цицеронову теорию смешанного устройства.

Основная задача третьей книги «Законов» состоит в том, чтобы определить существо и форму ἀρίστη πολιτεία [1]. На ошибках, которые имеются в конституциях исторических государств, следует учиться тому, как должна быть сконструирована эта ἀρίστη πολιτεία [2]. Этот тезис пронизывает обзор системы трех «монархий»: Спарты, Мессении, Аргоса, а также Персидской державы, как наиболее типичной монархии, и Афинского государства, как наиболее типичной демократии [3]. В качестве ἀρίστη πολιτεία признается лишь смешанное устройство Спарты, которая в противоположность всем перечисленным выше одна только и сохраняет μέτριον, т. е. истинную меру, правильное смешение [4].

Затем показываются «прототипы» основных государственных устройств в их наиболее чистом выражении и их развитии: персидская монархия и афинская демократия,— как на вершине своего расцвета, так и в периоды кризиса. Этим как бы подчеркивается, что каждое государство в какой-то мере соприкасается с этими двумя чистыми формами: монархией и демократией, если только «свобода и дружба в союзе с разумом» воплощены в государственной жизни. Это должно означать, что демократический элемент, т. е. ἐλευθερία, и монархический элемент — видимо, φιλία или φρόνησις, всегда должны быть налицо. Афины и Персидское государство процветали до тех пор и были могущественны, пока в них осуществлялись ἐλευθερία, φιλία, φρόνησις, но как только исчезла μετριότης и наступило господство крайностей, сразу же начался упадок этих государств [5].

Хотя из вышеприведенных рассуждений Платона остается не совсем ясно, как из сочетания «чистых форм» может получиться искомая «смешанная» государственная форма, но тем не менее идейное воздействие этой платоновой схемы на Цицерона не вызывает сомнения. Правда, Цицерон далеко не во всем следовал Платону. Вместо двух чистых форм, из которых Платон в «Законах» выводит все остальные типы государственного устройства, Цицерон вслед за перипатетиками и Полибием

---

[1] Plato, Legg., III, 701e.

[2] Там же, III, 683b.

[3] Платон признает лишь две чистые формы—монархию и демократию. Что касается аристократии, то, хотя Платон прямо об этом не говорит, она рассматривается, повидимому, как одна из смешанных форм (Legg., III, 693d), причем скорее сближается с монархией (III, 681d).

[4] Plato, Legg., III, 692—693.

[5] Там же, III, 701e.

принимает три формы. По этим трем формам Цицерон распределяет три «государственных элемента» платоновых «законов». В политической теории, которая положена в основу проанализированной выше речи Сципиона, подчеркивается, что смешанное устройство предполагает не только сочетание чистых форм, в смысле объединения монархического, аристократического и демократического элементов, но и сочетание тех достоинств, которые по отдельности заключены в чистых формах. Чрезвычайно любопытно, как эти три элемента—φιλία, φρόνησις, ἐλευθερία—распределены между тремя чистыми формами в «De re publica». Здесь говорится: «так, м и л о с т ь ю нас привлекают цари, р а з у м о м — оптиматы, с в о б о д о й — народы, так что при сравнении трудно выбрать, что бы ты более всего хотел»[1]. Разница состоит лишь в том, что платоновы «государственные элементы», которые у самого Платона отнюдь не связываются определенно с тем или иным видом государственного устройства и скорее даны в виде предпосылок к «оптимальным вариантам» государственных форм, у Цицерона, наоборот, точно распределены по чистым формам: φιλία отнесена к монархии, φρόνησις — к аристократии, ἐλευθερία — к демократии. Но, как бы то ни было, три «государственных элемента» Платона невольно приходят на ум в связи с тремя «чистыми формами» и выводимой отсюда в «De re publica» теорией смешанного государственного устройства.

Вполне вероятно, что подобные примеры заимствований у Платона без упоминания источника, а возможно, и сделанных бессознательно, могут быть значительно увеличены. Однако не наличие этих примеров характерно для принципиальных, «сознательных» установок трактата Цицерона, но как раз иная и более мощная струя, свидетельствующая о том направлении, которое было уже определено как полемика и «борьба» с источником.

Даже вышеприведенный пример заимствования у Платона может быть использован для доказательства наличия существенных расхождений с Платоном, когда идет речь о принципиальных установках автора «De re publica». Платон начинает изложение теории государства с проблемы справедливости, Цицероном же эта проблема вводится как «дополнительная». Коренное и принципиальное отличие от Платона как раз состоит в том, что «извечная справедливость» не связывается в «De re publica» с какой-либо государственной формой или строем, формы сами по себе индифферентны и становятся справедливы или несправедливы в зависимости от качеств носителей власти.

[1] C i c., de rep., I, 35, 55: «ita c a r i t a t e nos capiunt reges, c o n s i l i o optimates, l i b e r t a t e populi, ut in comparando difficile ad eligendum sit quid maxime velis». (Разрядка везде наша.— *С. У.*)

Целиком в этом плане построено только что приведенное рассуждение Цицерона[1], ибо caritas является свойством носителя власти, а отнюдь не заложена в самой форме, как, впрочем, и consilium и даже в какой-то степени libertas. Подобная же точка зрения развивается даже при определении преимуществ смешанной формы государственного устройства, где говорится, что ее вырождение невозможно sine magnis principum vitiis[2].

Хотя сам Цицерон и ссылается на то, что его учение о переходе чистых форм в contraria vitia заимствовано у Платона[3], но изложение процесса и причин вырождения существенно отличается от платоновой схемы. У Цицерона, собственно говоря, нет определенной закономерности в развитии форм и смены их друг другом. Вообще, по Цицерону, простые формы «прыгают как мячи» и только смешанная форма, как уже неоднократно упоминалось, является наиболее устойчивой и в ее рамках возможно осуществление истинного равенства, т. е. равенства по достоинству.

Принципиально различным оказывается и общее представление о государстве. В отличие от идеального государства «Законов», которое имеет абсолютную годность, является вечной нормой (хотя, разумеется, оно все же стоит на втором месте после идеального государства «Политии»), совершенное государство Цицерона — это построение, годное лишь для Рима, образец, который связан даже с определенной эпохой. Это совершенно естественно, поскольку один был философом по-преимуществу, а другой — государственным деятелем, один хотел создать идеальное государство вообще, а другой — найти идеальный политический строй для Рима и притом в данный момент, в момент напряженной политической борьбы (51 г.); один имел дело с массой полисов, находившихся в состоянии кризиса, и ему нужно было показать выход, возможный для всех, другому нужен был выход для совершенно конкретного полиса Рима в конкретной обстановке и даже с конкретными политическими деятелями (с этим, в частности, связан вопрос, кого имел в виду Цицерон, когда им описывается rector et moderator rei publicae,— Помпея или самого себя). Государство Платона — это идея, государство Цицерона закреплено в истории и природе, оно исторически существует, это — Римское государство. Исходя из посылки res publica=res populi, Цицерон рассматривает развитие и смену простых форм не вообще, но на примере именно римской истории. Основным пороком простых форм является их неустойчивость, их недол-

---

[1] Cic., de rep., I, 35, 55.
[2] Там же, I, 45, 69.
[3] Там же, I, 42, 66 слл.

говечность и только смешанная форма может считаться стабильной, причем эта стабильность поднимается Цицероном до провозглашения вечности организованного подобным образом государства: «ибо должно, чтобы организованная таким образом гражданская община была вечной»[1] или: «я беспокоюсь за это бессмертие республики, которая могла бы быть вечной, если бы жила по отеческим установлениям и обычаям»[2]. Последнее воззрение является «типично римским» и нашло свое дальнейшее развитие у Вергилия[3], Горация[4] и, по свидетельству Светония[5], у самого Августа.

И, наконец, даже форма диалога, несмотря на ее внешнюю зависимость от соответствующего обрамления другого политического трактата — «Политии» Платона, на самом деле глубоко полемична и заострена против Платона. Здесь все и с явным вызовом переделано на «римский лад». У Платона диалог происходит на празднике фракийской богини в доме человека, не являющегося даже гражданином Афин, у Цицерона — во время feriae Latinae, в доме первого гражданина и политического вождя Сципиона. Таким образом, весь диалог получает иную (и «чисто римскую») окраску. И если Платон заключает свое произведение апофеозом, в котором выступает некий воин, павший в бою и очнувшийся от десятидневной очевидной смерти, то Цицерон дает в заключение диалог римских героев, образцовых мужей, и мотивировкой введения этого диалога является не «десятидневная смерть», а вполне правдоподобный вариант сна. У Платона его произведение кончается апофеозом философа, у Цицерона — апофеозом государственного деятеля.

И вообще все то, что в «Somnium» восходит к греческим образцам, все переделано на «римский лад», и потому, вместо погони за греческими прототипами, может быть, имеет смысл обратить большее внимание на удельный вес и принципиальное значение этих специфически римских элементов.

Если все приводимые места являются до известной степени как бы «скрытой полемикой», то не следует забывать, что в «De re publica» имеются и прямые выпады против Платона (кстати сказать, с весьма примечательным присоединением к позициям Катона): Цицерон считает, что он легче может следовать предложенной теме, показав Римское государство

---

[1] Cic., de rep., III, 23, 34: «debet enim constituta sic esse civitas ut aeterna sit».

[2] Там же, III, 29, 41: «de illa immortalitate rei publicae sollicitor, quae poterat esse perpetua, si patriis viveretur institutis et moribus».

[3] Verg., Aen., I, 269.

[4] Hor., Carm., III, 5; 30.

[5] Suet., Aug., 11, 21.

в стадии его зарождения, роста, созревания и, наконец, укрепления и мощи, чем если он будет рассуждать о некоем измышленном образце, как, например, Сократ у Платона[1].

Чрезвычайно существенным для выяснения политических воззрений Цицерона оказывается следующее наблюдение: изложение развития и смены простых форм на конкретном примере римской истории во второй книге «De re publica» перерастает в явную полемику с греческими «образцами», в противопоставление Римского государства и его истории — государству и истории греческой. Уже в самом начале второй книги чрезвычайно симптоматично выглядит апология Катона, этого «истого римлянина», заклятого врага всех иноземных flagitia, в котором персонифицированы древнеримские добродетели[2]. Затем, со ссылкой на него же, приводится рассуждение о преимуществах устройства Римского государства по сравнению с государственными устройствами Крита, Спарты и Афин, создававшимися благодаря законам и учреждениям, которые были введены отдельными государственными деятелями. И далее говорится: «наша же республика организована не гением одного, но многих, не на протяжении одной человеческой жизни, но в течение нескольких веков и поколений»[3]. Рассуждение завершается новой ссылкой на Катона (о необходимости изучения origo populi) и уже приводившимся выше прямым полемическим выпадом против Платона[4].

Несомненно, полемический характер носит и рассуждение о выборе места для основания города. Здесь чувствуется стремление противопоставить Рим греческим приморским полисам, т. е. наиболее типичной разновидности греческих государств[5]. Через все рассуждение красной нитью проходит мысль о необходимости diuturnam rem publicam serere[6], несомненно близко перекликающаяся с убежденностью Цицерона в вечности Римского государства.

Не менее полемично противопоставление выборной царской власти, существовавшей, по мнению Цицерона, у древних римлян, воззрениям Ликурга, который якобы настаивал на том, что цари не могут быть выбираемы, поскольку они должны принадлежать к роду, ведущему свое происхождение от Геркулеса[7].

---

[1] Cic., de rep., II, 1, 3.
[2] Там же, II, 1, 1.
[3] Там же, II, I, 2: «nostra autem res publica non unius esset ingenio, sed multorum nec una hominis vita, sed aliquot constituta saeculis et aetatibus».
[4] Там же, II, 1, 3.
[5] См. выше, стр. 9—10.
[6] Cic., de rep., II, 3, 5—6.
[7] Там же, II, 12, 24.

И, наконец, одним из наиболее ярких примеров полемики с греческими образцами и одновременного восхваления римской самобытности может служить отрицание Сципионом (путем сопоставления хронологических данных) той версии, что Нума Помпилий был учеником Пифагора или хотя бы его последователем. Это рассуждение заключается чрезвычайно ярким и выразительным пассажем, который невольно ощущается (хотя здесь нет никакой ссылки) как цитата или переложение высказываний Катона: «и, однако, я легко примиряюсь с тем, что мы просвещены не заморскими и не ввезенными [к нам] науками и искусствами, но врожденными и отечественными добродетелями»[1].

Подобные примеры политических высказываний Цицерона, несомненно, могут быть увеличены в числе[2], но, пожалуй, вполне достаточно и вышеприведенных для того, чтобы общая тенденция этой полемики стала в достаточной степени ясна.

Таково учение Цицерона о смешанном государственном устройстве и таковы отношения, в которых стоит Цицерон к источникам этой теории.

Теперь следует перейти к выяснению классовой сущности этого учения. Поскольку здесь не рассматривается вопрос о политических тенденциях трактата в целом, то, не останавливаясь на анализе и оценке отношения Цицерона к чистым формам (что уже, кстати, неоднократно служило предметом исследования)[3], достаточно ограничиться выяснением политического значения и классовой сущности самой теории смешанного государственного устройства.

Несмотря на «полемику» Цицерона со своими греческими источниками и, в первую очередь с Платоном, учение о смешанной форме государственного устройства, как уже подчеркивалось выше, было заимствовано Цицероном именно из сферы греческой политической идеологии, и с этим фактом нельзя не считаться. Учение о смешанном государственном устройстве играло вполне определенную роль в идеалистической и реакционной системе Платона и, в частности, в его воззрениях на государство. Если классовая сущность теории государства Платона сводилась к оправданию и прославлению разделения труда «...между массой, занятой простым физическим трудом,

---

[1] C i c., de rep., II, 15, 29: «ac tamen facile patior non esse nos transmarinis nec importatis artibus eruditos, sed genuinis domesticisque virtutibus».

[2] Например, C i c., de rep., II, 23, 42—43 и т. д.

[3] См., например, R e i t z e n s t e i n, Die Idee des Principats bei Cicero und August, NGGW, 1917; стр. 399 слл.; H e i n z e, Ciceros Staat als politische Tendenzschift, «Hermes», LIX, 1924, стр. 73—94; С. И. П р о т а с о в а, Трактат Цицерона «О государстве», УЗСУ, VI, 2, 1927, стр. 267—277.

и немногими привилегированными, которые руководят работами, занимаются торговлей, государственными делами, а позднее также наукой и искусством»[1], т. е. того разделения труда, имя которому — рабство, рабовладельческий строй, то учение о смешанном государственном устройстве было проповедью такой формы рабовладельческого государства, которая наилучшим образом обеспечивала и закрепляла подобное «разделение труда». Отсюда и вытекает классовая, рабовладельческая сущность теории смешанного государственного устройства.

Не менее ярко выраженный реакционный характер имело и учение Цицерона об этой смешанной форме государственного устройства. Как уже было отмечено, буржуазная наука вовсе элиминирует вопрос о его классовой сущности, сознательно извращая и выхолащивая социальное содержание этого учения. Задачей же данного исследования является анализ классовых корней теоретических построений Цицерона в их связи с основными лозунгами его политической практики. Только таким путем и можно установить, интересам каких социальных групп, каких классовых прослоек отвечали основные положения теории смешанного государственного устройства.

Так как для Цицерона его совершенное государство отнюдь не идеальная норма, но исторический факт, т. е. само Римское государство (разумеется, исправленное в соответствии с пожеланиями Цицерона), то и смешанное устройство, по его мнению, было воплощено в жизнь в истории Рима. Само собой разумеется, как это и характерно для политического мышления древних[2], его воплощение относится к прошлому, к «временам maiores». Так, например, Цицерон, подкрепляя свое мнение ссылкой на авторитет Панетия и Полибия — «двух греков, пожалуй, наиболее искушенных в политических вопросах»[3],— говорит, что наилучшим состоянием общества является такое, какое римлянам оставлено их предками[4]. После наиболее развернутого определения смешанного государственного устройства, изложенного в конце первой книги[5], как раз в том месте, где Сципион отказывается от дальнейших рассуждений отвлеченно-философского характера и переходит к изложению конкретно-исторического материала, им снова подчеркивается, что смешанное устройство для определенного периода истории Рима было реальным фактом[6].

[1] Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, 1951, стр. 170.
[2] См., например, о Саллюстии, стр. 90.
[3] Cic., de rep., I, 21, 34: «duobus Graecis vel peritissimis rerum civilium».
[4] Там же.
[5] Там же, I, 45, 69.
[6] Там же, I, 46, 70.

Необходимо определить этот период. В корне неправильно было бы думать, что Цицерон имеет в виду древнейшие времена: период царей или начало республики. Наоборот, имеются определенные указания на то, что в период правления patres, а тем более царей, положение государства было крайне неустойчивым[1].

Хотя эта точка зрения высказывается как бы сторонниками демократии, однако сам Цицерон, как уже говорилось, неоднократно подчеркивает, что смешанный государственный строй в Риме был установлен постепенно, на протяжении многих поколений и не является творением отдельных законодателей[2].

Вторая книга цицеронова трактата призвана на конкретных примерах римской истории проиллюстрировать основное положение автора о безусловном превосходстве смешанной формы и показать на основе анализа развития простых форм, как и когда сложилось это совершенное устройство Римского государства. Но так как трактат Цицерона полностью не сохранился и одна из лакун как раз относится к тем разделам, где, видимо, излагался период расцвета республики, то во второй книге теперь имеется лишь описание процесса постепенного образования этого совершенного строя на примере двух больших исторических периодов: периода царей и ранней республики (до децемвирата)[3].

Из этого уже с достаточной ясностью вытекает, что совершенный строй Цицерона, это — «сенатский режим эпохи расцвета республики»[4], т. е. строй, созданный и осуществленный maiores до времени гракханских смут, до того, как смерть Тиберия «разделила единый [до того времени] народ на две части»[5]. Таким образом, период претворения в жизнь смешанного государственного устройства можно локализовать довольно точно: это, очевидно, период, установившийся после окончания борьбы патрициев и плебеев и продолжавшийся до выступления Гракхов[6].

Необходимо поставить вопрос о наиболее существенных и характерных чертах рассматриваемого периода. Так как описание его, как уже упоминалось, не сохранилось, то отвечать на этот вопрос приходится, используя лишь косвенные и к тому же довольно скудные данные. И все же подобный ответ вполне возможен.

---

[1] Cic., de rep., I, 32, 49.
[2] См. выше, стр. 172. Ср. Cic., de rep., II, 1, 2; II, 21, 37.
[3] См. С. И. Протасова, УЗСУ, VI, 3, 1927, стр. 271.
[4] Там же.
[5] Cic., de rep., I, 19, 31: «divisit populum unum in duas partis».
[6] Ср. с Саллюстием, см. выше, стр. 81.

Этот ответ вытекает из анализа последующих разделов, однако прежде всего необходимо вернуться к тому краткому и все же наиболее развернутому (по сравнению с аналогичными упоминаниями) определению смешанного устройства[1], о котором говорилось вначале. Цицерон, как уже указывалось, отмечает два основных преимущества смешанной формы: aequabilitas и firmitudo[2]. Относительно второй из этих черт, т. е. устойчивости, уже многое сказано выше[3], теперь же нужно обратить внимание на ту черту, которую Цицерон ставил на первое место, и посмотреть, какой смысл он вкладывал в понятие aequabilitas.

Истинная aequabilitas — это такое равенство, которое существует при смешанном устройстве и которое обеспечивает concordia in civitate. Но равенства в отношении имущественном, а тем более в отношении способностей не может и не должно быть. Если так, то, очевидно, можно и следует говорить о равенстве для граждан лишь в одной области, а именно о равенстве прав. Государство и есть не что иное, как «общность» права[4]. Но Цицерон, конечно, понимает это равенство прав для граждан достаточно своеобразно. Цицероново «равенство прав» предполагает определенную градацию «по достоинству», без этой градации само равенство не является истинным: «однако само [по себе] равенство неравно, так как оно не имеет никаких ступеней достоинства»[5].

При смешанном устройстве эта «градация по достоинству» соблюдается (что, кстати, по мнению Цицерона, немыслимо при демократическом устройстве), и в этом заключается лучшая гарантия устойчивости смешанной формы и невозможности политических переворотов[6].

---

[1] Cic., de rep., I, 45, 69.

[2] Там же: «haec constitutio primum habet aequabilitatem quamdam magnam... deinde firmitudinem», «эта конституция имеет, во-первых, [в себе] некое великое равенство... затем прочность».

[3] См. стр. 162—164.

[4] Cic., de rep., I, 32, 49: «si enim pecunias aequari non placet, si ingenia omnium paria esse non possunt, iura certe paria debent esse eorum inter se, qui sunt cives in eadem re publica. Quid est enim civitas nisi iuris societas?», «ибо, если не должно, чтобы имущества были уравнены, если природные способности всех не могут быть равны, определенно должны быть равны между собой права тех, которые являются гражданами в одной республике. Ибо что такое гражданская община, если не общность права?». Следует оговориться, что хотя в цитируемом параграфе излагаются воззрения сторонников демократии, но со слов «qua re cum lex sit... etc.» Сципион переходит к oratio recta и, очевидно, здесь уже высказываются взгляды самого Цицерона.

[5] Там же, I, 27, 43: «tamen ipsa aequabilitas est iniqua, cum habet nullos gradus dignitatis».

[6] Там же, I, 45, 69. См. выше, стр. 162—163.

Поэтому с явной симпатией относится Цицерон к близкому по мысли рассуждению сторонников демократии (недаром в этом разделе, как уже указывалось, он переходит от косвенной речи к прямой и тем самым как бы присоединяется к изложенным взглядам) о том, что при согласии народа — строй прочен и что в том государстве, где существует общность интересов (utilitatis), обеспечена concordia[1]. Все дело в том, что, по мнению Цицерона, при демократическом образе правления подобное положение долго удержаться не может, тогда как при смешанной форме это вполне возможно и в «общности прав и интересов», в concordia civitatis (populus concors) несомненно наличествует тот «демократический компонент», который Цицерон считает нужным включить в свое смешанное устройство[2].

Вообще concordia in civitate — необходимое условие и важнейший признак совершенного государственного устройства. К этой мысли Цицерон возвращается неоднократно.

Во второй книге содержится чрезвычайно интересное рассуждение о долге и обязанности государственного деятеля. Сципион говорит, что у этого деятеля (руководителя государства) есть, собственно говоря, одна обязанность, которая включает в себя все остальные: никогда не отступать от наблюдения за самим собой, призывать других к подражанию себе и быть для сограждан блестящим образцом в силу величия души и образа жизни. И затем начинается развернутое сравнение гармонии в области музыки и пения с гармонией сословий, с гармонией государственной жизни: «ибо как при игре на кифаре или флейте, как при пении и хорах существует некая гармония, создаваемая правильно подобранными звуками, изменения или нарушения которой не выносит тонкое ухо, но которая, однако, получается столь согласной и стройной из самых различных звуков при соблюдении такта, так и государство, умеренно и разумно управляемое, гармонично связывает воедино самых различных людей из высшего, низшего, среднего и промежуточного сословий. И то, что музыкантами называется в пении гармонией, тем в обществе является согласие, лучший и наиболее совершенный залог прочности любого государства, тем более, что оно никоим образом не может существовать без справедливости»[3].

---

[1] Cic., de rep., I, 32, 49.

[2] Ибо оно и состоит из положительных сторон всех трех чистых форм. См. Cic., de rep., I, 24, 42; 29, 45; 35, 54; 45, 69; II, 23, 41.

[3] Там же, II, 42, 69 «...ut enim in fidibus aut tibiis atque ut in cantu ipso ac vocibus concentus est quidam tenendus ex distinctis sonis, quam immutatum aut discrepantem aures eruditae ferre non possunt, isque concentus ex dissimillimarum vocum moderatione concors tamen efficitur et congruens, sic ex summis et infimis et mediis et interiectis ordinibus ut

Это рассуждение, в котором столь ярко подчеркивается необходимость гармонии сословий, как основы concordia in civitate, перекидывает мост от теоретических построений Цицерона к его политической практике. Оно показывает прежде всего, что учение о смешанном государственном устройстве есть не что иное, как теоретическое обоснование главных пропагандистских лозунгов Цицерона, применяемых им в его практической политической деятельности, и тесно связано с ними. Это — лозунги concordia ordinun и consensus bonorum omnium, которые красной нитью проходят через основной период политической деятельности Цицерона примерно с его консульства и, видимо, являются для него политическим credo и панацеей от всех зол и опасностей, угрожающих «отечеству».

Применение их Цицероном знаменует прежде всего определенный этап в его политической практике. Цицерон, как известно, в начале своей адвокатско-политической карьеры выступал с позиций разоблачителя оптиматов. Не говоря уже о речи за Росция Америна и о речах против Верреса, подобную тенденцию можно вскрыть и в первой политической речи Цицерона, произнесенной в 66 г., речи de imperio Cn. Pompei.

Выдвижение лозунга «согласие сословий» знаменует собой переход на новые политические рельсы: отказ от оппозиции по отношению к нобилитету и стремление к блоку между сенатом и всадниками[1]. Пропаганда этого блока становится одной из основных задач практической деятельности Цицерона-политика. Первое упоминание о возможности блока, о concordia ordinum, дает даже возможность достаточно точно датировать переход Цицерона на эти новые политические рельсы. Он, видимо, совершился в том же, 66 г., в период между выступлением Цицерона за Манилиев закон и речью за Клуенция.

Действительно, в речи pro Cluentio Цицерон впервые говорит о возможности такого блока и уверяет, что лучшая часть сенаторов и всадники, приближающиеся вследствие своего почетного положения к сенаторскому сословию, «желают объединиться теснейшими узами согласия»[2].

Но особенно ярко лозунг concordia ordinum и consensus bonorum omnium подчеркивается и пропагандируется Цицероном в период расцвета его политической карьеры, во время

---

sonis moderata ratione civitas consensu dissimillimorum concinit, et quae harmonia a musicis dicitur in cantu, ea est in civitate concordia, artissimum atque optimum in omni re publica vinculum incolumitatis, eaque sine iustitia nullo pacto esse potest».

[1] См. И. М. Тронский, История античной литературы, 1947, стр. 330; ср. Ciaceri, Cicerone e i suoi tempi, II, стр. 385—388.

[2] Cic., pro Cluent., 55, 152; «concordia coniunctissimos esse cupiunt».

борьбы с Катилиной. Борьба с Катилиной изображается как объединение всех благонамеренных граждан против грозящей государству опасности, как согласие сословий, небывалое со дня основания города.

Уже в заключительных пассажах первой речи против Катилины проводится эта мысль: пусть негодяи удалятся, отделят себя от людей благонамеренных, пусть соберутся в одном месте и пусть, наконец, городская стена отделит их от нас[1]. Окончательный успех в борьбе с Катилиной ставится в зависимость от согласного объединения усилий и «качеств» всех сословий: «я обещаю это вам, говорит Цицерон, отцы-сенаторы, что у наших консулов будет столько бдительности, у вас — столько авторитета, у римских всадников — столько доблести, у всех благонамеренных — такое единодушие, что вслед за отъездом Катилины вы увидите, что все открыто, обнаружено, подавлено, отомщено»[2].

В последней речи против Катилины изображается небывалое объединение всего римского населения (вплоть до рабов!)[3], готового якобы единодушно поддержать сенат в его решении о казни заговорщиков. Здесь говорится о том, что все сословия и все возрасты предлагают свои услуги: «пришли все, люди всех сословий, всех родов, всех, наконец, возрастов»[4].

Впервые со дня основания города произошло такое событие, которое сплотило всех (за исключением тех, кого следует отнести к явным врагам) единством чувств и мнений: «ибо после основания города это дело оказалось единственным, в котором все чувствовали одно и то же»[5].

И дальше идет развернутое апологетическое описание той concordia ordinum, которой охвачены все слои населения, начиная от возродившегося союза между сенаторами и всадниками[6] и вплоть до отношения к заговору отпущенников и даже рабов[7]. Весь этот пассаж заключается суммарным

---

[1] Cic., in Cat., I, 13, 32.

[2] Там же: «polliceor hoc vobis, patres conscripti, tantam in nobis consulibus fore diligentiam, tantam in vobis auctoritatem, tantam in equitibus Romanis virtutem, tantam in omnibus bonis consensionem, ut Catilinae profectione omnia patefacta, inlustrata, opressa, vindicata esse videatis».

[3] Cic., in Cat., IV, 8, 16.

[4] Там же, IV, 7, 14: «omnes adsunt, omnium ordinum homines, omnium generum, omnium denique aetatum».

[5] Там же: «causa est enim post urbem conditam haec inventa sola, in qua omnes sentirent unum atque idem...».

[6] Там же, IV, 7, 15: «quos ex... dissensione huis ordinis [equestris] ad societatem concordiamque revocatos... haec causa coniungit», «которых из... разногласия с этим сословием [всадническим], возвращенных к союзу и согласию..., это дело соединило».

[7] Там же, IV, 7, 15—8, 16.

выводом, в котором снова подчеркивается еще небывалое в политической практике единодушие всего народа: «вы имеете все сословия, всех людей, весь римский народ, что в гражданском деле мы сегодня видим впервые, чувствующими одно и то же»[1].

Успех этого «объединения», совпавший с наибольшим триумфом самого Цицерона как политического деятеля, навсегда окрылил его и с тех пор неизменно оставался для него тем образцом и целью, к которой должно стремиться. В дальнейшем, в совсем иной политической обстановке, в отличных и в корне изменившихся условиях, он тем не менее неустанно продолжает пропагандировать concordia ordinum и consensus bonorum omnium.

Эта мысль подчеркивается им и в его речах по возвращении из изгнания. Так, например, он упоминает о том, что пожертвовал всем ради безопасности и согласия граждан[2], вспоминая о своем «прекраснейшем деянии» (т. е. опять-таки о победе над катилинариями), он не упускает случая подчеркнуть, что совершил его при всеобщем одобрении: «что я с одобрения сената и с согласия всех лучших совершил ради спасения отечества»[3]. Рисуя современное тяжелое положение в государстве, он подчеркивает, что одним из показателей упадка является нарушение согласия сословий (consensus ordinum est divolsus)[4].

Таким образом, «согласие сословий» есть непременное условие и наиболее характерный показатель здоровья и крепости государственного организма, утрата же этого условия свидетельствует о слабости, упадке, разложении республики.

В годы «анархии»[5] и затем в период после смерти Цезаря Цицерон продолжает пропагандировать свои излюбленные лозунги и подчеркивать значение concordia и consensus[6]. В своей речи за Милона, громоздя обвинения против Клодия, он не забывает отметить, что тот «разрушил совершенное благодаря

---

[1] Cic., in. Cat., IV, 9, 19: «habetis omnis ordines, omnis homines, universum populum Romanum,id quod in civili causa hodierno die primum videmus, unum atque idem sentientem».

[2] Cic., p. red. in Quir., I, 1: «...cum me fortunasque meas pro vestra incolumitate, otio concordiaque devovi», «...когда я собой и своими богатствами пожертвовал ради вашей безопасности, покоя и согласия»; ср. p. red. in sen., I, 2; II, 27.

[3] Cic., de domo sua, 35, 94: «quod ex auctoritate senatus consensus bonorum omnium pro salute patriae gessissem».

[4] Cic., de har. resp., 28, 60.

[5] Термин принадлежит самому Цицерону; имеются в виду годы 53—52, на которые не избирались консулы (как известно, Помпей был избран консулом sine collega только в середине 52 г.).

[6] Cic., pro Sest., 12, 27; 14, 36; 50, 106; de prov. cons., 47.

согласию всех сословий ради спасения республики»[1]. В этой же речи он упоминает об опасениях Клодия, что Милон будет избран консулом «summo consensu populi Romani»[2], а восхваляя Публия Лентула и перечисляя его достоинства, он к ним относит и то, что Лентул был «patronus publici consensus»[3].

В трактате «De re publica», писавшемся именно в эти годы (54—51 гг.) и вышедшем в свет уже после речи pro Milone, Цицерон, как было показано, не только пропагандирует излюбленные им политические лозунги, но занят тем, чтобы дать им философско-теоретическое обоснование. Это обстоятельство доказывает со всей очевидностью, что concordia ordinum и consensus bonorum omnium не были для Цицерона только злободневными лозунгами, которые приспособлены к определенной политической ситуации и имеют значение лишь для нее, но теми принципиальными политическими задачами, той целью, к которой следует стремиться в любой обстановке.

И, наконец, известно, что в последние годы (и даже дни) своей политической деятельности Цицерон в «Филиппиках» неоднократно призывал к объединению всех «благомыслящих», всех сословий против Антония[4].

Вряд ли, однако, Цицерон искренне верил в ту идиллическую картину согласия сословий, которая была якобы достигнута благодаря его стараниям в период борьбы с Катилиной и которую он продолжал неустанно пропагандировать в качестве образца, достойного подражания и на будущие времена. Там, где искренности Цицерона следует доверять более всего — в письмах к Аттику, — можно столкнуться с несколько неожиданным отношением самого Цицерона к этому вопросу: «...после этого Красс, видя выражение общего одобрения Помпею за то, что он, как полагали все присутствовавшие, относится сочувственно к моему консульству, поднялся в свою очередь и начал в самых ярких красках говорить о моем консульстве. Он утверждал, что если он еще сенатор, гражданин, жив и свободен, то всем этим он обязан мне. Всякий раз как он видит свою супругу, дом, отечество, он снова ощущает благодеяние, оказанное мною. А далее все то, что я имею обыкновение на различный манер расписывать в своих речах, для которых ты являешься Аристархом: о пламени, об оружии. Ты знаешь эти прикрасы. Всем этим он обильно и пышно уснастил свою речь. Но вот черед дошел до меня. Благие боги! О, как расхваливал я себя перед новым слушателем Помпеем. Блестящие периоды, красивые

[1] Cic., pro Mil., 22, 87: «omnium ordinum consensu pro salute rei publicae gesta resciderat».
[2] Там же, 9, 25.
[3] Там же, 15, 39.
[4] Cic., Phil., I, 30, 37; III, 13; V, 30, 36; IX, 8; XIII, 34 и т. д.

обороты, реторические измышления и построения сыпались как никогда. Что же дальше? Восторженное одобрение. Темой моей речи был достойный образ действий сената, единодушие всадников и всей Италии, уничтожение последних остатков заговора, дешевизна, общее спокойствие. Ты знаешь, как в таких случаях звучат мои речи. И на этот раз они гремели так сильно, что я могу упомянуть о них тем короче, что, надо полагать, отзвук их дошел и до ваших мест»[1].

Ирония, которая звучит в этом описании того самого «прекраснейшего деяния», которым так гордился Цицерон в своих официальных выступлениях, и признание вместе с тем лозунга «согласия сословий» неотъемлемым и постоянным атрибутом изложения официальной версии подавления заговора, — все это может иметь лишь одно значение: лозунг concordia ordinum или consensus bonorum omnium был для Цицерона определенным «приемом» и в качестве такового он был для Цицерона бесспорен, хотя реальное его осуществление в период борьбы с Катилиной было на самом деле более, чем сомнительно. Однако это последнее обстоятельство никак не умаляло политической силы и звучания самого лозунга. Истинное отношение Цицерона к своим пропагандистским лозунгам, к их значению и к их выгоде можно прекрасно объяснить, исходя из той политической позиции, которую рекомендует ему его брат Квинт и которая прекрасно «согласуется» с проповедью concordia ordinum и consensus bonorum omnium[2].

Теперь необходимо сделать некоторые выводы по поводу классовой сущности этих лозунгов, а следовательно, и учения о смешанном государственном устройстве.

В противовес политическим лозунгам римской демократии с их определенной партийной направленностью пропагандистские лозунги Цицерона претендовали на некое «надпартийное» и «общегосударственное» значение. Есть все основания видеть в этом определенную нарочитость, определенную и сознательную установку Цицерона. Конечно, призыв к concordia ordinum или к consensus bonorum omnium и должен был восприниматься как призыв к тому, чтобы подняться над «партийными распрями», над «частными интересами» и объединиться во имя подлинных интересов «отечества». Бесспорно и то, что благодаря настойчивой пропаганде этих лозунгов Цицерону удалось приобрести среди широких кругов римского общества определенную репутацию. Так, например, среди народа, наполнившего улицы Рима после убийства Цезаря, раздавались призывы к свободе

[1] Cic., ad. Att., I, 14, 3—4. Цитируется по переводу А. И. Тюменева, К выяснению классовой позиции Цицерона, ГАИМК, CI, 1934, стр. 185.

[2] Cic., de pet. cons., 13, 53.

и часто называлось имя Цицерона. Он не принадлежал к заговорщикам и ничего не сделал для свержения «тирана», но имя его в такой момент приобрело особое обаяние: оно было символом республики, а не той или иной «партии», оно напоминало о благе и интересах «отечества» в целом.

Конечно, и это хорошо известно, для Цицерона понятие «отечество» отождествлялось на самом деле с понятием аристократической сенатской республики, и, когда он скорбит о «гибели отечества», он имеет в виду гибель традиционного сенатского режима, но это обстоятельство отнюдь не снижало политической силы лозунгов.

Несмотря на свою «надклассовую» оболочку, ходовые лозунги Цицерона имели вполне определенный классовый смысл и четкую классовую направленность, — они отражали интересы верхних слоев рабовладельческого класса, что и дается прежде всего формулой: блок сената и всадников. Что касается привлечения к этому союзу «благонамеренных представителей» других слоев населения и установления consensus bonorum omnium, то здесь, несомненно, имеется в виду как бы некая нейтрализация этих слоев, тем более что, как нам уже известно, в цицероновом совершенном государстве «равенство прав» граждан должно было сочетаться с «градацией по достоинству»[1]. Несомненно также, что политические лозунги Цицерона в какой-то мере отражали чрезвычайно усилившуюся в эту эпоху тенденцию к еще большему объединению и консолидации класса рабовладельцев. Этим и объясняется распространение лозунга concordia ordinum не только на два высших сословия, но и на представителей почти всех слоев свободного населения при непременном условии их благонадежности (boni)[2].

Таким образом, Цицерон выступает как выразитель классовых интересов высших слоев римского рабовладельческого общества. Его пропагандистские лозунги concordia ordinum и consensus bonorum omnium имели, несмотря на свою «надпартийную» оболочку, вполне определенный классовый смысл. Учение же о смешанном государственном устройстве, представляющее собой центральную идею трактата «De re publica», служило теоретико-философским обоснованием этих лозунгов.

---

[1] См. выше, стр. 176.

[2] Разумеется, термин boni в устах Цицерона имеет и социальный оттенок. Под этим термином подразумеваются люди, имеющие определенный достаток, в противоположность полностью обнищавшему пролетариату (proletarii).

## Глава II

# «ИДЕАЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН» И OFFICIA AMICITIAE

Излюбленные политические лозунги Цицерона, concordia ordinum и consensus bonorum omnium, были ориентированы на «благомыслящего» гражданина, на идеального vir bonus. Необходимо выяснить, как представлял себе Цицерон этого идеального гражданина, какие он придавал ему характерные черты, как определял его гражданские задачи и обязанности.

Vir bonus — это древнеримский идеал. Это — достойный гражданин, проявляющий себя «соответственным» образом как в частной, так и в общественной жизни, причем последнее условие является решающим. Активное участие в общественно-политической жизни — необходимая и безусловная черта гражданского облика vir bonus.

Еще Катон, рассматривая занятие земледелием как одну из гражданских доблестей, говорил о предках: «когда хвалили доброго мужа, [его] хвалили как хорошего земледельца и хорошего сельского хозяина»[1]. Саллюстий, рисуя картину «золотого века», считал необходимым подчеркнуть, что в те времена граждане соревновались друг с другом не богатством и надменностью, но отвагой и славными деяниями на пользу отечества[2]. С древнейших времен и до времени Цицерона политическая деятельность, служба «отечеству», как наиболее характерные черты облика идеального гражданина, остаются лейтмотивом всех теоретических построений подобного рода. Жизнь римского гражданского общества в целом и каждого его члена в отдельности определяет honor, т. е. целью жизни является cursus honorum. Так понятие «нравственно-прекрасного», перешедшее из греческих философских систем, превращается на римской почве в понятие hone-

[1] Cato, de agr., 2: «virum bonum quom laudabant, ita laudabant, bonum agricolam bonumque colonum».

[2] Sall., Epp., II, 5; Cat., 7, 1—7.

stum. Например, для Цицерона термин honestum есть само собой разумеющийся перевод καλόν.

Кстати сказать, в науке существует неправильное представление о понятии honos. Обычно honos переводится словом «честь», в лучшем случае «почет». Однако внимательное изучение римского употребления этого понятия[1], начиная с древнейших времен и вплоть до конца республики, от Плавта до Цицерона, может значительно расширить и вместе с тем уточнить представление об этом понятии.

Honos еще в ранней римской литературе[2] есть прежде всего понятие политическое и как таковое означает «всеобщее публичное признание сограждан». Этим, кстати, высказывается та мысль, что человек что-то значит, только будучи членом общества. Общественное признание связано с определенными «предпосылками», которые его и обуславливают: с virtus, с merita или res gestae. Это прекрасно показывает один чрезвычайно характерный пример из Цицерона, до которого понятие honos дошло в своем неизменном значении: «однако, именно то украшает [человека], что считается почестями, — присужденные за доблесть награды, подвиги, одобренные суждением людей»[3].

Если правильно расположить перечисленные здесь понятия, то получается такая последовательность: virtus — res gestae — iudicia hominum — honores (=virtutis praemia), т. е. это значит, что virtus и res gestae есть необходимые предварительные условия, «предпосылка» для habere honorem, а honores есть praemia virtutis, причем их внутренняя сущность выражается словами iudiciis hominum comprobatae; honos есть не что иное, как общественное признание res gestae путем людского приговора. Для того, кому сограждане даруют публичное признание неоднократно, для того honos становится в конце концов «длительным владением» и даже не только для того, кто сам его завоевал, но и для всей его семьи[4]. Священным долгом всех членов рода является приумножение славы, заслуженной предками, новыми деяниями. Слава рода, которая покоится на вновь и вновь приобретаемом общественном признании, переходит по наследству и к потомкам. Она представляет наиболее ценное их владение. Здесь имеется явно выраженное и, кстати говоря, широко распространенное мнение: смысл и цель жизни заключаются в деятельности на пользу res publica; лишь тот, кто этой деятельностью завоевал общественное

---

[1] См. J. C. Plumpe, Roman Elements in Ciceros Panegyric on the Legio Martia, CJ, XXXVI, 5, 1941, стр. 275—289.

[2] Plaut., Trin., 622 слл.; 642 слл.

[3] Cic., de orat., II, 347: «neque tamen illa non ornant, habiti honores, decreta virtutis praemia, res gestae iudiciis hominum comprobatae».

[4] Plaut., Trin., 642 слл.

признание для себя и для всей своей семьи, только тот может считать, что жизнь его прошла не напрасно.

«Но все, что является честным, [все] это образуется из каких-либо четырех частей»[1], — говорит Цицерон в «De officiis». Под этими «четырьмя частями» Цицерон имеет здесь в виду «четыре главные добродетели», представление, идущее от этики Платона[2] и модифицированное аристотелевой «Этикой Никомаха» в учение о «срединных добродетелях»[3]. Старая Стоя также различала четыре главных добродетели, определяя, таким образом, сферу применения «надлежащих поступков» (καθήκοντα), которые, однако, сами по себе не принадлежат ещё к истинной добродетели.

Основные добродетели являются для Цицерона в «De officiis» элементами той схемы, в согласии с которой он развивает свое воззрение на моральные основы политической деятельности и на важнейшие обязанности римского гражданина, ибо обязанности человека в обществе, т. е. его officia, вытекают из этих основных добродетелей.

Необходимо установить соотношение между «надлежащими поступками» (καθήκοντα) по терминологии старой Стои и «обязанностями» (officia) гражданина, определенными Цицероном. Сам Цицерон еще в своем трактате «De finibus bonorum et malorum» переводит καθήκοντα через officium[4]. Таким образом, если καλόν = honestum, то, очевидно, καθῆκον = officium. Однако пока это чисто внешнее и формальное сопоставление. Если обратиться к внутреннему содержанию этих терминов, то можно без труда убедиться в том, что римляне в понятие officium вкладывали содержание, весьма далекое от философски сублимированного содержания стоического термина καθῆκον.

Определяя цель жизни, старая Стоя исходила из природы человека, но различала двойственную φύσις: животную и логос, т. е. разум, который и возвышает человека над всеми остальными живыми существами. Поэтому отнюдь не всякое стремление человека достойно того, чтобы считаться жизненной целью, но лишь такое, которое содействует развитию и выявлению логоса. Отсюда — крайний ригоризм и полярность выводов стоиков. Только добродетель есть благо, только порок — зло, все же лежащее между этими полярными понятиями, все остальные действия могут считаться по отношению к цели жизни безразличными (ἀδιάφορα).

---

[1] Cic., de off., I, 5, 14: «sed omne, quod est honestum, id quattuor partium oritur ex aliqua».
[2] Plato, Pol., 410; 441.
[3] Arist., Eth. Nic., II, 7, 1108a 32; V, 3, 1129b 24; 1130b 9 и т. д.
[4] Cic., de fin., III, 20.

Однако последний вывод был мало приемлем для прикладной морали. Поэтому еще сама стоическая школа вводит некий корректив в это строго дуалистическое построение. Природа и жизнь все же заставляют делать некоторые различия между этими ἀδιάφορα, тем более если они сопоставляются друг с другом. Так, например, здоровье, хотя оно и не является благом в истинном смысле этого слова, самой природой поставлено как бы на более высокую ступень, чем болезнь. Так же обстоит дело с человеческой деятельностью и отдельными поступками людей. Истинно нравственна лишь такая деятельность, которую человек ведет в духе ὀρθὸς λόγος. Но все же между καθορθώματα и ἁμαρτήματα находятся некие «средние» действия (μέσα). Эти «средние» действия Зенон и называет καθήκοντα.

Несмотря на вышеприведенный перевод этого слова Цицероном, не следует идентифицировать понятия καθῆκον и officium[1]. Термин officium имел у древних римлян весьма своеобразный практически-деловой и конкретный смысл. Он, видимо, происходил от слова opificium, означавшего первоначально «занятие», «ремесло». Римская комедия говорит, например, об officium сводника, о дезертирстве, как об officium рабов, и т. п.

Римляне времен Цицерона тоже едва ли понимали термин officia в смысле общечеловеческого долга. Этот термин всегда применялся более конкретно. «Но, почему ты сомневаешься в том, что это прекрасно подходит и к государству? разве мы не говорим: „обязанность консулов“, „обязанность сената“, „обязанность императора“?» — писал Цицерон Аттику[2]. Таким образом, обычно имелись в виду officia магистратов, но, пожалуй, чаще всего говорилось об officia amicitiae, ибо amicitia означала не только дружбу в современном смысле этого слова, но, несомненно, была более широким понятием, распространявшимся на взаимоотношения между римскими гражданами как в их частной жизни, так и в области политической деятельности[3].

Анализ термина amicitia как политического понятия дает возможность коснуться более широкого вопроса о римской политической терминологии. Отнюдь не пытаясь решить его в полном объеме, автор считал бы уместным высказать несколько общих соображений по этому поводу.

Хорошо известно, что римляне, оперируя политическими понятиями, чрезвычайно охотно и часто пользовались философской терминологией, заимствуя из нее главным образом этические критерии и термины.

---

[1] См. M. P o h l e n z, Cicero de officiis, Lpz. u. Brl., 1935, стр. 12—14.

[2] C i c., ad. Att., XVI, 14, 3: «id autem quid dubitas quin etiam in rem publicam praeclare quadret? nonne dicimus „consulum officium, senatus officium, imperatoris officium“?».

[3] W. K r o l l, Die Kultur der ciceronischen Zeit, I, стр. 55.

Даже в таких местах, где контекст не оставляет никакого сомнения в том, что речь идет о политических понятиях и величинах, как, например, в самом начале «De re publica» говорится все же только о pietas, religio, iustitia, fides, aequitas, pudor, continentia, fuga turpitudinis, adpetentia laudis et honestatis, in laboribus et periculis fortitudo[1].

Таким образом, можно говорить об абстрактно-морализующей оболочке римской политической терминологии, которая является ее достаточно характерной чертой.

Одним из наиболее наглядных примеров развернутого использования такой, на первый взгляд, абстрактной терминологии, оперирующей отвлеченно-моральными категориями, следует считать уже рассматривавшийся исторический экскурс из «Заговора Катилины» Саллюстия.

Необходимо, хотя бы в самых общих чертах, вернуться к вопросу об этом историческом экскурсе. При его рассмотрении было уже установлено[2], что абстрактная фразеология служила для Саллюстия своего рода «дымовой завесой», которая прикрывала резко выраженный партийный характер инвективы против нобилитета, каковой по существу и была саллюстиева теория упадка нравов.

Следует заметить, что, готовя свою инвективу против нобилитета, т. е. «Заговор Катилины», Саллюстий в главах, посвященных историческому обоснованию злокозненности нобилитета (т. е. в историческом экскурсе), отнюдь не случайно применяет «дымовую завесу» абстрактно-морализующей фразеологии, причем в данном случае нельзя ограничиться ссылкой, как это уже сделано выше, на осторожность опытного и искушенного политика.

Хотя ни в коем случае нельзя отрицать значение подобного фактора, но вместе с тем его все-таки нельзя считать единственным, а потому всецело объясняющим употребление подобной «дымовой завесы», тем более, что в исторических экскурсах «Югуртинской войны» или «Историй»[3] Саллюстий, как было указано

---

[1] Cic., de rep., I, 2. Помимо общего контекста в политическом характере всех этих virtutes убеждает данное здесь же общее и принципиальное определение понятия virtus: «virtus in usus tota posita est, usus autem eius est maximis civitatis gubernatio», «доблесть целиком выражается в своем проявлении, проявление же ее есть управление величайшими государствами». Эта мысль вообще является одной из основных идей всего произведения: «neque enim est ulla res, in qua propius ad deorum numen virtus accedat humana, quam civitatis aut condere novas aut conservare iam conditas», «ибо нет никакой другой вещи, в которой человеческая доблесть восходила бы ближе к богам, чем или основывать новые государства или сохранять уже основанные» (I, 12).

[2] См. выше, стр. 119—124.

[3] Sall., Iug., 41—42; Hist., I, 6—7; 11—13; 16.

выше, находит в себе достаточно мужества изобразить картину разложения римского общества, как результат внутренних смут, следствие борьбы двух партий — партии сената и народной — и обрушиться с уничтожающей критикой на продажный, разложившийся римский нобилитет. Исторические экскурсы этих последних произведений Саллюстия, как нетрудно убедиться, наполнены конкретными примерами из римской истории и борьбы сословий (вплоть до сочувственного упоминания о Гракхах). Но вместе с тем даже во фрагментах «Историй», которые наиболее заострены политически, приходится опять-таки столкнуться с уже знакомой схемой разложения нравов, и снова выступают абстрактные моральные категории, «двигатели» процесса разложения, те же lubidines, как, например, ambitio и avaritia[1]. Следовательно, объяснить применение Саллюстием абстрактно-морализующей фразеологии только стремлением создать «дымовую завесу» из соображений личной безопасности, очевидно, невозможно. Вопрос требует более тщательного исследования и смыкается с уже упомянутой выше проблемой римской политической терминологии.

Римляне не имели достаточно четко разработанной специальной политической терминологии, что вытекало из самого строя и своеобразия римской общественно-политической жизни.

Политическая деятельность для полноправного римского гражданина, во всяком случае для представителя аристократии, есть безусловно необходимая и единственно возможная форма самодеятельности или «самовыявления» личности, и потому-то она не могла быть «отдифференцирована» от «жизни вообще». В этом и заключается своеобразие политической жизни в Риме. Это же в значительной степени объясняет отсутствие партий в современном смысле этого слова, четких партийных программ, специальной терминологии и даже нужды в чем-либо подобном. С другой стороны, именно поэтому для римского сознания качества политического деятеля, «политика» всегда сливались с общечеловеческими качествами и определялись через них. Таково происхождение «абстрактно-морализующей» терминологии или «подстановки» отвлеченных моральных категорий на место политических понятий и величин.

Однако это еще не все. Римская политическая терминология сама по себе отнюдь не столь «абстрактна», как нам это кажется. Действительно, изложенное выше понимание строя римской

[1] S a l l., Hist., I, 11: «... at discordia et avaritia atque ambitio et cetera secundis rebus oriri sueta mala post Carthaginis excidium maxume aucta sunt», «...раздоры, скупость и честолюбие и другое зло, имеющее обыкновение зарождаться при благоприятных обстоятельствах, величайшим образом возросли после разрушения Карфагена».

общественной жизни может дать возможность более глубоко проникнуть в сущность многих римских понятий и критериев.

Можно утверждать, что римские моральные критерии толковались самими римлянами вовсе не так, как склонны их воспринимать мы, современные люди, с нашим слишком дифференцирующим все понятия умом, и, если они звучат теперь, как определения чисто моральных качеств, то римляне вкладывали в них иной, более широкий, пожалуй, правильнее сказать — «синтетический» смысл.

Выше была сделана попытка установить истинное значение термина honos. Теперь необходимо более подробно рассмотреть понятие amicitia, так как в данном случае имеется достаточный материал для того, чтобы составить представление о трактовке этого понятия Цицероном и теоретически («De officiis», «Laelius») и в сфере практической деятельности (переписка с Матием). Анализ содержания officia amicitiae на основе указанных произведений Цицерона может многое дать и для понимания того «правильного» соотношения officia publica и privata, которое характеризует идеального vir bonus.

Цицерон в «De officiis» одной из важнейших «социальных добродетелей» считает beneficentia. Он ставит ее рядом со справедливостью [1].

Рассуждение о beneficentia [2] начинается с утверждения, что «ничто не соответствует более человеческой природе, чем щедрость и благотворительность» [3]. Но сразу Цицерон считает нужным сделать следующие предостережения: а) благотворительность не должна вредить тем, кому она оказывается, или производиться за счет других. Поэтому неправильно говорить о щедрости Суллы или Цезаря, которые, отнимая имущество у действительных хозяев, передавали его другим [4]; б) благотворительность и помощь другим не должны превышать собственных средств, дабы не вредить своим близким и чтобы не было нужды искать недостающих средств силой или несправедливостью [5]. Затем Цицерон указывает на то, что при благотворительности должна быть сохранена dignitas. Здесь необходимо учитывать три момента: а) нравственные качества человека, на которого рас-

[1] Cic., de off., I, 20: «cuius partes duae sunt: iustitia, in qua virtutis est splendor maximus, ex qua viri boni nominantur, et huic coniuncta beneficentia, quam eamdem vel benignitatem vel liberalitatem apellare licet», «две части его суть [следующие]: справедливость, в которой доблесть проявляется с наибольшим блеском и вследствие которой получают [свое] наименование добрые люди, и с нею соединена благотворительность, которую можно называть или благосклонностью или щедростью».

[2] Cic., de off., I, 42—60.

[3] Там же, I, 42.

[4] Там же, I, 42—43.

[5] Там же, I, 44.

пространяется благотворительность, причем следует принимать во внимание не только такие бросающиеся в глаза добродетели, как, например, храбрость или мужество, но и менее заметные достоинства, б) расположение других людей к нам, которое надо мерить не масштабом юношеских страстей, но стойкостью и постоянством зрелой мужской дружбы, в) чувство уважения к обществу и государству (это — главное!). Если справедливость может и должна распространяться в равной степени на всех людей, то в отношении благотворительности следует соблюдать различия[1].

Человек должен помогать другому человеку. Но средства отдельных лиц ограничены, поэтому необходима градация. Есть несколько степеней общности людей: во-первых, люди, объединяемые общностью происхождения, племени, языка (gentis, nationis, linguae), потом civitas, где граждане связаны общими законами, нравами и обычаями, затем род и, наконец, семья (una domus), которая является первоначальной ячейкой общества: «это есть начало города и как бы источник государства»[2].

Тезис о развитии государства из семьи являлся со времен Аристотеля общепринятым и нашел широкое применение в римских воззрениях[3], так как этим путем было легко доказать «кровное родство» всего народа, объединенного в государство. Именно это родство пробуждает в гражданах чувство связи и взаиморасположения (benevolentia et caritas). В этом же направлении влияют на сограждан памятники прошлого, общие гробницы и культ предков.

Но кроме общности родных и сограждан, к которой мы как бы принадлежим по природе, есть еще свободно избираемое нами содружество. Его происхождение также является вполне естественным. Поэтому-то Цицерон, определяя различные формы человеческих связей или сообщества (societas), особенно высоко оценивает такую форму связи, как amicitia и говорит: «но из всех сообществ ни одно не лучше, ни одно не крепче, чем когда добрые мужи, сходные нравами, связаны тесной близостью»[4]. Ибо, если нравственное совершенство (virtus) человека выявляется при его общении с другими людьми (iustitia и liberalitas), то оно возбуждает у сходно настроенных людей ответные чувства. Из этого может вырасти истинная дружба,

---

[1] Cic., de off., I, 45—49.

[2] Там же, I, 54: «id autem est principium urbis et quasi seminarium rei publicae».

[3] Cic., de rep., I, 38.

[4] Cic., de off., I, 55: «sed omnium societatum nulla praestantior est, nulla firmior, quam cum viri boni moribus similes sunt familiaritate coniuncti».

основанная на внутренней общности мировоззрения и нравственных принципов, при которой мы любим другого человека как самого себя, и достигается то, что Пифагор определял словами: «ut unus fiat ex pluribus»[1].

Несколькими строками ниже, почти в тех же самых выражениях и, видимо, нарочито сохраняя то же самое построение фразы, Цицерон говорит: «но ... из всех сообществ ни одно не является более тесным, ни одно — более дорогим, чем то, которое связывает каждого из нас с государством»[2]. Ибо дóроги родители, дóроги дети, дóроги родственники и приятели, но только одно отечество может включить в себя все привязанности людей[3]. Поэтому, если устанавливать какую-то градацию officia, то на первом месте будут обязанности по отношению к patria и parentes, затем к liberi и domus, и, наконец, к propinqui (но — bene convenientes!)[4]. Это рассуждение снова заставляет придти к выводу о том, что понятие officia amicitiae есть для Цицерона прежде всего понятие политическое.

К вопросу об amicitia Цицерон возвращается в «De officiis» еще раз во второй книге[5], но в основном ограничивается ссылкой на «Лелия». Необходимо рассмотреть основные положения этого диалога, посвященного специально проблеме amicitia[6].

После вступления, которое занимает первые четыре главы диалога, Лелий переходит к рассуждению на основную тему. Он сразу же отказывается от философски изощренных определений и рассуждений, говорит, что может лишь посоветовать предпочитать дружбу всем остальным делам человеческим (omnibus rebus humanis), ибо ничто так не соответствует природе (tam naturae aptum) и не является столь подходящим (conveniens) как в хороших, так и в дурных обстоятельствах[7].

Но, прежде всего, «дружба может существовать только среди хороших [людей]»[8]. Однако некоторые считают, что только мудрец может быть нравственно достойным человеком (esse

---

[1] Cic., de off., I, 56.

[2] Там же, I, 57: «sed...omnium societatum nulla est gravior, nulla carior, quam ea, quae cum re publica et uni cuique nostrum».

[3] Там же.

[4] Там же, I, 58.

[5] Там же, II, 30—31.

[6] В данном случае невозможно останавливаться на вопросе об источниках Цицерона в «Лелии». Достаточно сказать, что помимо никем не оспариваемого использования сочинения Феофраста о дружбе (Gell., NA, I, 3, 11), очевидно, следует учесть наблюдение Поленца (Pohlenz, ук. соч., 39) о влиянии идей Панетия на некоторые разделы трактата и, в частности, на раздел, посвященный вопросу о происхождении дружбы (Lael., 26—32).

[7] Cic., Lael., 17.

[8] Там же, 18: «nisi in bonis amicitiam esse non posse».

virum bonum), причем дают такое определение понятию «мудрец», что ни один смертный не может оказаться достойным этого высокого звания. Мы же, говорит Лелий, должны рассматривать «то, что имеет место в практической жизни всех»[1], а не то, что является желаемым в идеале[2].

Затем Лелий переходит к определению понятия vir bonus с декларированных им позиций, т. е. с точки зрения «практической жизни», и призывает действовать попросту, «не по-ученому» (pingui Minerva). Он предлагает считать нравственно достойными людьми (viros bonos) тех, кто действует и живет так, что очевидны их fides, integritas, aequitas, liberalitas, в которых нет cupiditas, lubido, audacia, но, наоборот, есть magna constantia, «ибо они следуют, насколько могут люди, природе — лучшей наставнице правильного образа жизни»[3].

После этого Лелий снова возвращается к вопросу о дружбе. Указывая на то, что между людьми существует некая естественная связь сообщества (societas quaedam), в силу которой граждане ближе друг другу, чем чужеземцам, родственники ближе, чем посторонние, он подчеркивает, что amicitia как одна из таких форм естественной связи должна быть поставлена выше связей родственных[4]. В заключение этого рассуждения дается следующее определение amicitia: «ибо дружба есть не что иное, как сопровождаемое взаимной любовью и благосклонностью единодушие во всех человеческих и божественных делах, по сравнению с которым не знаю, что лучшее, кроме, быть может, мудрости, даровано человеку бессмертными богами»[5].

Итак, в этом первом разделе рассуждения о дружбе, где, так сказать, выясняется природа самого явления, а также определяются некоторые условия, в рамках которых следует вести изучение вопроса, Цицерон подчеркивает естественный характер amicitia, причем, с его точки зрения, это одна из высших форм естественной связи. Чрезвычайно характерно также стремление поставить обсуждение вопроса на «практическую почву».

Далее идет определение того принципа, который лежит в основе всякой дружеской связи. Есть люди, говорит Лелий, которые предпочитают богатство, другие — хорошее здоровье, некоторые — власть, некоторые — почести, а многие — даже удовольствия. Последнее является чисто животным стремле-

---

[1] Cic., Lael., 18: «ea, quae sunt in usu vitaque communi».

[2] Там же.

[3] Там же, 19: «quia sequantur, quantum homines possunt, naturam optimam bene vivendi ducem».

[4] Там же.

[5] Там же, 20: «est enim amicitia nihil aliud nisi omnium divinarum humanarumque rerum cum benevolentia et caritate consensio: qua quidem haud scio an excepta sapientia, quidquam melius sit homini a dis immortalibus datum».

нием, а ранее названные объекты человеческих желаний — шатки и неверны, основаны не столько на осмотрительности, сколько на прихоти судьбы. Но те, кто полагает, что высшее благо (summum bonum) состоит в нравственном совершенстве (in virtute), поступают правильно и прекрасно. Ведь именно это нравственное совершенство (haec ipsa virtus) является основой amicitiae, рождает и поддерживает ее, и без этого дружба никоим образом не может существовать: «без добродетели дружба не может быть ни в коем случае»[1].

Понятие нравственного совершенства (virtus) тоже следует определять не пышными фразами, как это делают некоторые ученые мужи, а исходя из условий практической жизни (ex consuetudine vitae nostrae) и наших обыденных представлений (sermonisque nostri). Тогда-то мы и будем иметь возможность считать нравственно достойными людьми (viros bonos) тех, кто не является только вымышленным идеальным образом (eos, qui habentur), тех, кем вполне удовлетворяется наша обыденная жизнь, а тех, кого вообще невозможно найти в природе (qui omnino nusquam reperiuntur), можно вовсе и не упоминать[2].

Далее идет описание тех удобств и благоприятных возможностей (opportunitates), которые имеет дружба между такими людьми[3]. Их так много и дружба имеет такой всеобъемлющий характер (amicitia res plurimas continet), что Лелий ссылается на поговорку: «итак, мы пользуемся более всего не водой, не огнем, как говорят, но дружбой»[4].

В главе VII описывается сила дружбы и естественной дружеской связи (benevolentiae coniunctionem), без которой не может существовать ни одна семья (domus), ни город (urbs), ни даже обработка земли (cultus agri). Если это непонятно, то силу дружбы и согласия (vis amicitiae concordiaeque)[5] по контрасту можно нагляднее всего ощутить из значения раздоров и несогласий (ex dissensionibus atque ex discordiis), против которых ничто не может устоять; отсюда видно, сколько блага заключено в дружбе[6].

Затем приводится пример с представлением пьесы Марка Пакувия и в заключение снова подчеркиваются естественные

---

[1] Cic., Lael., 20: «nec sine virtute amicitia esse ullo pacto potest».
[2] Там же, 21.
[3] Там же, 22.
[4] Там же: «itaque non aqua, non igni, ut aiunt, pluribus locis utimur quam amicitia».
[5] Интересно отметить, что Цицерон ставит здесь между этими понятиями знак равенства, ибо оба эти понятия для него имели не только моральное, но и главным образом политическое значение. См. стр. 178, где разбирается учение Цицерона о смешанном государственном устройстве и лозунг concordia ordinum.
[6] Cic., Lael., 23.

основы дружбы[1]. После этого рассуждение прерывается; Лелий говорит, что он высказал свои соображения по поводу дружбы, отсылает своих слушателей с дальнейшими вопросами к специалистам, но, после просьб Фанния и Сцеволы[2], переходит к центральной части своего рассуждения — к вопросу о происхождении дружбы и к развернутому определению понятия amicitia с учетом всех ее сторон и «правил».

Прежде чем заняться рассмотрением этого нового раздела, необходимо отметить, что на основании общей части рассуждения о дружбе видно, что, по мнению Цицерона, дружба вырастает из естественного стремления людей друг к другу, а не из утилитаристических соображений. Но раз зародившись, дружба приносит и величайшую пользу[3]. С точки зрения Цицерона она есть не что иное, как некая предпосылка для определенной роли в общественной жизни, в сфере политической деятельности. Эти мысли получают свое дальнейшее развитие в центральной части диалога, которую и следует рассмотреть под этим углом зрения.

Приступая к выяснению происхождения дружбы и причин, порождающих ее, Лелий говорит, что прежде всего следует ответить на вопрос о том, зарождается ли дружба вследствие слабостей и недостатков и необходимости взаимной поддержки, или все это следует отнести к свойствам дружбы, а причина ее происхождения является более древней, более возвышенной и проистекающей скорее от самой природы[4].

Производя слово amicitia от amor, Лелий подчеркивает еще раз, что дружба возникает в силу естественной склонности души к любви, т. е. опять-таки скорее от самой природы (a natura potius), чем от нужды (ab indigentia). Подобную же склонность к любви можно констатировать даже у животных, не говоря уже о людях[5].

В главе VII[6] мысль о независимости дружбы от утилитаристических соображений всесторонне развивается и аргументируется. Лелий полемизирует с теми, кто считает, что дружба порождается нуждой и беспомощностью, и в качестве примера, доказывающего неправильность этого определения, приводит дружбу между ним самим и Сципионом Африканским[7].

Конечно, из дружбы часто проистекает разнообразная польза, как это имело место и в данном случае, но, однако, сама

[1] Cic., Lael., 24.
[2] Там же, 25.
[3] На этом воззрении, возможно, сказывается влияние идей Панетия, как это и отмечает Поленц (Pohlenz, ук. соч., 39; 100).
[4] Cic., Lael., 26.
[5] Там же, 27.
[6] Для большего удобства ссылки даются не по главам, а по параграфам.
[7] Cic., Lael., 29—30. Здесь и далее имеется в виду Сципион Эмилиан.

по себе дружба никоим образом не может происходить от надежды или расчета на эту пользу[1]: «весь ее плод заключается в самой любви»[2]. Рассуждение о причинах зарождения дружбы заканчивается следующим выводом: «так и величайшая польза извлекается из дружбы и происхождение ее от природы кажется более достоверным, чем от [чувства] слабости. Ибо если [только] польза скрепляет дружественные связи, она же, изменившись, разрывает [их]; но так как природа не может изменяться, то истинная дружба бывает вечной»[3].

Этим выводом Лелий завершает разбор вопроса о происхождении дружбы, но по просьбе Фанния и Сцеволы продолжает рассуждение и переходит к всестороннему определению дружбы.

Необходимо остановиться лишь на наиболее существенных моментах этого определения.

В главе X Лелий, ссылаясь на Сципиона Африканского, говорит о том, сколь трудно сохранить дружбу на продолжительное время.

Перечисляя разнообразные явления человеческой жизни, которые обычно разрушают дружеские отношения, каковы, например, характеры людей (mores hominum), брак (uxoria conditio), выгодное положение, недоступное сразу обоим, страсть к деньгам (pecuniae cupiditas), и — даже между лучшими людьми (in optimis quibusque) — спор из-за почестей и славы, Лелий подчеркивает в качестве одной из причин, ведущих к разрыву дружбы, расхождение в политических взглядах[4]. Такой разрыв дружбы является наиболее серьезным и даже справедливым, ибо то, что говорится Лелием во второй половине главы[5], несомненно, имеет отношение не только к приватным, но и общественным взаимоотношениям и перекликается с мыслью о политических расхождениях.

Поэтому «до каких пор должна простираться любовь в дружбе?»[6]. Вся глава XI, кстати сказать, целиком построенная на конкретно-исторических примерах, посвящена обоснованию той мысли, что интересы дружбы не смеют противоречить интересам res publica, что требования дружбы умолкают перед требованиями общественно-политической жизни: «что же, если Ко-

---

[1] Cic., Lael., 30.

[2] Там же, 31: «omnis eius fructus in ipso amore inest».

[3] Там же, 32: «sic et utilitates ex amicitia maximas sapientur et erit eius ortus a natura quam ab imbecilli et gravior et verior. Nam si utilitas conglutinaret amicitias, eadem commutata dissolveret; sed quia natura mutari non potest, idcirco verae amicitae sempiternae sunt».

[4] Там же, 33—34: «saepe vel ut de re publica non idem sentiretur», «или часто о государственных делах думают [и судят] по-разному».

[5] Там же, 35.

[6] Там же, 35: «quatenus amor in amicitia progredi debeat».

риолан имел бы друзей, — спрашивает Лелий, — должны ли были они вместе с Кориоланом нести оружие против отечества, должны ли были друзья помогать Висцеллину, домогавшемуся царской власти, должны ли были [они] помогать Сп[урию] Мелию?»[1]. Далее идет пример с различным отношением друзей к преступным умыслам и действиям Тиберия Гракха и знаменитый диалог с Блоссием, подчеркивающий, до каких преступных нелепостей и безумия может дойти тот, кто интересы res publica приносит в жертву дружбе. Нет извинений проступку, если он сделан в угоду другу, но когда основой дружбы будет нравственное совершенство, то в случае отклонения от него[2] дружба едва ли сможет существовать далее[3].

Поэтому если бы мы сочли правильным или уступать друзьям во всем, чего они только ни захотят, или требовать от них, чего нам только ни захочется, то обладай мы совершенной мудростью, это не привело бы ни к каким извращениям. Но ведь речь может идти лишь о тех друзьях, с которыми мы сталкиваемся в практической жизни (quos novit vita communis). Из их числа мы должны выбирать себе образцы для подражания (exempla) и преимущественно тех, которые более близки к мудрости (qui ad sapientiam proxime accedunt)[4]. Мы знаем о дружбе Папа Эмилия с Гаем Лусцином, о тесной связи Мания Курия и Тиберия Корункания, и здесь мы даже не смеем и подозревать, чтоб кто-нибудь из них требовал от друга того, что противно добросовестности по отношению к другим людям (contra fidem)[5] и интересам государства (contra rem publicam)[6].

Таким образом, основной закон дружбы (haec igitur lex in amicitia) должен определяться так: «чтобы мы не требовали позорных дел и не делали их, если нас попросят»[7]. Необходимо, однако, дать более точное определение позорного: «ибо позорно и совершенно неприемлемо извинение как в других

---

[1] Cic., Lael., 36: «numne, si Coriolanus haberet amicos, ferre contra patriam arma illi cum Coriolano debuerunt? num Viscellinum amici regnum appetentem, num Sp. Maelium debuerunt iuvare?».

[2] Надо иметь в виду, что всякое отклонение от проповедуемых им политических взглядов Цицерон считал отклонением от нравственного совершенства.

[3] Cic., Lael., 37.

[4] Там же, 38.

[5] Вообще говоря, fides — трудно переводимое римское понятие, обозначающее отношения между отдельными людьми, покоящиеся на началах полной взаимной добросовестности; особенно часто говорится поэтому о fides патронов и клиентов и т. д.; однако выражение bona fide, употреблявшееся при разного рода сделках, показывает, что понятие fides было более широко и обозначало вообще добросовестные отношения между людьми.

[6] Cic., Lael., 39.

[7] Там же, 40: «ut neque rogemus res turpes nec faciamus rogati».

проступках, так и в том, если кто-нибудь сознается, что он ради друга действовал против res publica»[1].

Следует предвидеть будущее состояние государства. Строй жизни уже начинает уклоняться от обычаев предков. Тиберий Гракх пытался захватить царскую власть и даже царствовал несколько месяцев. Слышал ли и видел ли римский народ что-нибудь подобное? Не стоит предсказывать, чего можно ожидать от трибуната Гая Гракха, но зло распространяется постепенно и тем легче ведет к гибели, раз уж оно возникло. Народ представляется как бы отделившимся от сената, важнейшие дела решаются по усмотрению толпы[2].

Но так как подобные попытки не предпринимаются без товарищей, то вывод, который отсюда вытекает, состоит в следующем: людям благонамеренным (bonis) нужно разъяснить, что если кто-нибудь из них по незнанию попадает в такого рода дружественные отношения (in eius modi amicitias), то пусть не считает себя связанным ими так, что он не может отойти от друзей даже в том случае, когда эти друзья совершают преступление по отношению к государству. Негодяев же (improbi) следует наказывать и притом не меньше тех, кто последовал за другими, чем тех, кто сам был главарем нечестия (impietatis duces)[3].

Затем Лелий приводит в пример Фемистокла и Кориолана, попытавшихся выступить против своего же собственного отечества[4], и заключает все рассуждение об основном законе дружбы следующим выводом: «поэтому такое единодушие [людей] негодных не только не должно извиняться и прикрываться дружбой, но скорее должно караться всяким наказанием, дабы никто не думал, что дозволено следовать за другом, начинающим войну против родины; а поскольку дело [уже] идет к тому, я не знаю, может быть, некогда [это] и случится; я же не меньше забочусь [о том], каково будет состояние республики после моей смерти, чем каково оно сегодня»[5]. В последних словах заключается несомненный намек на современное уже самому Цицерону положение Римской республики.

---

[1] Cic., Lael., 40: «turpis enim excusatio est et minime accipienda cum in caeteris peccatis tum si quis contra rem publicam se amici causa fecisse fateatur».

[2] Там же, 40—41.

[3] Там же, 42.

[4] Там же.

[5] Там же, 43: «qua re talis improborum consensio non modo excusatione amicitiae tegenda non est, sed potius supplicio omni vindicanda est, ut ne quis concessum putet amicum vel bellum patriae inferentem sequi: quod quidem ut res ire coepit, haud scio an aliquando futurum sit: mihi autem non minori curae est qualis res publica post mortem meam futura sit quam qualis hodie sit«.

Таким образом, первый предел дружбе ставится интересами res publica. Предпочтение государственных интересов требованиям дружбы — таков основной закон дружеских отношений. Этот тезис является для Цицерона главным и решающим, и недаром с него именно начинается рассуждение о правилах сохранения и развития дружбы, развернутое определение всех ее сторон и свойств. Вышеизложенные рассуждения Цицерона на эту тему имеют важное значение, ибо, как будет показано ниже, они отнюдь не оставались для Цицерона только «теоретическим построением», но были связаны теснейшим образом с его практическими действиями и поступками и в некоторой степени определяли их.

Дальнейшее изложение диалога в данном случае уже не представляет интереса, так как основной и наиболее важный вывод о том, что Цицерон рассматривал amiticia прежде всего как политическое понятие и считал, что в дружбе отношения личные должны отступать на второй план перед отношениями общественными, вполне может быть сделан на имеющемся материале.

Классовая сущность теоретических воззрений Цицерона на amicitia совершенно ясна. В полном согласии с основными принципами «древнеримской морали» устанавливается некая градация officia нравственно достойного и благонамеренного римского гражданина, vir bonus, для которого на первом месте стоят его нравственные обязательства перед patria, ибо «все привязанности всех объединяются одной только родиной»[1].

Цицерон, очевидно, не случайно заменяет в данном рассуждении термин res publica термином patria. Благодаря этому лозунг получает более широкое значение и может быть обращен ко всем boni. В этом случае проступает опять-таки сознательная тенденция борьбы с «партийными» лозунгами римской демократии и противопоставления им «надпартийных» лозунгов всеобщего согласия.

Однако в данный момент имеет более важное значение другое обстоятельство. Пропагандистский лозунг patria, которым Цицерон прикрывал уже довольно обветшавший идеал аристократической сенатской республики, в период работы над «De officiis» и «Laelius» приобретал новый смысл. Цицерон, как известно, писал эти произведения в 44 г., после смерти Цезаря, т. е. тогда, когда впервые за длительное время у него могли появиться более реальные надежды на возрождение «res publica libera» и, кстати говоря, на восстановление своего собственного положения. Это был один из наиболее ответственных и напряженных моментов всей политической карьеры Цицерона.

---

[1] Cic., de off., I, 57: «omnes omnium caritates patria una complexa est».

Вскоре после убийства Цезаря, видимо, в первых числах апреля[1], Цицерон покинул Рим. Назначенный при содействии Долабеллы и по собственной просьбе легатом проконсула Сирии[2], он вскоре был уже в пути и мечтал о встрече со своим сыном Марком, который в это время слушал курс наук в Афинах. Однако дошедшие до него известия об изменении обстановки в Риме и, в частности, о пошатнувшемся положении Антония, а затем просьбы Марка Брута заставили его прервать путешествие[3] и вернуться в Рим.

На заседании сената, происходившем 1 сентября, где Марк Антоний выступал с прямыми угрозами против Цицерона, последний не присутствовал[4], хотя уже находился в Риме. Зато на следующий день, когда состоялось заседание сената под председательством Долабеллы и, в свою очередь, отсутствовал Антоний, Цицерон выступил со своей первой филиппикой[5]. В этой речи, еще сравнительно умеренной в смысле нападок на Антония, Цицерон выступал против lex Antonia de provocatione и lex Antonia iudiciaria и призывал сенат к проведению более решительной политики. Антоний в этой речи был представлен как нарушитель цезаревых установлений (acta Caesaris)[6].

Однако речь произвела на Антония такое впечатление, что на заседании сената 19 сентября Антоний обрушился на Цицерона с массой угроз и назвал его идейным вдохновителем убийства Цезаря[7]. После этого выступления Цицерон, видимо, считая, что его жизнь находится в опасности, почел за благо снова оставить Рим[8] и затем в октябре опубликовал вторую филиппику, которая была написана в форме ответа на сентябрьскую речь Антония[9].

Она кончается знаменитым обращением к Марку Антонию, в котором Цицерон призывает его подумать о судьбах республики. «Со мной ты можешь поступать как тебе угодно..., — говорит Цицерон, — но если я защищал республику еще в молодости, то, конечно, не оставлю ее и теперь, будучи стариком. Я презрел меч Катилины, не буду трепетать и перед твоим. Наоборот, я охотно принесу свою жизнь в жертву, если только это поможет скорее восстановить свободу государства»[10].

---

[1] Cic., ad Att., XV, 15, 3.
[2] Там же, 11, 4; 18, 1; 20, 1; Plut., Cic., 43.
[3] Там же, XVI, 7; ad fam., XII, 25, 3; ad Brut., I, 10, 4; 15, 5.
[4] Cic., Phil., I, 4, 11; Plut., Cic., 43.
[5] Plut., Cic., 24; 48; App., BC, IV, 20.
[6] Cic., Phil., I, 4, 11; 7, 16; 11, 27 и т. д.
[7] Там же, II, 11; ad fam., XII, 2, 1.
[8] Cic., ad Att., XVI, 8 и т. д.
[9] Там же, XVI, 11, 1.
[10] Cic., Phil., II, 45, 118.

с Матием и освещает характер этой дружбы[1]. Нет необходимости подробно останавливаться на этих рассуждениях, хотя данная часть письма интересна тем, что показывает, как понимал Цицерон взаимоотношения дружбы «на практике», а также и то, насколько это понимание совпадает с теоретическими высказываниями «Лелия».

Цицерон отнюдь не отрицает многочисленные и разнообразные utilitates, полученные им вследствие дружеского расположения к нему Матия. Матий был ему чрезвычайно полезен: он заложил основу хороших взаимоотношений между ним и Цезарем еще во время галльских войн, в начале гражданской войны давал ему советы и содействовал установлению взаимопонимания с Цезарем, всячески поддерживал его и его родных во время пребывания Цицерона у Помпея, по окончании гражданской войны снова давал ему советы и помирил его с Цезарем, наконец, указал ему на путь от политики к φιλοσοφούμενα. Это и есть утилитарная сторона (или форма) дружбы, в том смысле, как понимал ее сам Цицерон [2]. Матий помогал ему и был полезен, следовательно, он со своей стороны имеет все основания рассчитывать на подобные же ответные действия со стороны Цицерона, если только этим не будет нарушен основной принцип дружбы.

А истинная, принципиальная основа дружбы, как уже известно, для Цицерона заключается отнюдь не в utilitates, основой дружбы является virtus. Поэтому, как сказано еще в «Лелии», «дружба, мне кажется, возникла скорее от природы, чем от нужды, более вследствие общительности, соединенной с некиим чувством любви, чем вследствие размышления, насколько это будет полезным» [3].

Письмо к Матию может служить достаточно наглядным примером практического применения Цицероном этих принципиальных установок. Если Матий совершает политическую ошибку — а такова точка зрения Цицерона — то недопустимо только в силу существующих между ними отношений amicitia извинять

---

[1] Cic., ad fam., XI, 27.

[2] Помимо известных уже высказываний на эту тему в «Лелии», Цицерон говорит об утилитарной форме дружбы и в других местах: «cuius opes tantae esse possunt aut umquam fuerunt quae sine multorum amicorum officiis stare possint?», «чьи силы могут быть или были когда-либо таковы, что они могли оставаться без поддержки многих друзей?» (pro Plancio, 81), или: «non enim possumus omnia per nos agere; alius in alia est re magis utilis idcirco amicitiae comparantur, ut commune commodum mutuis officiis gubernetur», «ибо не все мы можем делать сами; в том или ином деле более полезен тот или иной человек, [и] потому мы заводим себе друзей, чтобы общая польза достигалась обменом услуг» (pro Sexto Rosc., III).

[3] Cic., Lael., 27: «a natura mihi videtur potius quam ab indigentia orta amicitia, applicatione magis animi cum quodam sensu amandi quam cogitatione quantum illa res utilitatis esset habitura». Ср. Lael., 32.

peccatum. И, как это явно видно из второй части письма, Цицерон осуждает поведение Матия и осуждает именно по политическим соображениям.

Вторая часть письма представляет собой ответ по существу на querela Матия. Возвращаюсь к твоей жалобе, — говорит Цицерон. Прежде всего я не поверил, что ты голосовал за тот закон[1], затем, если б и поверил, то никогда бы не предположил, что ты сделал это без какой-то основательной причины. Твое высокое положение имеет своим следствием то, что обращается внимание на все, что бы ты ни делал, а недоброжелательность людей все преподносит в худшем свете, чем это было на самом деле. Во всяком случае, продолжает Цицерон, если я услышу что-нибудь подобное, то буду защищать тебя так, как ты — а мне это известно — обычно защищаешь меня от моих врагов[2].

Таким образом, до сих пор Цицерон не выходит за рамки утилитаристического понимания дружбы, и обязательство взаимных дружеских услуг дается им именно в этом плане. Но он, конечно, не может остаться только в таких узких рамках понимания дружбы, тем более что Матий, с его точки зрения, совершил политическую ошибку. Этим и объясняется тот оборот, который принимает вопрос в заключительной части письма.

Способ защиты, говорит Цицерон, однако, должен быть двояким: одну часть обвинений я буду просто отрицать, как, например, то самое голосование, другую часть буду объяснять тем, что это делалось тобой из благоговейных чувств и соображений гуманности, как, например, обеспечение игр[3].

Но, продолжает дальше Цицерон, — и здесь начинается изложение главной мысли всего его ответа Матию, — от тебя, как от человека опытнейшего и ученейшего, не может ускользнуть то обстоятельство, что если Цезарь был тираном (si Caesar rex fuerit), — а таково мое мнение, — то вопрос о твоих дружеских обязанностях можно решать в ту или иную сторону: или так, как я это обычно толкую, что, мол, следует прославлять ту верность и человечность, которую ты проявляешь по отношению к другу даже после его смерти, или же так, как это толкуют некоторые (qua nonnulli utuntur)[4], что «жизни друга следует предпочитать свободу родины»[5].

---

[1] Какой именно закон имеется в виду под словами illa lex, точно неизвестно (см. Dahlmann, ук. соч., стр. 231), но скорее всего здесь имеется в виду уже упоминавшийся выше lex Iulia de pecuniis mutuis. В пользу данного предположения говорит и то, что Матий, упоминая об этом законе в своем ответе Цицерону, уверяет, что он и сам потерпел вследствие этого закона.

[2] Cic., ad fam., XI, 27.

[3] Имеются в виду игры, данные Октавианом в честь Цезаря.

[4] Эти nonnulli, конечно, в первую очередь — сам Цицерон.

[5] Cic., ad fam., XI, 27: «libertatem patriae vitae amici anteponendam».

С этого момента Цицерон фактически вступает в открытую и непримиримую борьбу с Антонием, в ходе которой он пытается восстановить могущественную сенатскую партию и стать во главе ее. Характерно при этом, что в такой напряженный период он не оставляет своих философских и литературных занятий. Наряду с филиппиками Цицерон заканчивает работу над «De officiis», пишет ряд философских диалогов, в том числе и «Лелия».

Несомненно, что те гражданские качества, которые Цицерону хотелось бы обнаружить у своих политических сторонников, те требования, которые он предъявлял своим единомышленникам и участникам создаваемого им блока, нашли отражение в идеальном образе vir bonus с его officia, изображенном в трактате «De officiis», в градации officia и в том содержании понятия amicitia, которое вложено в этот термин в диалоге «Laelius».

Однако помимо этого имеется еще один любопытный и до сих пор недостаточно оцененный документ, относящийся притом к этому же периоду жизни и деятельности Цицерона. Это — письма Цицерона и Матия. Данные письма чрезвычайно интересны тем, что в них дается практическая интерпретация философских построений Цицерона из «De officiis» и «Laelius», а также имеются два различных и даже резко противоположных толкования officia amicitiae.

Как следует понимать officia amicitiae, как officia civilia publica или officia privata? Как должен поступить vir bonus в том случае, когда обязательства дружбы противоречат интересам res publica? На все эти вопросы, теоретически поставленные еще в диалоге «Laelius»[1], переписка Цицерона с Матием дает исчерпывающий ответ.

Обмен письмами между Матием и Цицероном[2] произошел вскоре после смерти Цезаря. Письмо Цицерона Матию датируется августом 44 г., ответ Матия, очевидно, последовал через непродолжительное время. Причина, вызвавшая обмен письмами, как можно заключить из слов Цицерона, была такова: к Цицерону, только что прибывшему в свое имение в окрестностях Тускула, явился их общий друг Требатий и изложил, очевидно, по поручению Матия, его «жалобу» (querela)[3]. Содержание этой жалобы известно из письма самого Цицерона, с которым следует ознакомиться более подробно.

Рассматриваемое письмо Цицерона и ответ Матия не раз привлекали к себе внимание буржуазных ученых. Но немецкие

---

[1] Cic., Lael., 37; 39; 40; 43. См. выше, стр. 196—199.
[2] Cic., ad fam., XI, 27—28.
[3] Там же, XI, 27.

переводчики и комментаторы занимались главным образом красноречивыми упражнениями на тему о благородстве и бескорыстии дружбы Матия и об «оскорбительной холодности» Цицерона. Еще Виланд в примечаниях к своему переводу писем говорил о том, что ослепительная эпистолярная форма Цицерона бледнеет перед мастерски написанным и вместе с тем полным искренности ответом Матия. В этом же плане высказывался в своем комментарии Бардт, который говорит об «оскорбительных намеках» Цицерона и о подкупающем способе изложения «бесхитростного» Матия; наконец, даже автор специальной работы Штернкопф[1], считая нужным «взять под защиту» Цицерона, отмечает, что все же «позиция и манера Матия нам гораздо более симпатичны».

Едва ли эти письма представляли бы большой исторический интерес, если бы на их основании можно было только судить о личных особенностях и свойствах характера Цицерона или Матия. Ценность этих документов заключается в том, что в них достаточно наглядно отражено принципиальное различие двух мировоззрений, двух идеологий, хотя бы в одном частном вопросе: в понимании обязанностей дружбы, officia amicitiae[2].

Цицерон начинает свое письмо к Матию с упоминания о том, что на другой же день после его приезда в Тускул его посетил Требатий, «человек, сколь вполне услужливый, столь и преданнейший нам обоим друг»[3]. После обмена любезностями Цицерон, видимо, желая выяснить цель посещения, осведомился о том, нет ли каких-нибудь новостей («num quidnam, inquam, novi?»). Тогда Требатий изложил жалобу (querelam) Матия, по поводу чего Цицерон пишет: «о которой прежде, чем отвечать, я скажу кое-что»[4].

Этому «кое-что» затем посвящаются две трети длинного письма. В этой части Цицерон излагает историю своей дружбы

[1] S t e r n k o p f, Cicero und Matius, 1901, стр. 20.

[2] Следует отметить, что впервые этот вопрос был поставлен Дальманном, однако последний не рассматривает его в связи с теоретическими высказываниями Цицерона о дружбе в «De officiis» и «Laelius», а потому и не делает всех возможных выводов. Так, например, он считает, что на основании этой переписки можно судить о двух типах дружбы: а) между Матием и Цицероном и б) между Матием и Цезарем, но совершенно недостаточно останавливается на основном «конфликте», вскрываемом перепиской — различном понимании officia amicitiae. См. H. D a h l m a n n, Cicero und Matius, NJADB, 1938, H. 6, стр. 225—239. В последнее время этой перепиской интересовался Каркопино. Однако его рассуждения не представляют большого интереса, ибо они весьма близки по своему содержанию и манере к вышеупомянутым высказываниям Виланда, Бардта и т. п. См. J. C a r c o p i n o, Les secrets de la correspondance de Ciceron, II, Paris, 1947, стр. 45—51.

[3] C i c., ad fam., XI, 27: «homo cum plenus officii, tum utriusque nostrum amantissimus».

[4] Там же, XI, 27: «de qua prius, quam respondeo, pauca proponam».

После этого весьма прозрачного намека Цицерон патетически восклицает, что ему хотелось бы, чтобы Матию были переданы образцы его рассуждений в речах, уверяет его в том, что он прославляет два его самых славных деяния — совет не начинать гражданской войны и совет умеренно пользоваться победой, — и заключает письмо несколько странным пассажем: «итак, я благодарен нашему другу Требатию, который дал мне повод для этого письма; если же ты не поверишь ему, ты сочтешь меня лишенным всякого [чувства] долга и человечности; и для меня ничто не может быть более тяжелым, чем это, а для тебя ничто — более чуждым»[1].

Последняя часть письма с достаточной убедительностью раскрывает истинное отношение Цицерона к поведению Матия и его querela. Цицерон в принципе совершенно не одобряет этого поведения и хотя чувствует себя обязанным Матию и обещает отплатить той же монетой за прошлые дружеские услуги, но на самом деле считает, что подобная уступка противоречит истинным officia amicitiae.

Из писем Цицерона к Аттику известно, что он неоднократно и достаточно явно выражал свое недовольство поведением Матия после смерти Цезаря. Еще в апреле 44 г., после разговора с Матием, Цицерон писал, что Матий совершенно потерял голову и считает положение государства отчаянным и безнадежным[2]. Хотя Цицерон и уверяет Матия, что он будет защищать его curatio ludorum victoriae Caesaris как проявление pietas и humanitas по отношению к памяти друга, но в другом письме к Аттику он говорит прямо: «роскошь игр в честь него, а также Матий и Постумий в качестве прокураторов мне не нравятся»[3].

Это отношение Цицерона к поведению Матия является вполне закономерным. В его основе лежат те принципиальные соображения о задачах и обязанностях дружбы, которые высказаны Цицероном в диалоге «Лелий». Письмо к Матию есть не что иное, как практическое осуществление теоретических положений о дружбе, которые высказаны в трактате, или, наоборот, сам трактат, если он написан после письма к Матию, что едва ли может быть точно установлено, является теоретическим обобщением идей, высказанных в письме. Основная мысль письма сводится к следующему: «libertatem patriae vitae amici

---

[1] Cic., ad fam., XI, 27: «quare habeo gratiam Trebatio, familiari nostro, qui mihi dedit causam harum literarum: quibus nisi credideris [!?], me omnis officii et humanitatis expertem iudicaris; quo nec mihi gravius quidquam potest esse nec te alienius».

[2] Cic., ad Att., XIV, 1.

[3] Так же, XV, 2: «ludorum eius apparatus et Matius et Postumius mihi procuratores non placent».

anteponendam». Более того, если этот друг — тиран (rex), поработитель свободы (например, Цезарь, Гракхи и т. д.), то предпочтение officia по отношению к другу интересам res publica — уже прямое преступление, peccatum, которому нет прощения. Вот почему противодействие началу гражданской войны и совет умеренно пользоваться победой, те бесспорные в глазах Цицерона заслуги Матия, которые он намеревался публично прославлять, являются для него вместе с тем смягчающим обстоятельством, позволяющим ему не отрекаться от дружбы с Матием.

Таким образом, многие мысли письма к Матию весьма близки и часто перекликаются с основными положениями трактата о дружбе и, в частности, с его центральной частью (главы XI—XIII), в которой развивается учение об основном законе дружбы (lex in amicitia). Конечно, такое соответствие не может быть случайным, и уже шла речь о том, что письмо к Матию можно рассматривать как применение основных идей «Лелия» на практике. Этот тезис может получить тем более серьезное подтверждение, если вспомнить, что «Laelius de amicitia» написан летом — осенью того же года, что и письма (т. е. в 44 г.). Возможно, что трактат Цицерона, как сказано выше, в какой-то мере можно считать своеобразным ответом на письмо Матия[1]. Разумеется, в данном случае не столь важно, в какой последовательности основные мысли о дружбе были высказаны Цицероном: то ли сначала ему пришлось коснуться этого вопроса практически, т. е. в письме к Матию, и только затем уже соответствующие взгляды были систематизированы в более или менее стройное учение или же это происходило наоборот. Важно то, что они не были для Цицерона только «теоретическим капиталом», который не мог найти себе применения в сфере политической практики. В этом — особый интерес высказываний Цицерона о дружбе.

Теперь необходимо перейти к ознакомлению с ответом Матия на письмо Цицерона.

«Я получил большое удовольствие от твоего письма, — так начинает Матий, —ибо узнал из него, что ты держишься обо мне такого мнения, как я желал и надеялся. Хотя я в нем и не сомневался, но, так как весьма его ценю, то старался, чтобы оно сохранилось без всяких изменений»[2].

После этого небольшого, в отличие от Цицерона, вступления Матий переходит к существу дела. Оно состоит для него в том, чтобы объяснить и оправдать свое поведение после смерти Цезаря.

Чрезвычайно интересен тот основной тезис, который дан

[1] См. Dahlmann, ук. соч., стр. 238.
[2] Cic., de fam., XI, 28.

в начале письма и затем развит в центральной его части и исходя из которого Матий строит всю свою систему оправдания. Он пытается доказать, что им не сделано ничего такого quod boni cuiusquam offenderet animum. Это — в принципе «чисто римская» установка, приемлемая для Цицерона, и, видимо, этим последним обстоятельством и объясняется тот факт, что именно она избрана в качестве исходной точки для построения всей системы оправдания. Но, перейдя к самому оправданию, Матий невольно отвлекается от этой «установки» и, высказывая попутно свои мысли о дружбе и обязанностях друзей, по существу развивает диаметрально противоположное взглядам Цицерона понимание officia amicitiae.

Наибольший интерес представляет та часть письма, в которой Матий переходит непосредственно к разбору выдвигаемых против него обвинений, ибо, наряду с анализом обвинений, он развивает здесь свое понимание дружбы и ее законов.

Мне хорошо известно, пишет он, в чем меня обвиняли после смерти Цезаря. Мне ставят в вину, что я тяжело переношу смерть близкого мне человека и друга и негодую, что погиб тот, кого я любил. Говорят, что, мол, интересы отечества нужно предпочитать дружбе (patriam amicitiae praeponendam esse), как будто уже доказано, что его смерть была полезна для государства. Но я не хочу лукавить и открыто признаюсь, что еще не достиг такой степени мудрости[1].

Ибо я не то, что последовал за Цезарем в партийной борьбе, но лишь не покинул друга, хотя мне эти дела претили: ведь я никогда не одобрял гражданской войны, ни даже причин раздора, — более того, я пытался всеми силами погасить этот раздор в самом его начале. И я не был после победы моего друга привлекаем ни почестями, ни обилием богатства, хотя другие, имевшие гораздо меньшее значение у Цезаря, чем я, пользовались подобными наградами весьма неумеренно. Мое состояние даже уменьшилось вследствие закона Цезаря[2], благодаря которому многие из тех, кто ныне радуется смерти Цезаря, смогли остаться гражданами. Я же прилагал также усилия, чтобы побежденные граждане были помилованы как если бы это касалось моего собственного благополучия[3].

В этом разделе письма, посвященном анализу обвинений, Матий, как видно, пытается построить свое оправдание на основе

---

[1] Cic., ad fam., XI, 28.

[2] См. выше, стр. 204. Вполне вероятно, что это и есть тот самый закон, голосование за который ставится ему в упрек в письме Цицерона. Матий, таким образом, показывает свою непричастность к проведению этого закона и одновременно еще раз подчеркивает бескорыстие своей дружбы к Цезарю.

[3] Cic., ad fam., XI, 28.

аргументов, подсказанных ему Цицероном. Он развивает мысль Цицерона об illa vero dua, т. е. о тех двух наиболее славных деяниях, которыми Матий может гордиться: противодействие началу гражданской войны и борьба за умеренное использование этой победы. Но по существу это есть извращение позиции Цицерона, ибо развитие этих смягчающих вину аргументов в стиле Матия для него абсолютно неприемлемо.

Действительно, строя свою систему оправдания, Матий исходит из противопоставления Цезаря как политического деятеля Цезарю как человеку, уверяя, что Цезарь-человек был его другом, а до Цезаря-политика ему не было никакого дела. Но уже такое противопоставление абсолютно неприемлемо для Цицерона, и он никогда бы не мог оправдать дружбы, закрывающей глаза на политическое лицо и ориентацию друга, не говоря уже о том, какое впечатление должна была произвести на него фраза Матия относительно недоказанности пользы государству от смерти Цезаря. Ироническое же отношение Матия к тому, что patriam amiciticae praeponendam esse (а это положение, как показано, было основой воззрений Цицерона на дружбу) могло встретить лишь самую отрицательную реакцию Цицерона и свидетельствует о двух различных и, по существу, непримиримых трактовках понятия amicitia. Для Матия же сомнение в этой формуле вполне закономерно, и он, конечно, не случайно именно с нее начинает свое противопоставление дружбы и политики; для него дружба и политика — явления, находящиеся в двух совершенно различных и не пересекающихся друг с другом плоскостях.

В последней части письма Матий переходит в наступление. С позиций «теории чистой дружбы» он обрушивается на своих зложелателей. Как же могу я, восклицает он, я, который желал, чтобы все были невредимы, не возмущаться гибелью того, кому мы этим обязаны? Далее он останавливается на угрозах своих противников. Что за неслыханное бесстыдство, говорит Матий, что одни могут хвастаться своими злодеяниями, другие же не имеют права печалиться без угрозы наказания. Но ведь свобода радоваться, бояться, печалиться по собственной, а не чужой воле всегда предоставлялась даже рабам, и вот такое право у нас пытаются вырвать угрозами эти самые, как они величают себя, творцы свободы![1]

Мне известно, что раздражает этих людей против меня, продолжает Матий, а именно, мое желание того, чтобы они раскаялись в содеянном ими. Я же хочу этого, ибо смерть Цезаря прискорбна для всех[2].

---

[1] Cic., ad fam., XI, 28.
[2] Там же.

По существу эта часть письма представляет собой апологию Цезаря. Выразив в начале письма сомнение в том, что смерть Цезаря была полезна государству, и утверждая, что это еще не доказано, в данной части письма Матий, собственно говоря, пытается уже доказать обратное: не может быть полезна государству смерть того, кто даже после победы оставил всех «невредимыми». Заканчивает он прямым утверждением ошибочности «всего содеянного» и тем, что смерть Цезаря «прискорбна для всех». И если в этой части письма Матий также пытается отстоять свое право печалиться о Цезаре с позиций «чистой дружбы», отделяющей себя от «политики», то здесь явно видна внутренняя противоречивость его положения. Говоря о Цезаре, он все-таки не может элиминировать политическую сторону вопроса, не может вовсе отвлечься от оценки политической деятельности своего друга, и ему невольно, дабы сохранить право хоть на «чистую дружбу», приходится в какой-то мере положительно высказываться и о политической деятельности Цезаря (например, подчеркивать его clementia к своим политическим противникам). Но это неизбежно выводило его отношение к Цезарю за рамки им же самим установленного понятия «чистой дружбы». В этом и состоит внутренняя противоречивость его «оправдания», и, например, позиция Цицерона в данном вопросе, несомненно, была более твердой и последовательной.

Однако и здесь Матий пытается подчеркнуть частный, «приватный» характер своей дружбы. Он говорит о своем желании иметь лишь те естественные и элементарные права, в которых нельзя отказать никому из людей, даже рабам. На что-либо большее в отношении своего погибшего друга он не претендует. Из дальнейшего ясно, что он определяет officia amicitiae, как officia humanitatis. Это и есть законченная формулировка понятия «чистой дружбы». В принципе Матий остается на тех же позициях, что и в предыдущей части письма, но практически, как было только что показано, ему чрезвычайно трудно сохранить последовательность в проведении этой линии и не выходить за рамки провозглашенных им же самим принципов.

До сих пор, как видно, Матий строит систему оправдания (и одновременно с нею концепцию «чистой дружбы») в плане общих соображений, не опровергая еще тех конкретных crimina, которые выдвигал в своем письме Цицерон. Только в заключительной части письма, кстати совершенно обходя весьма неясный вопрос о suffragium, Матий переходит к разбору и ответу на вопрос de curatione ludorum.

Свою попытку объяснения и оправдания в этом конкретном crimen Матий тоже полностью строит с позиций «чистой дружбы». Он подчеркивает, что устройство этих игр есть privatum officium, что, организуя игры, он имел в виду не прославление

Цезаря-политика, но лишь память о своем ближайшем друге (hominis amicissimi). На сей раз он действительно тщательно подчеркивает частные, приватные стороны своих дружеских связей с Цезарем, указывая хотя бы на то, что Цезарь никогда не ограничивал свободу его знакомств и дружеских связей с самыми различными людьми. При этом он намекает (имея в виду, конечно, самого Цицерона!), что к этим людям могут быть отнесены и те, кто находился во враждебном Цезарю лагере[1].

Наконец, Матий переходит к заключительной части своего письма. Здесь он говорит о своем желании удалиться на Родос и заканчивает письмо благодарностью Требатию и выражениями признательности Цицерону за дружелюбное отношение.

Итак, в ответе Матия, помимо попытки создать определенную систему оправдания (что рассмотрено уже довольно подробно), дается развитие взгляда на officia amicitiae, который был определен как учение о «чистой дружбе». Необходимо подвести некоторые итоги по поводу этих высказываний Матия.

Трактовка проблемы amicitia и ее задач Матием определяется прежде всего, как это уже подчеркивалось, его отношением к требованию: patriam amicitiae praeponendam esse. Его иронический отказ высказать свое прямое отношение к этому основному тезису достаточно красноречиво говорит сам за себя. Одним этим вся концепция officia amicitiae в том виде, в котором она выступает у Цицерона, сведена на нет, испытание дружбы критерием интересов государства полностью отвергается. Дружба и «политика» — явления разных плоскостей и эти плоскости отнюдь не должны перекрещиваться.

Однако Матий не был (да и не мог, конечно, быть) достаточно последовательным в своей аполитичности. Если он и не дает общей оценки политической фигуры Цезаря, не говорит, был ли или не был Цезарь тираном, то он все же вынужден оценивать его отдельные качества (и не человека только, а политика!), как, например, clementia Цезаря по отношению к побежденным политическим противникам и т. д., ибо, конечно, Цезарь для него никогда не был тираном и «душителем свободы». Если он тщательно подбирает «аполитичные» и «общечеловеческие» эпитеты, когда он говорит о Цезаре, то наряду с этим он именует его vir amplissimus[2].

Матий, вообще говоря, некий «индивидуалист», который интересы и права личности ставит во всяком случае не ниже интересов государства в целом. Он отстаивает свои «личные свободы», подчеркивая их естественный, общечеловеческий

---

[1] Cic., ad fam., XI, 28.

[2] Следует иметь в виду, что amplissimus — официальный почетный титул лиц, занимавших высшие государственные должности.

характер. Пользование ими не нарушит лояльности в отношении res publica, а, с точки зрения Матия, этой лояльностью вполне могут быть исчерпаны взаимоотношения между отдельным индивидом и государством. Он безусловно против нарушения лояльности, но, с другой стороны, он и против того, что государство может требовать чего-то большего, чем только лояльное отношение. Таковы его основные воззрения на существо и задачи amicitia.

Таковы два взаимоисключающих понимания существа и задач дружбы, officia amicitiae, и одновременно гражданских обязанностей vir bonus. Основное противоречие сосредоточивается вокруг тезиса: patriam amicitiae praeponendam esse. Для цицеронового понимания вопроса, это — постулат, из которого выводятся все дальнейшие построения. С точки зрения Матия, это, в лучшем случае, сомнительная проблема. Если он не считает правильным обратное, т. е. что личные интересы могут быть поставлены выше государственных, то значение тех и других для него равноценно. Наиболее приемлемый выход он видит, надо полагать, в том, что отношение индивида к государству вполне может быть исчерпано и определено лояльностью поведения.

Конечно, это не только два полярных воззрения, но и две совершенно различные идеологические сферы. Питательной средой воззрений Матия был эллинистический мир с характерным для него индивидуализмом, сформировавшимся на базе разложения полиса, а той идеологической сферой, которая породила цицероново толкование officia amicitiae, была в большинстве своем консервативно настроенная римская аристократия II—I вв., конечно, уже воспринявшая по-своему и переработавшая на самобытной римской основе важнейшие элементы эллинистической культуры в широком смысле слова.

---

## Глава III

# ЦИЦЕРОН И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРИНЦИПАТА

Вопрос о политической терминологии Цицерона, хотя его и приходилось касаться выше, не является в данной работе предметом самостоятельного исследования. Однако нетрудно убедиться в том, что политическая терминология, которой пользуются Цицерон (главным образом, в «De re publica») и Август в своих «Res gestae», в ряде деталей совпадают. Так, например, Цицерон нередко оперирует понятиями auctoritas или princeps (иногда именно в единственном числе). Замечено[1], что те качества и атрибуты, которыми Цицерон в «De re publica» наделяет первых римских царей[2], сконцентрированы затем в знаменитом перечислении нравственных достоинств на clupeus aureus: «ради доблести, милосердия, справедливости и благочестия»[3].

Очевидно, подобные соответствия и дали основание ряду новейших буржуазных историков считать Цицерона сознательным сторонником и апологетом монархии, идеологическим предшественником принципата.

Еще Ферреро[4] высказывался в том смысле, что Цицерон в «De re publica» дал апологию принципата. Не менее определенно звучит утверждение Р. Ю. Виппера[5], что rector rei publicae Цицерона есть «монархический президент».

Названная тенденция нашла себе наиболее полное и яркое отражение в новейшей буржуазной историографии и, в част-

---

[1] См., например, E. Struck, Ciceros Schrift de re publica, NJADB, 1939, H. 5, стр. 222.

[2] Cic., de rep., II, 17; 27; VI, 16.

[3] RGDA, 34: «virtutis clementiae iustitiae et pietatis causa».

[4] Г. Ферреро, Величие и падение Рима, II, 1916, стр. 75—76; 156.

[5] Р. Ю. Виппер, Очерки истории римской империи, стр. 271.

ности, в немецкой, где она приобретает вполне определенную политическую окраску.

Так, например, Ф. Тегер[1] вполне определенно настаивает на монархических симпатиях Цицерона. О монархическом идеале Цицерона говорит и Рейценштейн[2], по мнению которого Цицерон вносит свой корректив в полибиеву схему смешанного государственного устройства Рима, подставляя на место консулов в качестве «царского элемента» своего rector rei publicae. Эдуард Мейер[3] считает, что образцом для Цицерона была «идеальная аристократия» под руководством принцепса, т. е. по существу некая конституционная монархия.

Однако эти представления настолько противоречат установившейся еще в древности репутации Цицерона, что они не могли не вызвать противоположного движения в западноевропейской историографии. Мнение о Цицероне как апологете и провозвестнике принципата было основательно поколеблено работами Р. Гейнце[4]. Он убедительно показал, что государство, которое имеет в виду Цицерон в своем трактате, есть аристократическая республика. Понятие auctoritas, которым оперирует Цицерон, всецело находится в этой же сфере. И даже слово principes типично для аристократической идеологии. Principes, как считает Гейнце, у Цицерона — всего лишь перевод греческого слова ἄριστοι. Principes — это руководящие мужи сената.

Как видно, Р. Гейнце пытается опровергнуть взгляд на Цицерона как на апологета монархии путем анализа некоторых терминов (например, auctoritas, princeps), которыми оперирует Цицерон. Он, один из первых, пытался вскрыть внутреннее содержание этих терминов и доказать, с одной стороны, отсутствие в них монархического привкуса, а с другой стороны, подчеркнуть их традиционный и лойяльный по отношению к существующему строю характер. В этом же направлении строит свое исследование В. Шур[5], который занимает как бы промежуточную позицию, пытаясь доказать, что Цицерон, некогда твердо стоявший на республиканских позициях, постепенно был вынужден пойти на уступки «монархической действительности» и примириться с нею. В. Шур пытается обосновать этот тезис, прослеживая различные нюансы в словоупотреблении Цицерона. Его тоже интересует главным образом употребление

[1] F. Taeger, Die Archäologie des Polybios, стр. 34.

[2] R. Reitzenstein, Die Idee des Principats bei Cicero und August, GN, Phil.-hist. Klasse, H. 3, 1917, стр. 399; 436 слл.

[3] Ed. Meyer, Caesars Monarchie..., стр. 177 слл.

[4] R. Heinze, Ciceros «Staat» als politische Tendenzschrift, «Herm»., LIX, 1924; его же, Von der Ursachen der Grösse Roms, Lpz., 1921.

[5] W. Schur, Sallust als Historiker, Stuttg., 1934, стр. 36 слл.

термина princeps. Анализируя этот вопрос, он, однако, приходит к выводу, что, поскольку Цицерон все же употребляет слово princeps в единственном числе и применяет его к Периклу, а тем более к Помпею, то нельзя не считаться с тем, что слово приобретает «новый оттенок» и в этом-то как раз и заключается уступка Цицерона «монархической действительности». Если в речах post reditum слово princeps имеет еще республиканский смысл, то в речах pro domo, в речи за Сестия, в de provinciis consularibus и в письме к проконсулу Лентулу Спинтеру в декабре 54 г. оно, несомненно, приобретает уже новый оттенок, наполняясь монархическим содержанием. Следовательно, Цицерон, делает вывод В. Шур, подготовил почву для монархической трактовки идеи принципата.

Эти выводы, в конечном счете, приводят В. Шура к оценке Цицерона как «идеологического предтечи» принципата Августа; в одном месте он даже прямо называет Августа «непосредственным учеником Цицерона»[1].

Так как все или большинство вышеприведенных высказываний о политических позициях Цицерона основываются на материале его трактата «De re publica», то, очевидно, прежде чем излагать какую-либо точку зрения на этот вопрос, необходимо снова вернуться к этому сочинению и хотя бы в общих чертах остановиться на политических тенденциях сочинения Цицерона о государстве в той его части, которая трактует вопрос de optimo cive, т. е. об идеальном государственном деятеле.

Трактат Цицерона «De re publica» был начат, очевидно, в 64 г., а закончен и вышел в свет в 51 г.[2], непосредственно перед отъездом Цицерона в Киликию. Появление трактата в свет в означенном году, если принять во внимание политическую обстановку этого периода и положение самого Цицерона, во многом может помочь выяснению политических настроений и взглядов, развиваемых в самом трактате.

В 50-х годах политическая борьба в Риме отличалась чрезвычайной напряженностью. Государственный аппарат в значительной мере был дезорганизован. Все четыре кандидата на консульство 53 г. были обвинены в предвыборных подкупах; вплоть до июля длилось interregnum. Заключались сделки для фальсификации сенатских протоколов, благодаря денежным операциям на выборах сильно возросли размеры процентов. Сенат был неспособен восстановить порядок, а Помпей, отсутствовавший вследствие cura annonae, наоборот, даже считал, что анархия в Риме только укрепляет его позиции и рано

---

[1] W. Schur, ук. соч., 36.

[2] См. С. Вехов, Сочинение Цицерона о государстве, СПб., 1882, стр. 5—8; Ed. Meyer, Caesars Monarchie..., стр. 178, прим. 1.

или поздно приведет к тому, что сенат сам будет вынужден вручить ему верховную власть в государстве[1].

Смерть Красса и восстание в Галлии обострили борьбу между помпеянцами и цезарианцами в самом Риме. 52 год начался опять без высших магистратов. На улицах Рима и по всей Италии происходили кровавые стычки. В одной из них чуть не погиб сам Цицерон[2], а на Аппиевой дороге был убит Клодий[3]. Его смерть произвела в Риме большое впечатление и была причиной массовых выступлений[4].

В течение всего лета 52 г. население Рима находилось в состоянии крайнего ажиотажа. Не прекращались собрания, митинги, столкновения, нередко кончавшиеся кровопролитием. Положение дел вынудило сенатскую партию снова обратиться к Помпею. Сенат обсуждал вопрос о диктатуре; Бибул предложил для Помпея консульство sine collega. Ожидалась оппозиция со стороны Катона, но он заявил, что поддерживает предложение, поскольку таковое уже сделано[5]. Предложенный вариант, очевидно, оказался самым приемлемым как наиболее мягкая форма диктатуры. Помпей тотчас вступил в должность. Политическая борьба в Риме переходила на новый этап своего развития: приближался решающий конфликт между бывшими триумвирами.

Положение Цицерона во все эти годы было чрезвычайно двусмысленным. Он заигрывал с триумвирами еще в тот период, когда существовало единство действий между членами триумвирата (т. е. при жизни Красса), за что и заслужил нерасположение сенатской оппозиции[6]. И после смерти Красса он продолжал лавировать между Помпеем и Цезарем, хотя, очевидно, был более склонен к ориентации на первого, что вытекает из его свидания и беседы с Помпеем перед самым отъездом в Киликию, когда он отсоветовал Помпею уезжать в Испанию[7].

Все это говорит за то, что Цицерон в этот период едва ли был настроен таким образом, чтобы сознательно пропагандировать идею принципата. Бесспорно, что в эти годы он находился в состоянии тяжелой моральной депрессии и, с болью говоря о

---

[1] Plut., Pomp., 54; Cato min, 45; Caes., 28; Brut., 29; App., BC, II, 19 слл.

[2] Cic., pro Mil., 14, 37; Asc., стр. 48.

[3] Cic., pro Mil., 10, 28 слл.; 20, 53 слл.; Phil., II, 21; Liv., Ep., 107; Vell., II, 47; Suet., Div. Iul., 26; Plut., Cic., 35; App., BC, II, 20 слл.; Dio, XL, 48; Asc., стр. 32, слл.; 36; 42; 54; Schol. Bob., стр. 275.

[4] Cic., pro Mil., 13, 33; 32, 86; 33, 90 слл.; Phil., XIII, 12, 27; App., BC, II, 21—22; Dio, XL, 49; Asc., стр. 33 слл.; 43; 46; 55; Schol. Bob., стр. 275; 280.

[5] Plut., Pomp., 54.

[6] Cic., ad fam., I, 9.

[7] Cic., ad Att., V, 7; ср. II, 27; ad fam., VIII, 8.

том, что «республики — нет», а «Помпей — всесилен», считал свою политическую карьеру — и в значительной степени именно по этой причине — разбитой. Ни о каком «тяготении» Цицерона к принципату не может быть и речи[1]. Более того, пропаганда идеи принципата в этот период для Цицерона была чрезвычайно невыгодна, во-первых, потому, что она могла лишь подкрепить бросавшиеся ему обвинения в измене «прежнему делу», перебежке в другой лагерь, а во-вторых, и потому, что пропаганда идеи единовластия при «соглашательской» политике Цицерона в отношении Цезаря и Помпея была опасной: она, бесспорно, была бы воспринята враждебно одним из двух соперников.

Кроме того, если предположить, что в «De re publica» идет речь о принцепсе — Помпее, то непонятно, почему трактат не был опубликован хотя бы в 52 г., когда сенатские круги до известной степени, как упоминалось выше, были готовы примириться с диктатурой, а лишь в 51 г., хотя в этом году настроение существенно изменилось. Наконец, непонятно, почему современники и последователи Цицерона, как, например, Целий, Аттик, совершенно не замечали этой «идеи принципата» в «De re publica»[2]. Но само собой разумеется, что политические тенденции Цицерона следует определять, исходя не только из окружающей обстановки, но — и притом главным образом — из материала, представляемого самим произведением. Поэтому необходимо вернуться к труду Цицерона.

Основными источниками трактата Цицерона, как уже упоминалось, являются Полибий, Панетий, Платон и, возможно, Дикеарх[3]. В основном, трактат «De re publica» объединяет в одно целое государственную теорию средней Стои с практическим опытом римского консула[4].

Композиционное построение диалога таково: он состоит из шести книг и соответственно своей продолжительности в три дня явственно распадается на три части (по две книги в каждой): а) de optimo statu civitatis; б) философское обоснование понятия государства из идеи справедливости; в) de optimo cive. Поскольку первая часть диалога уже подробно рассмотрена в настоящей работе[5], а вторая не имеет прямого отношения к изучаемой теме, необходимо остановиться на анализе третьей части, посвященной изучению проблемы de optimo cive.

---

[1] См. И. М. Тронский, Построение трактата Цицерона «О государстве» и его политические тенденции, ДСФИЛГУ, I, 1949, стр. 182.
[2] Там же.
[3] См. выше, стр. 167.
[4] W. Schur, ук. соч., стр. 42 слл.
[5] См. стр. 162—177.

В согласии с традиционной римской точкой зрения: «Нравами древними Рим и мужами [могучими] крепок»[1], Цицерон считает, что процветание государства обязано взаимодействию этих двух основных факторов: mores и viri. Поскольку в Римском государстве осуществлен идеал смешанного устройства, то оно само по себе не нуждается в принципиальных изменениях сравнительно с древнейшей римской конституцией; нужно лишь «подновить краски», вдохнуть древний дух — древние mores и virtutes в граждан государства. Иными словами, необходима лишь нравственная реформа[2]. Но она, очевидно, может быть проведена только каким-то руководящим лицом, которое способно выполнить подобную задачу и занять соответствующее положение в силу своих собственных нравственных и гражданских качеств. Подобного реформатора Цицерон называет rector rei publicae или civitatis.

Еще Гейнце обратил внимание на то, что идеальный реформатор действительно всюду называется Цицероном rector rei publicae (civitatis), но не princeps (за исключением некоторых неточных эксцерптов). Термин rector впервые появляется в «De oratore»[3] при определении государственного деятеля. Он не имеет никакого монархического оттенка, являясь лишь латинским эквивалентом греческого ἀνὴρ πολιτικός. Несомненно, в таком же смысле этот термин употребляется и в «De re publica». Монархический оттенок никак не приложим к слову rector. Под этим термином Цицерон постоянно подразумевал «аристократа-реформатора». В книге VI «De re publica» приводятся образцы этих rectores rei publicae; таковы Сципион, Луций Эмилий Павел, Катон, Гракх-отец, Лелий, Сципион Назика. А так как в дальнейшем Цицерон примеряет и самого себя к идеалу rector rei publicae[4], то не-монархический характер этого понятия совершенно ясен.

Небезинтересно отметить, что в «De re publica» отмечаются лишь обязанности rector, но не его права. Поэтому С. И. Протасова вполне основательно утверждает, что для Цицерона понятие de optimo cive есть норма поведения, а не власти[5].

Действительно, Цицерон требует от своего rector rei publicae прежде всего определенных нравственных и гражданских достоинств, требует благоразумия[6], требует, чтобы в таком

---

[1] «Moribus antiquis res stat Romana virisque».
[2] См. выше, стр. 177.
[3] Cic., de orat., I, 211.
[4] Cic., ad Att., VI, 2, 9; VII, 3, 2.
[5] С. И. Протасова, УЗСУ, VI, 277.
[6] Cic., de rep., II, 40.

человеке разум торжествовал над низкими страстями[1], ибо, если это необходимо для каждого, то для правителя государства необходимо вдвойне[2]. Помимо этого Цицерон требует от правителя мужества, осмотрительности, воздержанности[3] и, наконец, трудолюбия, без которого правитель не может удовлетворять своему высокому положению и задачам[4].

Кроме того, собственно говоря, нигде не указывается, что rector должен быть всегда в единственном числе, наоборот, как правило, должно иметь место соревнование нескольких лиц[5] в целях большего приближения к идеалу. Если же слово rector и встречается в «De re publica» в единственном числе, то это объясняется, как показал еще Норден, тем эллинистическим каноном, согласно которому материал должен быть расположен так: изложение самой дисциплины (τέχνη), а затем специальный раздел, посвященный мастеру (τεχνίτης). Так же строится и трактат Цицерона: сначала излагается сама дисциплина — πολιτικά, а затем идет раздел, специально посвященный мастеру — πολιτικός. Поэтому государственный деятель Цицерона никак не «монарх» и даже не «президент», но просто optimus civis, praestans vir, πολιτικός. И, наконец, согласно высказываниям самого Цицерона, образ rector дается и мыслится им самим лишь как некая норма, идеал. Таким образом, искать в цицероновом идеальном ἀνὴρ πολιτικός портретного сходства с кем-либо из римских деятелей, как то делают некоторые исследователи, нет никаких оснований. В лучшем случае он задуман как некий приукрашенный автопортрет[6].

Следует также отметить полную несостоятельность попыток вывести монархические тенденции Цицерона, как это делает В. Шур, из факта употребления и другого термина: princeps (иногда тоже в единственном числе). Во-первых, такое заключение неправомочно уже потому, что идеальный государственный деятель для Цицерона всегда (как отмечалось выше) rector, а не princeps, что, видимо, подчеркивалось самим Цицероном. Говоря о руководителе государства, о реформаторе, Цицерон сознательно употребляет точный термин (rector) и избегает слова princeps. Princeps, таким образом, не есть terminus technicus в государственно-правовом словаре Цицерона. Во-вторых, употребление слова princeps в единственном числе также ничего не может доказать, кроме наличия определенных фор-

---

[1] Cic., de rep., II, 46.
[2] Там же, II, 41; de off., I, 23, 73.
[3] Там же, II, 41; V, 8.
[4] Там же, V, 7.
[5] W. Schur, ук. соч., 49.
[6] См. И. М. Тронский, ДСФИЛГУ, стр. 181.

мальных приемов, как и соответствующее употребление термина rector.

Но и понятие auctoritas, как указывал Р. Гейнце[1], всецело относится к республиканско-аристократическому кругу идей и представлений. Auctoritas без внешних средств власти есть лишь покоящаяся на всеобщем признании действенная сила, прежде всего в морально-политическом плане. Ее политическое значение освящено традицией: auctoritas — чисто римское понятие, восходящее к глубокой древности; издавна говорилось об auctoritas patrum, auctoritas senatus. Позднее для auctoritas и ее носителей стали стремиться найти соответствие в греческом языке и греческой политической терминологии: носитель auctoritas — это προστάτης τοῦ δήμου Платона, который только и может осуществить платонов идеал ἐκόντων ἄρχειν[2].

Таким образом, auctoritas principis вполне закономерно и органически включается в общественный порядок республики[3].

Следовательно, ни термин rector, ни термин princeps не имеют никакого монархического привкуса, и употребление их Цицероном отнюдь не может рассматриваться как свидетельство монархических симпатий автора. Необходимо, однако, все же выяснить, какое место занимал rector в совершенном государственном устройстве и в чем состояли его роль и значение.

Цицерон, в основном, ставит своему идеальному государственному деятелю задачу, которую он постоянно рассматривал и как свою собственную: «я вел себя так во время консульства, что не делал ничего без совета сената, ничего — без аппробации римского народа, так что часто защищал на рострах курию, в сенате — народ и соединил толпу с первейшими [людьми государства], всадническое сословие — с сенатом»[4]. Но если государственные институты оказываются не на высоте, например, сенат [5], то в consensus bonorum в силу своей auctoritas вступает civis optimus (т. е. частный гражданин, а не должностное лицо)[6] в качестве tutor et moderator rei publicae или rector et gubernator civitatis[7].

---

[1] См. выше, стр. 213.

[2] Plato, Pol., 219e.

[3] Об употреблении термина auctoritas см. Н. А. Машкин, Принципат Августа, стр. 384—391.

[4] Cic., in Pis., 7: «atque ita est a me consulatus peractus, ut nihil sine consilio senatus, nihil non approbante populo Romano egerim, ut semper in rostris curiam, in senatu populum defenderim, ut multitudinem cum principibus, equestrem ordinem cum senatu coniunxerim».

[5] Cic., de rep., I, 69.

[6] Там же, II, 46. См. пример Брута; ср. о Сципионе, Brut., 212.

[7] Там же, II, 51. Здесь уже имеется определенное разложение государственной идеи римского полиса. Государственные институты (сенат, магистратуры, в частности, власть консулов) устарели, они перестали

Платон связывал возникновение государства с идеей справедливости; Цицерон, в общем, следует в этом вопросе Платону, но у него эта идея приобретает более практический оттенок, так как для Цицерона носителями справедливости (aequitas) являются всегда практические деятели (moderator, rector)[1]. Из обеих задач, которые поставлены богами перед людьми: «или основывать новые государства или сохранять уже основанные»[2] — как раз «сохранять уже основанные» и есть долг политического деятеля, который «благ и мудр и понимает пользу и достоинство государства»[3]. Если государство способно воспитывать, а, по мнению Цицерона, оно является могущественным воспитателем в духе древнеримской virtus, то всегда должны найтись конкретные носители этой virtus, которые и встанут в годы испытаний у руля государственного управления. Все это показывает, что Цицерон не считал реальной, подобно Саллюстию, ту катастрофическую порчу нравов, которую Саллюстий рисует в своих последних произведениях и при которой не остается уже ничего светлого, что могло бы спасти республику, кроме, может быть (по Саллюстию), вмешательства народа.

Таким образом, монархическое толкование политических тенденций трактата Цицерона оказывается несостоятельным. Следовательно, если говорить о субъективных и сознательных политических симпатиях Цицерона, то едва ли можно сомневаться в его традиционно-республиканских воззрениях. Этим, однако, влияние Цицерона на политические идеи римского общества не исчерпывается.

Действительно, при попытке уяснить себе значение такой сложной и противоречивой личности, как Цицерон, нельзя удовлетвориться ни одной из высказывавшихся уже буржуазной наукой точек зрения: бесспорно, нельзя считать Цицерона апологетом монархии, но и неправильно было бы расценивать его как апологета традиционной республики, и только. Выбор той

---

выполнять свое назначение. Если Цицерон об этом прямо и не говорит, то, во всяком случае, он мог видеть это воочию в 54—52 гг. Поэтому-то вместо должностного лица у него выступает частный гражданин, обладающий не магистратскими полномочиями, а фактическим влиянием. Это — тоже одна из существенных сторон идеологической подготовки принципата, так как власть принцепса была прежде всего фактической.

[1] Разумеется, aequitas Цицерона, одна из древнеримских virtutes, отнюдь не тождественна той универсальной и отвлеченной справедливости, из которой Платон выводит идею своего государства.

[2] Cic., de rep., I, 12: «civitates aut condere novas aut conservare iam conditas».

[3] Там же, I, 51: «bonus et sapiens et peritus utilitatis dignitatisque civilis».

или иной формулировки для определения идейно-политического значения Цицерона обедняет его образ, а потому и искажает его. И, действительно, образ Цицерона обеднен буржуазной наукой, которая не в состоянии диалектически подойти к его оценке. На самом деле, облик Цицерона как политического деятеля и мыслителя гораздо сложнее и трагичнее. Истинные идеологические позиции Цицерона могут быть определены прежде всего не подсчетом того, сколько раз употреблено слово princeps в единственном числе и т. п., но пониманием общего и принципиального направления в развитии его политических воззрений.

Высказанные положения отнюдь не противоречат выводам, сделанным ранее. С точки зрения своих субъективных и осознанных симпатий Цицерон, как это уже подчеркивалось, — убежденный сторонник традиционной, аристократической Римской республики. Но этим не исчерпывается содержание его политических воззрений. Поскольку Цицерон, как было подробно рассмотрено выше[1], выступал в качестве провозвестника «общепатриотического» лозунга, поскольку он проповедовал concordia ordinum и consensus bonorum — он объективно в сфере политической идеологии расчищал дорогу принципату.

Октавиан достиг власти (вместе с другими триумвирами) как наследник Цезаря, как представитель «партии» цезарианцев, сохранившей известные демократические тенденции, во всяком случае в своей фразеологии[2]. Триумвиры действовали прежде всего как враги сенатской олигархии, их главной целью было уничтожение старой знати. Правда, в качестве их главной опоры выступал уже не потерявший почти всякое политическое значение плебс, а профессиональная армия, которая претендовала на то, чтобы ее рассматривали как римский народ. Однако необходимость укрепить свою власть привела Октавиана к стремлению сплотить вокруг себя как можно более широкие слои римского гражданства (за исключением городского плебса). Для этого потребовалось примирение различных классовых и сословных группировок внутри римского гражданства. Постепенно не только италийская муниципальная знать, но и некоторые круги сенаторского сословия, вообще рабовладельцы в широком

---

[1] См. стр. 178—183.

[2] Фразеология, характерная для демократических писателей (например, для Саллюстия), сохранилась даже в «Res gestae divi Augusti». Например, «a dominatione factionum», «in libertatem vindicavi», «conlega». Эта намеренно архаизированная фразеология была, видимо, связана со стремлением сопоставить борьбу между знатью и народом в конце республики с борьбой между патрициями и плебеями, характерным для младших анналистов.

смысле этого слова, переходят на сторону Октавиана. Большую роль сыграл при этом кризис рабовладения в период второго триумвирата и борьбы с Секстом Помпеем. Здесь-то и понадобился «общепатриотический» лозунг, который постепенно начинает вытеснять лозунг «партийный». Более того, только вследствие победы «общепатриотического» лозунга над лозунгом «партийным» и стал вообще возможен и приемлем идеологически принципат. В идеологической сфере принципат — победа надсословных, «надклассовых», «общепатриотических» лозунгов и идей над лозунгами «партийными», отражающими интересы той или иной, но вполне определенной социальной прослойки. Следовательно, Цицерон оказывается «невольным идеологическим предтечей» принципата. Это так и есть, но подобное понимание облика Цицерона в принципе достаточно резко отличается от точки зрения буржуазной науки, провозглашающей Цицерона сознательным апологетом монархии. Субъективных монархических симпатий у Цицерона никогда не существовало. В том-то и заключается сложность и трагичность личности Цицерона, в том-то и состоит секрет его раздвоенности, что субъективно Цицерон вплоть до своей трагической гибели оставался ярым и убежденным сторонником республики, каким только и могли знать его современники, но объективно и, несомненно, против «своей воли» он был идеологическим подготовителем принципата как пропагандист «общепатриотической», «надклассовой» идеи.

Подобная раздвоенность Цицерона была исторически явлением отнюдь не случайным, но закономерным, поскольку она отражала политические позиции и интересы определенных кругов римского рабовладельческого общества. Своеобразие эпохи как раз и заключалось в том, что происходила консолидация различных групп и прослоек римского гражданства, за исключением, может быть, на первых порах сенатской олигархии, которая дольше, чем кто-либо, сопротивлялась установлению принципата и боролась за господствующее положение в государстве. Даже после победы над Секстом Помпеем, когда рабовладельцы Италии, в основном, примирились с Октавианом, некоторые круги сенаторской знати продолжали оставаться в оппозиции. Именно поэтому многие ее представители сражались вместе с Антонием. Что же касается деклассированного и потерявшего почти всякую политическую самостоятельность и значение городского плебса, то он был полностью отстранен от участия в государственной жизни.

Эти обстоятельства и облегчили победу принципата как формы правления, т. е. политической формы. В области идеологической победа принципата была обусловлена успехом лозунгов, вошедших в политическую программу Цицерона. Она

была основана на провозглашении гражданского мира и возрождении древнеримских традиций (mores maiorum)[1], — это были «внепартийные» и «общепатриотические» лозунги. Они могли удовлетворить политические и культурные запросы достаточно широких слоев италийского общества, вконец измученного долгими годами гражданских войн, уставшего от политических смут и потрясений, и облекали в приемлемую идеологическую оболочку победу нового режима. Вот почему эти лозунги и идеи окончательно вытеснили «партийные установки», имевшие хождение лишь среди отстраненных от политики в этот период слоев римской «демократии».

Таковы политические позиции Цицерона и его понимание роли rector'а как аристократического реформатора и деятеля.

Однако сделанными выше выводами отнюдь еще не исчерпывается рассматриваемая проблема. Ибо если уже установлено, какие именно политические идеи и лозунги подготовили победу принципата, то в заключение для более полного и всестороннего освещения проблемы его идеологической подготовки необходимо выяснить еще вопрос о том, в какую государственно-правовую форму был облечен этот новый режим.

Такая постановка вопроса подчеркивает его, до некоторой степени, формальный характер. Но, во-первых, выяснение публично-правовых основ императорской власти в какой-то мере включается в проблему идеологического оформления принципата или во всяком случае тесно соприкасается с нею. Во-вторых, вопрос о социальной природе принципата рассматривался выше[2], поэтому теперь следует сделать попытку определения его внешней, т. е. государственно-правовой, формы.

Однако следует сделать еще одну оговорку. Власть принцепса представляется нам прежде всего и главным образом властью фактической, имевшей в самом прямом и непосредственном смысле в качестве своей материальной опоры армию, а потому и не укладывающейся, по самому своему существу, в какие-либо правовые нормы или каноны. Но это, конечно, не значит, что римские императоры и, в первую очередь, Август,

---

[1] Лозунг mores maiorum был не только «надклассовым», но в известной мере даже прямо реакционным. В этом отношении этот лозунг находит близкую параллель в лозунге πάτριος πολιτεία эллинских, в частности афинских, олигархов; особенно популярен он был в олигархических гетериях времени Пелопоннесской войны и позже; в это время, например, видимо, возникла псевдодраконтова конституция, описываемая в четвертой, вероятно подложной, главе «Афинской политии» Аристотеля.

[2] См. стр. 44—52.

при его особой чуткости к римским установлениям, обычаям и даже пережиткам, могли вовсе игнорировать вопрос о государственно-правовом оформлении своей власти, ибо этот момент играл далеко не последнюю роль для римского общественного сознания. Недаром именно этой стороне вопроса уделялось значительное внимание в позднейших исследованиях, посвященных выяснению сущности принципата.

Как уже говорилось [1], со времен Моммзена и вплоть до открытия monumentum Antiochenum большинство исследователей подчеркивало магистратские основы власти Августа. Сам Моммзен, например, считал, что власть Августа покоилась на imperium proconsulare и tribunicia potestas.

Imperium proconsulare Августа и других принцепсов, однако, отличался от imperium proconsulare республиканских наместников провинций тем, что он не был ограничен ни локально (imperium infinitum) [2], ни во времени. Таким образом, он являлся пожизненной прерогативой принцепса.

Tribunicia potestas определяла гражданскую власть Августа и его преемников в самом Риме (и Италии). В качестве носителя tribunicia potestas принцепс обладал законодательной инициативой, мог созывать заседания сената, вмешиваться в распоряжения и действия остальных магистратов. Личность его была священной и неприкосновенной.

Таким образом, по Моммзену, права принцепса и его власть выросли из определенных республиканских магистратур с их специфическими прерогативами, и, следовательно, принципат сам был как бы своеобразной магистратурой. Таковы взгляды Моммзена на государственно-правовую основу ранней императорской власти.

Однако в последнее время в науке наметилась определенная тенденция к ревизии этого взгляда [3]. Особенно ярко эта тенденция проявляется в работе Гранта [4], который на основе изучения нумизматического материала подвергает детальному ана-

---

[1] См. выше, стр. 43—44.

[2] Императорский imperium proconsulare не был ограничен локально в том смысле, что он распространялся на всю территорию Римской державы за пределами Рима и Италии, как на императорские, так и на сенатские провинции. В сенатских провинциях, наряду с империем проконсула, имелся и императорский — imperium maius. Прецедентом этого империя был тот империй, который Помпей по закону Манилия имел в восточных провинциях.

[3] См., например, M. H a m m o n d, The Augustan Principate, Cambr. Mass., 1933; L. H o m o, Les institutions politiques romaines, Paris, 1927; R. H e i n z e, Auctoritas, «Herm.», LX, 1925, стр. 348—366.

[4] M. G r a n t, From imperium to auctoritas. A Historical Study of Aes Coinage in the Roman Empire. 49 B. C.—A. D. 14, Cambr., 1946.

лизу термины imperium и auctoritas и приходит к выводу, что истинной основой власти Августа была principis auctoritas, а imperium maius[1] имел второстепенное значение.

Крупнейший знаток проблемы принципата среди советских историков Н. А. Машкин считает, что «в отличие от Моммзена и других историков и юристов конца XIX и XX вв. мы можем теперь говорить о немагистратских, но в то же время чисто-римских источниках единоличной власти римских императоров»[2].

По мнению Н. А. Машкина, магистратские полномочия являются не существом, а лишь «оформлением власти», тогда как ее существом и, очевидно, «римским источником» монархической власти Августа является «высший авторитет», т. е. auctoritas.

В главе «Власть Августа» Н. А. Машкин упоминает и о магистратских основаниях власти римских императоров, каковыми он считает imperium maius и tribunicia potestas[3], но на первое место по значению выдвигается auctoritas. Многие мероприятия Августа можно объяснить, только исходя из его auctoritas. В силу своей auctoritas Август выводил колонии, назначал на государственные должности и даже чеканил монету в провинциях[4]. Особое положение Августа в государстве и среди коллег по магистратурам определялось, в первую очередь, тоже благодаря его auctoritas. «При Августе,— говорит Н. А. Машкин,— происходит своего рода гипертрофия этого юридического основания: из auctoritas выросла монархическая власть»[5]. Таким образом, ясно, что Н. А. Машкин если не единственной, то главной публично-правовой основой монархического режима Августа считает auctoritas принцепса.

Однако подобное превращение понятия auctoritas в важнейшую правовую основу власти Августа едва ли правомерно. Во-первых, оно не может быть в достаточной мере подтверждено источниками. Строго говоря, какое-то основание для подобного вывода дает единственное (и широко известное) место в «Res gestae» Августа. Однако оно поддается различным толкованиям. В самом деле, Август говорит: «всех я превосходил авторитетом, власти же имел нисколько не больше, чем

---

[1] Тот же Грант считал, что imperium maius (ук. соч., стр. 409) как новый революционный элемент послужил основой власти Цезаря. Об imperium maius по отношению к власти Цезаря, а затем Августа см. Н. А. Машкин, Принципат Августа, стр. 65—66; 369—370.

[2] Там же, стр. 393 (разрядка Н. А. Машкина).

[3] Там же, стр. 397.

[4] Там же, стр. 390—391.

[5] Там же, стр. 400—401.

другие, которые были также моими коллегами по магистратуре»[1]. Н. А. Машкин считает, что здесь Август свидетельствует о том, что основой его власти была auctoritas. Между тем цитированный текст, как раз наоборот, доказывает, что сам Август не считал auctoritas основой государственной власти и не случайно понятие auctoritas, которое не имело государственно-правового значения, он выносит за скобки перед potestas, под которой и следует понимать власть государственную. Для Августа auctoritas — республиканско-традиционный термин, откуда следует, что auctoritas не могла быть основой ни особых полномочий, ни государственной власти, но была лишь выражением морально-политического авторитета, зависящего от личных качеств гражданина государства.

Н. А. Машкин подчеркивает значение формально-юридической стороны в вопросе об оформлении власти для римлян вообще и для Августа в частности. «Не следует забывать, что формализм оставался одной из основных черт римского права как гражданского, так и государственного. Оформлению власти всегда придавалось значение»[2],— пишет Н. А. Машкин. Или ниже: «...титулатуре и всякого рода полномочиям придавалось большое значение... Не следует забывать, что мы имеем дело с римской общественной средой, в которой юридические принципы всегда учитывались и принимались во внимание всеми политическими группировками независимо от их целей и задач. Мы не должны забывать и того, что имеем дело с Августом, человеком, обращавшим большое внимание на формальную сторону дела; для сенаторской знати, представители которой открыто выступили против монархических устремлений Цезаря, оформление власти играло большую роль»[3].

Учитывая эти вполне справедливые наблюдения, трудно предположить, чтобы для некоего правового оформления своей власти Август избрал из традиционных республиканских терминов как раз такой, который не имел правового значения. Ибо Н. А. Машкин вынужден признать, что понятие auctoritas никогда не было государственно-правовым понятием в строгом смысле слова и только со времени Августа «начинает входить в систему римского государственного права»[4]. Однако и это

---

[1] RGDA, 34: «... auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt». Моммзен, который имел в своем распоряжении для этого места только греческий текст, перевел стоящее там ἀξιώματι, как dignitate. Но после находки Monumentum Antiochenum выяснилось, что в латинской части стояло auctoritate.

[2] Н. А. Машкин, ук. соч., стр. 378.

[3] Там же, стр. 395.

[4] Там же, стр. 389.

последнее утверждение едва ли может быть подкреплено фактическими данными[1].

Решающим в данном случае должно быть соображение о том, что определение государственно-правовой формы принципата не может проводиться в отрыве от его социальной сущности, его классовой природы. Если учитывать это обстоятельство, то ясно, что режим военной диктатуры никоим образом не мог основываться на auctoritas и не мог иметь подобного оформления даже с чисто внешней, правовой стороны.

Поэтому более приемлемой является та точка зрения, которая в основу правового выражения власти Августа кладет понятие imperium. Но это отнюдь не imperium proconsulare в понимании этого термина Моммзеном. На этот вопрос следует смотреть несколько шире. В правовом выражении власти принцепса представляется возможным найти возрожденный империй раннереспубликанских магистратов (преторов) с его полнотой политической и военной власти (без которой для римлянина вообще, не могло быть понятия власти!), что и сказывается в том новом значении, которое начинает приобретать пожизненный титул Августа и его преемников — imperator[2]. Imperium древнейших преторов—и только он[3]— был наиболее подходящей, а, пожалуй, и единственно возможной оболочкой власти принцепса, которая в существе своем представляла военную диктатуру.

Но, с другой стороны, понятна и реакция против точки зрения Моммзена и «историков и юристов конца XIX и XX вв.». Они обосновывали свои взгляды, исходя из создаваемой ими же самими системы римского государственного права, а не из живой истории — политической и социальной — римского общества[4]. Благодаря этому у них возникали иногда довольно стройные, но абсолютно мертвые схемы. Н. А. Машкин совершенно справедливо говорит: «Теория Моммзена представляет нам принципат как стройную, юридически завершенную систему. Однако самый общий обзор развития власти Августа разубеждает нас в истинности этого утверждения»[5].

---

[1] Это утверждение есть не что иное, как petitio principum, ибо подкрепляется оно ссылкой на RGDA, 28, т. е. на далеко не бесспорную в данном случае конъектуру Gagé.

[2] О новом значении этого титула см. прямое указание у Dio, LII, 41. Н. А. Машкин тоже признает «особое значение титула imperator», употреблявшегося как praenomen Августа.

[3] Разумеется, уже не ограниченный краткосрочностью, коллегиальностью и вытекавшей из нее интерцессией, т. е. теми особенностями власти древнейших магистратов, которыми ранняя республика стремилась гарантировать себя от восстановления царской власти: ср. стр. 25.

[4] Н. А. Машкин, ук. соч., стр. 393—394.

[5] Там же.

Однако отказ от взглядов Моммзена и его последователей на вопрос об основах императорской власти отнюдь не исключает возможности оперировать понятием imperium. Надо лишь подойти к проблеме империя как правовой основы нового режима с несколько иной стороны. Надо, во-первых, иметь в виду полнокровный империй раннереспубликанских магистратов. Кроме того, определяя империй как правовую основу нового режима, надо исходить — и это важнее всего — не из догмы или системы римского права, но показать, как подобное значение империя сложилось и было подготовлено исторически.

Здесь, конечно, не представляется возможным дать детальный обзор истории развития и модификаций империя римских магистратов. Это большая и самостоятельная тема исследования. Для настоящей работы вполне можно ограничиться выяснением лишь одного вопроса, связанного с понятием империя.

В самом начале[1] уже был отмечен факт сохранения неограниченного империя римских царей даже после установления республики в Риме. Империй царей, как указывалось, перешел к высшим республиканским магистратам (преторам). Поэтому необходимо выяснить, сохранился ли теперь, к концу республиканского периода, в какой бы то ни было форме и в какой бы то ни было области римского государственного организма этот единый и неограниченный империй или он распался, как утверждал Моммзен, на империй военный и юрисдикционный.

Так как развиваемое здесь воззрение на исторические судьбы империя резко отличается от концепции Моммзена в одном весьма существенном пункте, то необходимо, хотя бы в кратких чертах, остановиться на сильных и слабых местах его концепции. Во взглядах Моммзена на римские государственно-правовые институты учение об империи играет большую роль. Определенной его заслугой является то, что он подробно исследовал каждую римскую магистратуру. Кроме того, он впервые подчеркнул мысль о единстве и совокупности власти, лежащей в основе высших магистратур. Однако Моммзен сам не проявил достаточной последовательности в развитии этих воззрений. Самодовлеющее для Моммзена значение юридических норм привело его к неправильным выводам относительно исторического развития империя, выводам, в которых недооцениваются, а иногда даже извращаются определенные исторические факты и явления.

Понятие империя для Моммзена лишь правовая норма. Он определяет imperium «в его наиболее общем техническом значении» как высшую должностную власть, включающую

[1] См. выше, стр. 24—26.

в себя военное командование и юрисдикцию[1]. Эта по существу (и в теории) неограниченная власть в царский период была сосредоточена в одних руках; в раннереспубликанский период «уже ослабленная, но все же сохранившая свое всеобъемлющее значение», она находилась в руках преторов (консулов)[2]. Дальнейшая же «внутренняя конституционная история Рима» рассматривается Моммзеном как история постепенного ослабления и распадения империя и, соответственно этому, возрастания самостоятельности низших магистратов (не являвшихся обладателями империя)[3].

Так, например, в 367 г. с учреждением претуры, по мнению Моммзена, консульская власть теряет свою важнейшую составную часть, а именно — гражданскую юрисдикцию (iuris dictio inter privatos), и, следовательно, военно-юрисдикционный империй высших должностных лиц распадается на консульский imperium militiae и преторский imperium domi[4]. Таким образом, еще в середине IV в. до н. э., согласно этим выводам Моммзена, единый и совокупный империй перестает существовать.

В этих воззрениях Моммзена заключена существенная ошибка. Формально-юридические нормы, тяготеющие над этими выводами Моммзена, оказались для него сильнее чувства живого исторического процесса. Относя разложение всеобщего империя еще к IV в. до н. э., Моммзен явно игнорирует противоречащие этому утверждению исторические факты.

Несомненно, что даже в I в. до н. э. существовала такая область в римском государственном организме, где полностью сохранился единый и неурезанный империй раннереспубликанских магистратов. Этой областью были власть и права провинциальных наместников, которые, если не говорить о локальном ограничении, пользовались всей полнотой власти, т. е. имели «военно-юрисдикционный империй». Сам Моммзен, в явном противоречии с вышеприведенными утверждениями о распадении империя, вынужден признать полноту и неделимость власти провинциальных наместников[5].

Следует отметить, что империй промагистратов был в некоторых отношениях даже более полным, чем империй первоначальных преторов; правда, он был уже в территориальном отношении, но зато: 1) обладание им длилось нередко значительно долее года, иногда по-нескольку лет; 2) в нем не было никакого разделения полномочий по отраслям (хотя бы как между консулами и преторами); 3) он не наталкивался на

---

[1] Mommsen, Römisches Staatsrecht, I, 1887, стр. 22.
[2] Там же.
[3] Там же, I, стр. 24.
[4] Там же, II, 1, 1887, стр. 101.
[5] Там же, II, 1, 262.

интерцессию со стороны коллеги, поскольку такового не было; 4) также на интерцессию народных трибунов; 5) по отношению к нему не имело места ius provocationis со стороны провинциалов, а фактически иногда и со стороны римских граждан (см. дело Верреса); все это было несколько ограничено лишь сулланскими leges de maiestate (запрещение начинать войну, выступать за пределы провинции без разрешения римского народа и т. д.).

Вообще история развития империя в республиканский период такова, что, в основном, он испытывал модификации, идущие отнюдь не в плане дробления этого единого империя на частные компетенции, как то считает Моммзен, но в плане главным образом локального ограничения. Законодательство Суллы является лучшим примером подобного направления в историческом развитии империя римских магистратов.

С начала II в. и до Суллы, как известно, было шесть преторов, власть которых была всегда ограничена в локальном отношении: понятие provincia неотделимо от претуры, и никогда не было преторов без локальных округов их должностной деятельности[1]. Консулат же, наоборот, был в принципе локально неограниченным, хотя на практике это далеко не всегда осуществлялось[2].

Впервые эту неограниченность уничтожил Сулла, когда он прикрепил консулов к границам Италии, подчинив, таким образом, и эту магистратуру понятию локального округа. А так как незадолго до того территория римского полиса, римских триб, была распространена на весь полуостров в связи с наделением союзников римским гражданством, то логическим следствием этого было изъятие военного командования с территории Италии, проведенное Суллой. Благодаря этому теперь у консулов оно, как правило, было отнято. Теперь консулы, точно так же как и преторы (число последних было доведено Суллой до восьми)[3], занимались только вопросами управления Римом и Италией. Военное же командование сосредоточивалось отныне вне полуострова по локальным округам в руках десяти наместников провинций: проконсулов

---

[1] Есть основания предполагать, что первоначально термин provincia обозначал как компетенцию должностного лица, так и территорию, на которую она распространялась. Это показывает, что и между консулами происходило локальное разграничение, когда один из них оставался в Италии для руководства гражданскими делами, а другой отправлялся на войну, или когда оба консула воевали на разных фронтах. Зато в этих случаях консульский империй не наталкивался на интерцессию.

[2] Например, как рассказывает С а л л ю с т и й (Iug., 27), консулам были назначены провинции Италия и Нумидия.

[3] D i o, XLII, 51.

и пропреторов, т. е. высших магистратов, получавших управление заграничными подвластными Риму областями[1].

Понятие локально ограниченной власти проявляется в этих законодательных мероприятиях Суллы с достаточной наглядностью. Необходимо, однако, выяснить, какова была власть провинциальных наместников по существу. Моммзен, в соответствии со своей теорией о распадении империя на военный и юрисдикционный, хочет найти принципиальное различие между проконсулатом и пропретурой[2], считая, что провинциальные преторы были лишь судебными должностными лицами без права самостоятельного военного командования. Известно и противоположное суждение, приписывающее провинциальным преторам только военные права и функции[3]. Но преторы никогда не имели качественно отличного империя по сравнению с консулами, и потому есть основание утверждать, что провинциальные наместники с самого начала обладали полнотой и неделимостью власти, т. е. неурезанным империем древнеримских магистратов, внутри своего локального округа.

Конституция Суллы — важнейший этап в подготовке государственно-правового оформления императорской власти. Локально неограниченный магистратский империй теперь полностью исчезает. С отменой консульского командования единственным местом, где сохраняется древний неурезанный империй, оказываются провинции, единственными его обладателями становятся провинциальные наместники. Военная власть, судопроизводство, гражданское управление — все эти функции сосредоточиваются в их руках, как некогда в руках высших древнереспубликанских магистратов. Неудивительно, что именно они в скором времени становятся господами положения, а их власть — предметом стремлений, целью борьбы, а затем необходимой прерогативой первых римских императоров. Итак, в данном случае следует иметь в виду единый и неурезанный империй древнеримских магистратов во всей его полноте, сохранившийся к концу республики в локально ограниченной власти провинциальных наместников.

Подобно тому, как imperium пережил древнейшую царскую власть, он также пережил и Римскую республику. Когда окончилась гражданская война и Август установил свое фактически безраздельное господство над римским миром, возникла необходимость в государственно-правовом оформлении этой власти в духе консервативно-республиканских традиций, что, как

[1] Cic., ad fam., I, 9, 25; III, 6, 3; VIII, 8, 8.
[2] Mommsen, Staatsrecht, II, стр. 243.
[3] См. F. Leifer, Die Einheit des Gewaltgedankens im römischen Staatsrecht, 1914, стр. 302 слл.

было показано выше[1], весьма характерно для внутренней политики Августа. Прежде всего ему был вручен долгосрочный наместнический империй[2]. Вполне возможно, что в это же время (или несколько позже) было отменено и локальное ограничение империя. Этот шаг возвращал развитие модифицированного империя к исходному пункту — к единой и неурезанной власти раннереспубликанских преторов. Может быть, именно в этом смысле следует понимать вышеупомянутое замечание[3] Диона Кассия об особом значении титула imperator в применении к Августу. Таким образом, imperium Августа охватывал, за исключением Рима и Италии, всю территорию империи. Реальное же содержание этого империя вполне могло служить не только достаточной правовой, но и материальной основой нового режима. По сравнению с выдающимся значением этого империя все остальные государственно-правовые прерогативы, перечисляемые в титулатуре Августа и его преемников, имеют лишь второстепенное и подчиненное значение.

Октавиан Август не только использовал проконсульский империй, но, расширив его неограниченно во времени и пространстве, возродив его в значении и объеме империя древнейших римских магистратов, сумел сделать этот обновленный империй правоспособной основой режима военной диктатуры.

---

[1] См. стр. 45—46.

[2] На это указывает, быть может, учреждение преторианских когорт, представлявших материальную опору императорской власти в Италии. Эта императорская гвардия, вероятно, была генетически связана с преторскими когортами, составлявшими личную охрану римских наместников.

[3] См. стр. 227.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимо подвести некоторые итоги. В начале работы было подчеркнуто игнорируемое буржуазной наукой различие между греческим и римским миром, причем оттенены, таким образом, своеобразные черты римского рабовладельческого общества. Затем были охарактеризованы некоторые основные тенденции социально-политической борьбы в римском обществе в период поздней республики. Одна из них может быть определена как тенденция демократическая.

Была сделана попытка охарактеризовать ее более полно, не ограничиваясь тем, чтобы только констатировать ее общедемократический характер, а также, учитывая некоторые особенности и условия развития римской демократии на опыте оценки движения Гракхов, вскрыть конкретные признаки рассматриваемой тенденции.

Наиболее существенным наблюдением в этом плане является вывод о «партийных» формах и лозунгах борьбы, характеризующих развитие этой тенденции.

Другая тенденция социально-политической борьбы в Риме носит достаточно четко выраженный антидемократический характер и отражает в своем развитии классовые интересы привилегированных слоев римского рабовладельческого общества. Если первая из упомянутых тенденций была рассмотрена у ее истоков (движение Гракхов), то вторая, наоборот, рассматривается как бы у ее устья, в момент ее наиболее полного развития и ее наибольших успехов (деятельность Августа).

Это дает возможность и при определении второй из рассматриваемых тенденций вскрыть присущие ей конкретные черты. Здесь наиболее существенным наблюдением является вывод о стремлении подменить борьбу за партийные интересы видимостью борьбы за интересы «надпартийные», «общегосударственные».

Совершенно не случайно, что при сопоставлении двух рассматриваемых тенденций одна из них берется у ее истоков,

а другая, наоборот, на последних этапах ее развития. Действительно, первая из рассматриваемых тенденций социально-политической борьбы в Риме (т. е. демократическая), была выражена в наиболее чистом виде в движении Гракхов. В дальнейшем, хотя демократическое движение продолжает нарастать, хотя круг людей, в него вовлеченных, расширяется (в связи с расширением римского гражданства: Союзническая война, проблема новых граждан), хотя оно становится временами более радикальным, чем при Гракхах (демократические лозунги в заговоре Катилины, Клодий), тем не менее, оно по-существу деградирует, так как к борьбе крестьян за землю и народа за демократизацию государственного строя примешивается борьба ветеранов за наделы и люмпен-пролетариев за содержание их государством, а также борьба провинциальных наместников, пытающихся использовать демократическое движение в своих интересах. Окончательный упадок его начинается примерно со времен Цезаря, однако отдельные вспышки (например, движение Эгнатия Руфа) имели место и значительно позже, уже при Августе. Историческая судьба второй тенденции была совершенно иной. Зародившись во времена Катона, она постепенно крепнет и усиливается, достигая своего наиболее полного выражения при Августе. Эта вторая тенденция в силу определенных социальных условий, расстановки классовых сил и особенностей политической жизни Римского государства оказывается победившей и утвердившейся.

Таковы основные положения, развитые во вступительных главах предлагаемой работы. Но они лишь определяют исходные позиции, отнюдь не являясь в данной работе предметом самостоятельного изучения. Они дают возможность перейти к тому кругу вопросов, который и представляет собственно тему настоящего исследования — к проблеме отражения этих процессов в сфере идеологической жизни римского общества.

В результате анализа идеологической жизни римского общества II—I вв. до н. э. был сделан вывод, что рассматриваемые тенденции социально-политической борьбы получили в этой сфере свое отражение. Об этом говорит наличие двух пропагандистских лозунгов: лозунга борьбы за «партийные интересы» определенной социальной группы римского общества и лозунга борьбы за «общегосударственные», «общепатриотические» интересы. Наиболее ярким пропагандистом первого из них является Саллюстий, в котором жива еще «старая демократическая струя», тогда как наиболее выдающимся сторонником и глашатаем второго лозунга был Цицерон, который потому и оказался невольным идеологическим предшественником нового политического режима.

В сложной, иногда противоречивой системе политических воззрений Саллюстия, которая была прослежена в ее развитии, ощущается эта классическая «демократическая струя» почти со всеми ее характерными признаками и особенностями: с ее резко выраженной партийной нетерпимостью, с ее характерной эллинистической окраской (напр., теория «упадка нравов») и т. д. Конечно, «демократизм» Саллюстия тоже был условным и своеобразным. Однако весьма симптоматично, что в конце своего пути Саллюстий ближе стоял к лозунгам римской демократии в их наиболее классическом выражении, чем в начальный период своей историко-публицистической деятельности. Вполне возможно, что определенные круги римского общества, которые представлял Саллюстий, в обстановке нарастающего кризиса и окончательного крушения демократических свобод, сперва в период единовластия Цезаря, а затем во время господства триумвиров, определенным образом «полевели», что и нашло свое отражение в развитии политических воззрений Саллюстия. Но, конечно, в обстановке общей деградации римской демократии их идеи уже не могли найти осуществления.

Изучение политических воззрений Цицерона приводит к вопросу об идеологическом оформлении нового режима. Именно Цицерон, бывший, как указывалось, наиболее ярким представителем «надпартийной» фразеологии, нашел для нее конкретное и действенное выражение в лозунгах concordia ordinum и consensus bonorum omnium, в прославлении подлинно римской традиции и mores maiorum, что оказалось в дальнейшем столь удобной идейной оболочкой для нового режима.

Проблема идеологической подготовки принципата включает в себя вопрос и о государственно-правовой основе нового режима. В противовес широко распространенным взглядам Моммзена, считающего правовой основой принципата imperium proconsulare, в котором он, однако, неправильно видел только военное командование без гражданской юрисдикции, равно как и тем исследователям, которые видят правовую основу принципата в auctoritas principis, в данной работе сделана попытка доказать, что этой основой является imperium раннеримских магистратов, сохранившийся до конца республики в наместническом империи, который, однако, как было показано выше, отнюдь не тождествен тому, что понимал Моммзен под термином imperium proconsulare. Только этот, восходивший в конечном итоге к первым столетиям республики, империй мог адекватно отразить в сфере государственно-правовых идей реальное содержание режима военной диктатуры, имевшего своей материальной опорой армию.

Итак, здесь затронута проблема идеологической подготовки принципата. Это — та грань, у которой следует

# ПРИЛОЖЕНИЯ

В виде приложений дается принадлежащий автору настоящей работы перевод (с небольшим реальным комментарием) двух чрезвычайно любопытных памятников, анализу которых уделено довольно много внимания в самом исследовании: а) писем Саллюстия к Цезарю и б) переписки между Цицероном и Матием.

«Epistolae ad Caesarem senem de re publica» сохранились вместе с некоторыми другими извлечениями из произведений Саллюстия в одной ватиканской рукописи X в. (Vaticanus 3864). В этой рукописи более раннее «Письмо к Цезарю» находится на втором месте, а более позднее — предшествует ему [1].

«Письма к Цезарю» являются первым литературным произведением римского историка. Вопрос об их подлинности (т. е. о принадлежности их перу Саллюстия) рассматривался ранее [2]. Что касается датировки «Писем», то она может быть установлена лишь предположительно.

Во-первых, из содержания «Писем», как только что отмечено, с достаточной ясностью вытекает вывод относительно неправильного расположения их в рукописи, так что «Письмо», помещенное в рукописи на втором месте, следует признать более ранним. Это раннее «Письмо», повидимому, можно датировать с большой долей вероятия 51—50 гг. Из всего контекста «Письма» явствует, что оно написано до начала гражданской войны. Поскольку в этом «Письме» говорится «Gallica gente subacta» [3], то, сопоставляя это место с другими указаниями, рассмотренными ниже, можно предполагать, что речь идет о том времени, когда галльская война была окончена. Слова Саллюстия: «решил напомнить тебе, занятому военными трудами, битвами, победами, командованием, о том, что делается в Риме» [4],

[1] Поэтому, согласно традиции, при ссылках более раннее письмо обозначают как Epp., II, а более позднее, но в рукописи стоящее на первом месте, — как Epp., I. Такое обозначение является общепринятым.
[2] См. стр. 79—80.
[3] Sall., Epp., II, 12.
[4] Sall., Epp., II, 2.

могут служить указанием на то, что «Письмо» было написано еще во время пребывания Цезаря в Галлии.

Последние слова показывают, не позже какого времени написано данное «Письмо». Что же касается ранних пределов датировки, то помимо приведенного выше места («Gallica gente subacta») текст «Письма» дает и другие косвенные указания. В главе III имеются намеки, которые могут быть отнесены только к третьему консулату Помпея в 52 г. Отсюда следует, что «Письмо» написано позже этого года. Упоминание о «враждебном консуле»[1] позволяет более определенно говорить о 51—50 гг., ибо под этим консулом может подразумеваться или Гай Клавдий Марцелл, консул 50 г., или, что менее вероятно, Марк Клавдий Марцелл, консул 51 г. Наконец, включение Марка Фавония в число врагов и недоброжелателей Цезаря[2] является дополнительным подтверждением предлагаемой датировки, ибо Фавоний примкнул к Помпею не ранее 51—50 гг.

Что касается датировки более позднего «Письма», то общий контекст и разбросанные по всему «Письму» указания не оставляют сомнений в том, что оно написано в период гражданской войны. Более того, можно утверждать, что это «Письмо» написано после того, как Цезарь достиг определенных и крупных успехов в ходе войны, скорее всего после битвы при Тапсе. Саллюстий неоднократно упоминает о «победе» Цезаря, о необходимости перейти от войны к мирным занятиям, о восстановлении государства мирным путем и т. д.[3] Таким образом, более позднее «Письмо» написано уже в тот период, когда стало ясно, на чьей стороне оказалась победа, и когда Цезарь превратился в главу государства.

Таковы возможные соображения по поводу датировки «Писем» Саллюстия к Цезарю.

Переписка между Цицероном и Матием состоит из письма Цицерона, написанного в ответ на «жалобу» (querela) Матия, переданную по поручению последнего Цицерону устно общим другом Матия и Цицерона Требатием и из письменного ответа Матия на вышеупомянутое письмо Цицерона. Оба письма включены в XI книгу сборника, в котором собраны письма к различным лицам, т. е. ad familiares[4].

Обмен письмами между Цицероном и Матием произошел вскоре после смерти Цезаря. Письмо Цицерона Матию обычно датируется августом 44 г.; ответ Матия, как можно думать, последовал через непродолжительное время.

---

[1] Sall., Epp., II, 2.
[2] Там же, II, 9.
[3] Там же, I, 3; 5—6.
[4] Cic., ad fam., XI, 27—28.

Гай Матий родился, очевидно, в 100 г.[1] и происходил, как Цицерон и Аттик, из сословия всадников. Он получил образование в Греции, в которой провел, повидимому, несколько лет. Был близок к Цезарю, с которым он, как предполагают некоторые ученые[2], познакомился в 74 г. на Родосе.

Несмотря на то, что Матий упорно и последовательно держался в стороне от политической жизни[3], он пользовался неизменной дружбой и покровительством Цезаря, который ценил его глубокую образованность и даже обращался к нему за советами. После убийства Цезаря, как это известно из содержания обоих писем, он испытывал глубокую горесть и открыто выражал свое благоговение перед памятью убитого друга. Был близок к Марку Антонию и Октавиану[4], но и здесь, очевидно, не принимал активного участия в политической жизни. О его позиции в период второго триумвирата и в период борьбы Октавиана с Марком Антонием нам ничего неизвестно. Умер он, вероятно, вскоре после битвы при Актии.

Иногда его отожествляют с Гнеем Матием[5], приписывая ему перевод «Илиады» и авторство мимиямбов с шутливым содержанием. Этот последний довольно часто цитируется Геллием[6], который называет его homo impense doctus.

С Цицероном Матий познакомился еще в молодости, но затем, как уже упоминалось, долгое время не жил в Риме. Причины этого длительного отсутствия точно неизвестны, но вполне возможно, что они общи с теми причинами, которые были и у ближайшего друга Цицерона, почти ровесника Матия — Аттика. Эти причины заключались в бесконечных смутах времени сулланско-марианской борьбы. Они делали для Матия невозможным вступление на путь политической деятельности. Эти-то обстоятельства наряду с личной склонностью к занятиям философией и литературой и определили его выбор. Матий в этом отношении был не одинок. Далеко не все уже в это время, в период кризиса Римской республики, стремились к политической деятельности. От нее сознательно уклонялся Аттик, который так же, как и Цицерон, происходил из всадников и мог вступить на путь политической карьеры, если бы он стремился к этому. Так же поступили Лукреций, который, судя по тону его обращения к претору Меммию, был

[1] Эта дата наиболее вероятна (см. G u r l i t t, BPhW, XXI, 1131); перенесение года его рождения на 84 г. (P l i n., NH, XXII, 13; T a c., Ann., XII, 60) неправильно, что показал еще Цихориус. См. RE, s. v. M a t i u s, 1, XIV, 2, 1930, стб. 2206—2210.

[2] См., например, C i c h o r i u s, Röm. Stud., стр. 245 слл.

[3] C i c., ad fam., XI, 28.

[4] Там же.

[5] G e l l., NA, VI, 6.

[6] Например, G e l l., NA, VII, 6,5; IX, 14 слл.

знатного рода, и Нигидий Фигул. Вполне возможно, что тот discessus diuturnus, о котором говорит в своем письме Цицерон[1], продолжался очень долгие годы, ведь оставался же Аттик в Афинах более двадцати лет (86—65 гг.). Очевидно, Матий жил и на Родосе, за что говорит предположение о его первой встрече с Цезарем и его желание провести именно на Родосе остаток своих дней.

Всецело предавшись занятиям философией и риторикой, принципиально проявляя полнейший индифферентизм к политическим вопросам, живя в атмосфере греческой цивилизации, он не только внешним образом, но и по существу, по всему складу своего мировоззрения отдалился от res publica Romana. Цицерон говорит о нем, как о homo doctissimus, в письме к Требатию в Галлию в 53 г.[2], а в письме к Матию[3] он восхваляет его humanitas и litterae и упоминает, что именно Матий побуждал его к работе над философскими сочинениями. Видимо, не без оснований ретор Аполлодор из Пергама, близкий знакомый Цезаря и воспитатель Октавиана, посвятил Матию риторический справочник[4].

Таков в общих чертах облик корреспондента Цицерона — Гая Матия.

Оба предлагаемые вниманию читателя памятника представляют значительный интерес. Что касается оценки их значения по существу, как источника для истории идейно-политической борьбы в римском обществе I в. до н. э., то выяснять это значение здесь не представляется необходимым, тем более, что это уже по мере сил автора сделано в исследовании, приложением к которому и является предлагаемый перевод памятников.

---

[1] Cic., ad fam., XI, 27
[2] Там же, VII, 15.
[3] Там же, XI, 27.
[4] Quint., III, 1, 18

Гай Саллюстий Крисп

# ПИСЬМА К ЦЕЗАРЮ-СТАРЦУ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЛАХ

*(EPISTOLAE AD CAESAREM SENEM DE RE PUBLICA)*

## ПИСЬМО II[1]

1. Я знаю, как трудно и даже рискованно давать советы царю или полководцу, наконец, всякому смертному, могущество которого достигло наивысшего предела; ведь у таких людей и без того множество советников, да и кто в вопросах, касающихся будущего, может считать себя достаточно опытным и дальновидным? Бывает и так, что дурные советы скорее, чем хорошие, приводят к благоприятным результатам, ибо судьба, в большинстве случаев, распоряжается человеческими делами по своему произволу[2]. Но у меня с юношеских лет было влечение к государственной деятельности, и я положил не мало упорного труда на изучение этих вопросов не за тем, конечно, чтобы добиться какого-нибудь поста (к чему многие стремятся, не брезгуя никакими средствами), но для того, чтобы основательно изучить государство и в мирной и в военной обстановке, изучить, какой армией, какими силами и средствами оно располагает[3]. И вот, после долгих размышлений наедине с самим собой, я решил отодвинуть на задний план свою репутацию

[1] В переводе, так же как и в большинстве новейших изданий, «Письма» печатаются в хронологическом порядке, нумерация же писем соответствует тому порядку, в котором они расположены в рукописи (см. стр. 241).

[2] Аналогичное воззрение на роль судьбы Саллюстий высказывает в «Заговоре Катилины»: «sed profecto fortuna in omni re dominatur: ea res cunctas ex lubidine magis quam ex vero celebrat obscuratque» (Cat., 8, 1). Однако уже в более позднем «Письме к Цезарю» (см. Epp., I, 1), а затем в prooemium к «Югуртинской войне» (Iug., I) Саллюстий дает несколько иную трактовку вопроса о роли судьбы.

[3] Ср. Sall., Cat., 3—4; Iug., 4. С этим местом перекликается также рассуждение Саллюстия из более позднего «Письма» по поводу причин гибели или возвышения государств (Epp., I, 7).

и свою скромность и рискнуть на любую опасность, лишь бы послужить твоей славе. Я решился на это не случайно и не вследствие твоих удач, но потому, что обнаружил в тебе, наряду с другими качествами, одно, чрезвычайно удивительное: ты сохраняешь величие духа при несчастных обстоятельствах еще в большей степени, чем при удаче [1]. Но всем смертным прекрасно известно то, что люди скорее устанут расточать хвалы и удивляться твоему великодушию, чем ты совершать дела, достойные славы (sed per ceteros mortalis illa res clarior est, quod prius defessi sunt homines laudando atque admirando munificentiam tuam quam tu faciundo, quae gloria digna essent)[2].

2. Я уверен,— нет ничего столь высокого, что не стало бы для тебя, по размышлении, вполне доступным. И я излагаю свои взгляды на государство не потому, что считаю собственное мнение и способности выдающимися, но потому, что решил напомнить тебе, занятому военными трудами, битвами, победами, командованием, о том, что делается в Риме [3]. Если бы ты намеревался только защитить себя от нападок врагов и удержать милости народа вопреки воле враждебного консула [4], то ты рассуждал бы недостойно твоей доблести. Но в тебе есть тот дух, с помощью которого ты еще в самом начале своей деятельности расстроил партию нобилитета[5]; римский плебс из жестокого рабства возродил к свободе, во время претуры[6]

---

[1] Очевидно, намек на превратности Галльской войны, в частности, на то затруднительное положение, в котором Цезарь неоднократно оказывался во время галльского восстания 54—52 гг. и борьбы с Верцингеторигом (C a e s., BG, VII, 1—9; L i v., Epp., 107; P l u t., Caes., 25—26; S u e t., Div. Iul., 24—25; D i o, XL, 33—41).

[2] Munificentia близка по значению слову clementia — официальному лозунгу Цезаря, особенно в период гражданской войны. Ср. S a l l., Epp., I, 1.

[3] В этой фразе содержится косвенное (хотя недостаточно точное) указание на дату раннего «Письма к Цезарю». Из него вытекает, что «Письмо» написано еще во время пребывания Цезаря в Галлии. О датировке «Писем» см. вступительную статью.

[4] Под «враждебным консулом» Саллюстий, очевидно, подразумевает Гая Клавдия Марцелла, консула 50 г., который предложил в сенате объявить военное положение и передал Помпею командование над войсками C a e s. (H i r t.), BG,8, 55; C a e s., BC, I,2—4; P l u t., Pomp.,58; A p p.,BC, (II, 31; D i o, XL, 64—66). Менее вероятно, но не исключено, что Саллюстий здесь может иметь в виду Марка Клавдия Марцелла, консула 51 г. (дядя вышеупомянутого Марцелла), который первым открыл в сенате дипломатическую кампанию против Цезаря (S u e t., Div. Iul., 28).

[5] Имеется в виду тот ранний период политической деятельности Цезаря, когда он выступал в роли восстановителя партии популяров (демонстративное прославление Мария и Цинны, восстановление трофеев Мария на Капитолии, политические процессы против сулланцев в 64 г. и т. п. (См. P l u t., Caes., 5; S u e t., Div. Iul., 5—6).

[6] Цезарь был избран претором на 62 г. Во время этой претуры он объединился с народным трибуном Квинтом Цецилием Метеллом Непо-

невооруженной рукой рассеял врагов, на войне и в мирное время совершил столько славных подвигов, что даже враги осмеливаются укорять в тебе только твое величие. Прими же мои высказывания по поводу наиболее важных вопросов из жизни государства; кое-что, вероятно, ты найдешь справедливым или, по крайней мере, недалеким от истины.

3. Гней Помпей, или вследствие испорченности своей натуры, или потому, что всему другому предпочитал лишь то, что могло повредить лично тебе, дошел до такой степени падения, что дал оружие в руки врагам[1]. Ты должен восстановить государство теми же средствами, какими он его расстроил. Так, прежде всего он передал немногим сенаторам высшую власть в области управления налогами, государственными расходами и судами[2], римский же плебс, который до этого обладал верховной властью[3], остается на положении рабов и лишен даже равенства перед законом. Хотя судебная власть считается, как и ранее, принадлежащей трем сословиям[4], однако всем

---

том, который пытался провести решение, призывающее Помпея с его армией в Рим. Катон, который в это время также был народным трибуном, воспротивился принятию этого законопроекта. Разгорелась напряженная борьба, в результате которой сенат издал постановление (senatus consultum), отрешающее Цезаря и Метелла от должностей (Plut., Cato min., 26—29; Suet., Div. Iul., 14 слл.). Метелл после этого бежал из Рима, Цезарь же, наоборот, остался и вел чрезвычайно ловкую демагогическую политику. Он отпустил своих ликторов, снял тогу-претексту и почти не выходил из дому. Он даже отказался от предложения собравшейся и сочувственно настроенной к нему толпы быть водворенным силой на свою должность. Эта сдержанная и расчетливая политика дала свои результаты, сенат через некоторое время, видимо, под давлением общественного мнения, был вынужден вынести решение о восстановлении в должности как Цезаря, так и Метелла. Саллюстий, говоря о «мирной победе» над врагом, очевидно, имеет в виду именно этот эпизод.

[1] Имеется в виду третий консулат Помпея. В 52 г., по предложению Марка Бибула, которого поддержал Катон (Plut.,Pomp., 54; Caes., 28; Cato min., 47; Suet, Div. Iul., 26; App., BC, II, 23; Dio, XL, 50), Помпей, вопреки обычаю, был избран консулом sine collega, что являлось, по существу говоря, смягченной формой диктатуры. Под «врагами» государства, а ниже — под «немногими сенаторами» Саллюстий, очевидно, подразумевает здесь того же Катона, Бибула, а может быть, также Цицерона и Гортензия.

[2] Видимо, намек на выделение сенатом 1000 талантов ежегодно для содержания легионов Помпея (Plut., Pomp., 55; Caes., 28; App., BC, II, 23; Dio, XL, 50) и на проведенный Помпеем пересмотр списков судей. О далеко не беспристрастном поведении самого Помпея во время судебных процессов над близкими ему лицами, в частности его тестем и будущим коллегой по консульству Квинтом Метеллом Сципионом, см. Val. Max., IX,5, 3; Plut., Pomp., 55; App., BC,II, 24—25. Недаром Тацит называл его «suarum legum auctor idem ac subversor» (Ann., III, 28).

[3] Ср. с рассуждением, приводимым ниже (Epp., II, 5): «antea in patribus summa auctoritas erat, vis multo maxuma in plebe».

[4] Имеется в виду закон (lex Aurelia), проведенный в 70 г. в консульство Помпея и Красса, по которому постоянные судебные комиссии со-

правит эта клика, даруя что угодно и что угодно отнимая, обходя людей достойных и выдвигая на почетные и ответственные должности своих ставленников. Ни злодеяния, ни позорные и бесчестные поступки не мешают им захватывать магистратуры — они тащат и хватают все, что попадается им под руку и, словно в городе, взятом приступом, руководствуются не законами, а собственным произволом. Но мне было бы менее досадно, если бы они, по своему обычаю, использовали для угнетения других победу, доставшуюся им благодаря доблести. Но будучи людьми абсолютно бездарными, вся сила и доблесть которых заключается только в их многословии, они злоупотребляют властью, доставшейся им благодаря беспечности и нерадивости других. Какие еще смуты и мятежи истребили столько знаменитых семейств? Кто и когда был столь же опрометчив и необуздан в своем торжестве?

4. Луций Сулла, которому его победа, по законам войны, давала право на все, хоть и знал, что казнью врагов укрепит свою партию, однако, истребив немногих, предпочел воздействовать на остальных милостями, а не страхом[1]. Ныне, клянусь Геркулесом, при *Марке* Катоне[2], *Луции* Домиции[3] и прочих из этой же клики, сорок сенаторов и, кроме того, много молодых людей, подававших хорошие надежды, закланы как жертвенные животные[4], и все-таки эта наглая порода людей

---

ставлялись из представителей трех сословий: $^1/_3$ сенаторов, $^1/_3$ всадников и $^1/_3$ эрарных трибунов (C i c., ad Att., I, 16, 3; Phil., I, 8, 20; Asc., стр. 16—30; 53; 67; 78; 90).

[1] В данном месте «Письма» Саллюстий, явно искажая факты и обеляя Суллу, видимо, преследовал единственную цель: как можно в более отрицательном свете выставить действия Помпея и его сторонников. В «Заговоре Катилины» дается, например, совершенно иная характеристика Суллы и его деятельности (S a l l., Cat., 11).

[2] В 54 г. Луций Домиций был консулом (P l u t., Cato min., 44), а Катон — претором; (P l u t., Cato min., 42). Но и после этого оба они продолжали играть крупную роль в политической жизни Рима, вплоть до гражданской войны. Марк Порций Катон Утический или Младший (правнук Катона-цензора) был видным представителем республиканско-аристократических кругов Рима. Последователь стоической философии (C i c., ad Att. XIII, 19; P l u t., Cato min., 6), один из наиболее опасных противников Цезаря (последний даже написал против него не дошедший до нас политический памфлет «Anticato»), после разгрома Помпея в Греции Катон пытался организовать сопротивление Цезарю в Африке и обосновался в Утике. Когда Цезарь разбил помпеянцев при Тапсе, Катон покончил жизнь самоубийством (P l u t., Cato min., 65 слл.).

[3] Луций Домиций Агенобарб, консул 54 г., непримиримый враг Цезаря, преемником которого он был назначен в Галлию (C a e s., BC, I, 6). В самом начале гражданской войны попал в руки Цезаря, который, будучи верен своему лозунгу — clementia, отпустил его. Сражался против Цезаря в битве при Фарсале, где и погиб (C a e s., BC, III, 99; C i c., Phil., II, 29, 71; A p p., BC, II, 82).

[4] Это место ставит втупик всех комментаторов. О каком избиении 40 (!?) сенаторов говорит Саллюстий — неизвестно, так как ни один

еще не насытилась кровью стольких несчастных граждан. Ни осиротелые дети, ни престарелый возраст родителей, ни стоны мужей, ни вопли женщин не тронули их ожесточившегося духа, наоборот, черствея день ото дня в своих злодеяниях, они посягают то на достоинство одних, то на гражданские права других[1]. Что же касается тебя, то за твое унижение эти трусы и бездельники готовы, если б только было возможно, продать свою жизнь. Им не столь желанна власть (к тому же доставшаяся им совершенно неожиданно), сколь прискорбно твое величие. Они охотнее подвергнут опасности свободу вследствие твоей гибели[2], чем допустят, чтобы благодаря тебе еще более возросло могущество римского народа. Поэтому ты должен еще и еще раз обдумать тот способ, которым ты рассчитываешь укрепить и упрочить государство. Я же не усомнюсь высказать все то, что доступно моему разумению, предоставив, конечно, всецело тебе решение вопроса о том, что ты сочтешь для себя приемлемым и удобоисполнимым.

5. Я полагаю, что государство разделено на две части, как я узнал от предков, на патрициев и плебс[3]. Прежде у патрициев был высший авторитет, сила *же* много большая — у плебса (antea in patribus summa auctoritas erat, vis multo maxuma im plebe[4]). В государстве часто происходили сецессии[5], и постоянно силы нобилитета уменьшались, а права народа

---

из древних авторов больше об этом не упоминает, известие же самого Саллюстия слишком лапидарно, чтобы на основании его можно было придти к каким-нибудь определенным выводам. Высказывались предположения, что факт избиения сенаторов измышлен Саллюстием, так как трудно думать, чтобы такое крупное событие осталось неотмеченным у других историков. Но не менее трудно предположить, что Саллюстий, говоря о событиях, видимо, современных читателям его «Письма», мог столь безответственно оперировать вымышленными фактами.

[1] Саллюстий здесь, очевидно, подразумевает ряд судебных процессов и изгнаний цезарианцев в период третьего консулата Помпея (Plut., Pomp., 55; Cic., Phil., VI, 4; X, 11; 6; XIII, 12; ad Att., XIV, 13; pro Mil., 13, 33; App., BC, II, 24). Кроме того, Саллюстий, может быть, имеет в виду деятельность цензора Аппия Клавдия Пульхра, который провел в 50 г. lectio senatus, исключив из него детей вольноотпущенников, а также ряд лиц, обвиненных в безнравственном образе жизни, в том числе и самого Саллюстия (Cic., ad Att., VI, 9, 5; Gell., VII, 18).

[2] Таким образом, Цезарь трактуется здесь как освободитель и восстановитель республики, а его гибель отождествляется с гибелью свободы. Ср. Sall., Epp., I, 6: «quare capesse, per deos, rem publicam et omnia aspera, uti soles, pervade namque aut tu mederi potes aut omittenda est cura omnibus».

[3] Ср. Sall., Iug., 41; Hist., I, 11.

[4] Ср. Sall., Epp., II, 10: «igitur ubi plebs senatui, sicuti corpus animo oboedit eiusque consulta exsequitur...»

[5] Ср. Sall., Hist., I, 11. Согласно традиции, первая сецессия, приведшая к возникновению народного трибуната (Liv., II, 32 слл.), произошла в 494 г.; вторая, в силу, которой децемвиры якобы были отрешены от должности,— в 449 г. (Liv., III, 50 слл.).

возрастали. Плебс действовал тем свободнее, что никто не злоупотреблял властью, попирая законы, и знатный превосходил незнатного не богатствами или надменностью, но доброй славой и мужественными подвигами. Каждый, *даже* самый низкорожденный, на поле брани, *не* занимаясь никаким *особенно* почетным делом, *мог* достаточно *принести пользы* и себе и *своему* отечеству[1]. Но когда их [*плебеев*], мало-помалу согнанных *со своих* земель[2], бездеятельность и нужда довели *до того*, *что они* лишились *даже* постоянного жилья, *они* начали домогаться чужих богатств и торговать свободой *не только* своей, *но* и государства. Так постепенно народ, который был господином и повелевал всеми *остальными* племенами, пришел в упадок; вместо разделяемой всеми власти каждый в отдельности создал себе рабство. Таким образом, эта толпа (multitudo), во-первых, развращенная дурными обычаями, во-вторых, кочующая с места на место, *вследствие* различных профессий и образа жизни не имеющая никакого внутреннего единства, весьма мало способна, *как* мне кажется, к *управлению* государством (parum mihi quidem idonea videtur ad capessendam rem publicam)[3]. Впрочем, я питаю большие надежды *на* то, что при добавлении новых граждан все воспрянут к свободе; у новых граждан возникнет стремление удержать *полученную* свободу, у старых *такое же стремление к* низвержению рабства. *Я* предлагаю *тебе*, перемешав этих новых граждан со старыми, организовать *их* в *виде* колоний; таким образом, и военное дело *от этого* выиграет, и плебс, занятый полезной деятельностью (bonis negotiis), перестанет вредить государству[4].

6. Я прекрасно знаю и предвижу, какая буря негодования подымется среди нобилитета, если только ты приступишь к осуществлению этого мероприятия. Они вознегодуют, говоря, что тем самым государство будет потрясено до основания, что на старых граждан будут наложены оковы рабства и, наконец,

---

[1] Ср. это описание с картиной «золотого века» римской истории в «Заговоре Катилины» (Sall., Cat., 7).

[2] Таким образом, причиной разложения плебса Саллюстий считает утерю земельных участков, и соответственно этому первая из предлагаемых им реформ (см. ниже, в этой же главе) сводится к увеличению числа граждан и наделению их землей в новых колониях. Интересно отметить, что причина развращенности плебса лежит вне его самого, а потому и не может быть «врожденной» плебсу (ср. с тезисом о прирожденности зла нобилитету; см. Sall., Hist., I, 7).

[3] Ср. Sall., Iug., 31, 11—12, а также развернутое обоснование суверенности прав народа в речи народного трибуна Лициния Макра (Hist., III, 47, 6—20).

[4] Ср. Sall., Epp., I, 7: «igitur provideas oportet, uti plebs, largitionibus et publico frumento corrupta habeat negotia sua, quibus ab malo publico detineatur».

что свободное государство превратится в тиранию, если по милости одного множество людей будет включено в состав граждан. Что касается меня, то, по моему убеждению, тот, кто добивается своего личного блага во вред государству, тот лишь причиняет зло самому себе, но если благо государства совпадает с частным, то в подобном случае колебаться и не приступать к делу я считаю просто малодушием. *Марк Ливий* Друз[1] во время своего трибуната всегда и изо всех сил стремился найти опору в нобилитете и вначале все, что он ни предпринимал, было предпринято по их [*нобилей*] инициативе[2]. Но эти интриганы, для которых обман и коварство дороже чести, решили, что слишком великое благо будет дано многим людям по милости одного, и, очевидно, сознавая относительно себя, насколько они испорчены и коварны, стали судить по себе и о *Марке Ливии* Друзе. Боясь, как бы он вследствие своей популярности не овладел один властью в государстве, они начали противодействовать ему и тем самым погубили и его и свои собственные планы. Что касается тебя, император, тебе следует с гораздо большей тщательностью и старанием подготовить себе друзей и опору.

7. Энергичному и храброму человеку легко одолеть врага в открытой борьбе, но людям достойным столь же трудно избежать тайных опасностей, сколь несвойственно их готовить. Итак, когда ты примешь в общество новых граждан и плебс будет восстановлен в своих правах, приложи все усилия к тому, чтобы почитались добрые нравы и укреплялось согласие между старыми и новыми гражданами. Но величайшее благо сотворил бы ты для отечества, сограждан, для самого себя и потомства, наконец, для всего человечества, если бы ты искоренил или, если этого не позволяют обстоятельства, по крайней мере уменьшил страсть к деньгам (si studium pecuniae aut sustuleris

---

[1] Имеется в виду народный трибун 91 г. Марк Ливий Друз Младший. Хотя по своим взглядам и личным связям Ливий Друз был близок оптиматам, он выступил с рядом законопроектов, направленных против олигархической верхушки. Так, например, он предлагал реформировать суды, заменив в них всадников сенаторами, но одновременно расширив состав сената за счет представителей всаднического сословия. Другим мероприятием Друза была продажа хлеба по удешевленным ценам и предложение о выделении для новых колоний еще не использованной части италийского земельного фонда. Попытка Друза вновь возбудить союзнический вопрос и даровать права римского гражданства союзникам погубила его. Вскоре после проведения lex de civitate sociis danda через народное собрание Ливий Друз был убит. Его смерть послужила сигналом к восстанию, известному под именем Союзнической войны (Cic., Legg., II, 6; de or., I, 7; III, 1; Mil., 7; App., BC, I, 35; Aur. Vict., de vir ill., 36).

[2] Ср. с характеристикой, которую дает Ливию Друзу Цицерон (Cic., de or., I, 7.)

aut quoad res feret minueris)[1]. Иначе не будет порядка ни в частных, ни в общественных делах, ни в мирное время, ни на войне, ибо где господствует эта пагубная страсть, там уже не имеют никакого значения науки, искусства, дарования, рано или поздно, но она окончательно порабощает рассудок. Не раз я слышал о том, что цари, государства и народы, живя в изобилии, утрачивали то могущество, которое они приобрели исключительно своей доблестью, еще не имея богатств (saepe iam audivi, qui reges, quae civitates et nationes per opulentiam magna imperia amiserint, quae per virtutem inopes ceperant)[2]. И это вовсе неудивительно: если честный человек видит, что недостойный становится знаменит и все более уважаем из-за своего богатства, то он сначала негодует, колеблется в нерешительности, но там, где суетная слава побеждает честь, а богатства — доблесть, там дух человеческий легко изменяет истине в угоду наслаждению. Ибо и полезная деятельность питается жаждой славы, отними ее — сама по себе добродетель сурова и горька[3]. Там же, где славу доставляет лишь богатство, там все становится продажным: честность, порядочность, совесть и стыд. К добродетели одна и к тому же крутая дорога, к обогащению каждый может избрать ту, которая ему по вкусу, ибо богатства создаются как хорошими, так и дурными средствами. Итак, прежде всего следует уничтожить значение денег (ergo in primis auctoritatem pecuniae demito), чтобы права и положение граждан не определялись их богатством и чтобы при избрании консулов и преторов учитывалось не состояние, а достоинства кандидатов[4]. О магистратах, бесспорно, должен выносить свое решение народ. Избрание судей немногими означает, по существу, монархию[5], а если они избираются в зависимости от их богатства, то это несправедливо и постыдно. Поэтому пусть судебная власть будет достоянием граждан первого класса (quare omnes primae classis iudicare placet), но в бóльших размерах, чем ныне[6]. У родосцев и в других государствах никогда не высказывалось недовольства судами, ибо там

---

[1] Ср. Sall., Epp., I, 7: «...si pecuniae...usum atque decus dempseris».

[2] Там же: «nam saepe ego quom animo meo reputans quibus quisque rebus clari viri magnitudinem invenissent...» и т. д.

[3] Данное воззрение является чрезвычайно типичным для Саллюстия. Ср. с другими высказываниями Саллюстия о славе, главным образом в «Заговоре Катилины» (Sall., Cat., I, 3; I, 4; 2, 9; II, 2; 52, 22).

[4] Ср. Sall., Epp., I, 5: «ea vera atque simplex via est, magistratum populo, non creditori gerere...» и т. п.

[5] Ср. Plut., G. Gr., 5. Саллюстий здесь снова намекает на «тиранию» Помпея (см. стр. 245).

[6] Предложение Саллюстия сводится, таким образом, к оставлению существующего порядка выбора судей из граждан первого класса и лишь к некоторому увеличению их числа.

безразлично, богатый и бедный, кому выпадет жребий, выносят свои решения и по незначительным и по важнейшим делам[1]. Что касается избрания магистратов, то мне кажется вполне приемлемым закон, который обнародовал во время своего трибуната Гай Гракх[2]: из граждан всех пяти классов центурии вызываются для голосования по жребию. Таким образом, все граждане, уравненные в смысле своего достоинства и своего состояния, будут стремиться превзойти друг друга только доблестью.

8. Это, *как* я полагаю, лучшее средство *борьбы* против *пагубного влияния* богатства. Ибо всегда все то, что ценится *нами* и служит предметом *наших* стремлений, является таковым, поскольку из этого можно извлечь пользу, ибо *и* злые поступки делаются *ради* выгоды. Если отнимешь ее — никто не будет *творить* зла напрасно[3]. Но корыстолюбие — дикий зверь, чудовищная и беспощадная страсть, и там, где она царит, *она* опустошает города, поля, храмы и жилища; божественное смешивает с человеческим; ни войско, ни стены не устоят против ее натиска; она крадет у людей доброе имя, стыд, детей, отечество, родителей. Поистине, если *ты* отнимешь у денег их привлекательность, *то все* это огромное могущество корыстолюбия будет легко побеждено добрыми нравами[4]. И хотя все *твои* друзья и недруги прекрасно понимают, что дело заключается именно в этом, однако тебе предстоит немалая борьба с партией нобилитета. Если *ты* сумеешь избежать *их* козней, *то* все остальное не представляет затруднений. Ибо этим *людям*, если бы *только они* в достаточной *степени* обладали доблестью, следовало бы скорее соревноваться с достойными *гражданами*, чем завидовать *им*. *Но* так как они предались лени и бездействию, так как *они* охвачены оцепенелостью и бесчувствием, *поэтому лишь* шумят, завидуют *и* доброе имя другого считают позором *для самих* себя.

9. Но к чему мне распространяться о том, что и так достаточно известно? Энергия и сила духа *Марка* Бибула[5] достаточно проявились во время его консульства: косноязычный,

---

[1] Однако только что высказанное предложение Саллюстия: «quare omnes primae classis iudicare placet» едва ли может толковаться как обеспечение участия в судах «богатых» и «бедных» без различия!

[2] Об этом законе Гая Гракха упоминает только Саллюстий.

[3] Таким образом, Саллюстий высказывается здесь против прирожденности зла человеку: ср. Hist., I, 7 (см. стр. 248, прим. 2).

[4] См. стр. 250, прим. 1. Предыдущее рассуждение о корыстолюбии ср. S a l l., Cat., 10—11; Iug., 41.

[5] Марк Кальпурний Бибул был в 59 г. консулом вместе с Цезарем и пытался сопротивляться его мероприятиям, но безуспешно. Цезарь с ним совершенно не считался (C i c., pro domo, 15 S u e t., Div. Iul., 9; 20). В дальнейшем активно поддерживал Помпея (P l u t., Cato min., 47).

имея ум злобный и неповоротливый, на что же он может рассчитывать, он, для кого высшая власть, которую дает звание консула, оказалась величайшим позором? Не *Луций* ли Домиций[1] обладает этой силой, каждый член которого запятнан преступлением и позором: хвастливый язык, обагренные кровью руки, ноги, приспособленные лишь к бегству, не говоря уже о том, что непристойно и назвать. Я отнюдь не отрицаю ораторского таланта, ловкости и тонкости ума *Марка* Катона[2]. Но все это — плоды греческого образования, а ведь доблесть, бдительность, трудолюбие грекам неизвестны. Да и можно ли принять наставления о том, как следует хранить власть от тех, кто свою собственную свободу утратил вследствие бездействия и лени? Остальные из этой клики еще более бездарны,— в них, словно в статуях, нет ничего примечательного, кроме имени. *Луций* Постумий[3] и *Марк* Фавоний[4] представляются мне как бы лишним грузом на большом корабле,— пока все идет благополучно, этот груз может быть даже использован, но как только возникнет опасность, его прежде всего выбросят за борт, так как ценность его ничтожна.

10. Теперь, поскольку я изложил свои взгляды относительно обновления и исправления плебса, скажу тебе то, что касается сената[5]. Уже несколько возмужав и окрепнув духом, я стал уделять физическим упражнениям, военному делу и верховой езде сравнительно немного времени, предпочитая

---

[1] См. стр. 246, прим. 3.

[2] Очевидно, некоторый намек и противопоставление Марка Катона Младшего его знаменитому прадеду — Марку Катону Цензору. См. стр. 246, прим. 2.

[3] Луций Постумий ничем нам не известен. Очевидно, как представитель старинного аристократического рода, был близок к оптиматам.

[4] Марк Фавоний, поклонник Катона Цензора, сенатор (P l u t., Cato min., 32), был противником триумвиров и, в частности, Помпея. В 53 г. был избран эдилом (P l u t., Cato min., 46). Перед началом гражданской войны был резко настроен против соглашения с Цезарем и перешел на сторону Помпея. После его гибели вернулся в Рим и был помилован Цезарем (C a e s., BC, III, 56; 58; P l u t., Pomp., 67; 71); хотя он и не принимал прямого участия в заговоре против Цезаря, но был скомпрометирован близостью к заговорщикам. При Филиппах попал в плен к триумвирам и по приказанию Октавиана был казнен (S u e t., Aug., 13). Тот факт, что Саллюстий упоминает о нем как о противнике Цезаря, подтверждает предположение о датировке этого «Письма» 51—50 гг., ибо Фавоний примкнул к Помпею не ранее этого времени.

[5] Здесь явственно проступает проводимое самим Саллюстием деление проектов реформ «Письма» на две части: а) меры, необходимые для обновления «народа», и б) меры, необходимые для обновления сената. От этого зависит и общая структура «Письма»: а) вступление, характеристика современной обстановки (главы 1—4); б) исторический экскурс, картина разложения Римского государства (глава 5); в) проекты реформ; меры по обновлению плебса (главы 5—9); г) проекты реформ; меры по обновлению сената (главы 10—12); д) заключение, captatio benevolentiae (глава 13).

изощрять свой ум изучением наук и литературы. Я стремился развить занятиями ту часть моего существа, которую природа одарила наибольшими возможностями. Вследствие такого образа жизни, на основании чтения и собственного опыта, я убедился, что все государства, общины и народы до тех пор благополучно пользовались властью, пока у них преобладали основы справедливости и благоразумия. Там же, где они были подорваны страхом, подобострастием и чувственными наслаждениями, там вскоре после этого наступал упадок, утеря власти и, наконец, рабство. Я считаю, что тот, кто занимает в государстве более высокое и более блестящее по сравнению с другими положение, тот и должен проявлять наибольшую заботу о государственных делах[1].

Для остальных граждан с благополучием государства связана только их свобода. Но не так обстоит с теми, кто доблестью создал себе богатства, почет, положение (qui per virtutem sibi divitias, decus, honorem pepererunt). Малейшее потрясение в государстве неизбежно влечет для них множество трудов и забот. Они должны защищать свою честь, свободу и семью. Им следует быть повсюду, использовать каждый момент. Чем более они ощущали процветание государства, тем более горечи и беспокойства принесет им его падение. Итак, если плебс подчиняется сенату, как тело душе (igitur ubi plebs senatui, sicuti corpus animo oboedit)[2], и следует его постановлениям (eiusque consulta exsequitur), то патриции должны выдаваться своим благоразумием и политической дальновидностью, для народа же эти качества излишни[3]. Так, наши предки под бременем жесточайших войн, утратив воинов, конницу, средства, тем не менее продолжали неустанно бороться за власть с оружием в руках. Ни бедность казны, ни силы врагов, ни неблагоприятные обстоятельства не могли сломить их могучего духа, ибо они решили удерживать до последнего вздоха то, что было завоевано их доблестью. Это им удалось, причем скорее благодаря разумным мероприятиям, чем успешным войнам. У них была одна цель, которой они все служили,— благо отечества. Они

[1] Ср. с рассуждением Цицерона о равенстве прав и «градации по достоинству» (Cic., de rep., I, 27, 43), как об одном из условий устойчивости смешанной формы государственного устройства (там же, I, 45, 69).

[2] Основой этого положения является учение Саллюстия о дуализме человеческой природы и о приоритете души над телом (ср. Epp., I, 8; Cat., 1, 2; Iug., 1—2). Особенно наглядно формула «Письма» «plebs senatui sicuti corpus animo oboedit» (Epp. II, 10) перекликается со словами: «animi imperio, corporis servitio magis utimur» (Cat., I, 2). Пользуясь этими двумя формулами, Саллюстий свое учение о приоритете духа над телом распространяет и на сферу государственной жизни.

[3] Ср. с утверждением, высказанным в гл. 5 данного «Письма» «multitudo... parum mihi quadem idonea videtur ad capessendam rem publicam». См. стр. 248, прим. 3.

объединялись только против врагов (factio contra hostis parabatur)[1]; дарования души и тела каждый стремился использовать не для своего личного могущества, а на пользу родины. В наше время, наоборот, люди знатного происхождения управляют всеми народами благодаря своей надменности. Их души охвачены вялостью и бездействием, они ненавидят труд, они не имеют понятия о войне и борьбе с врагами на поле битвы, но зато изощрены во всяких внутренних интригах. Сенаторы, благоразумие которых когда-то было опорой отечества, подавлены и в зависимости от чужой прихоти колеблются то в одну, то в другую сторону, считая благом или злом для государства то, что им предписывает надменность их повелителей.

11. Если бы все одинаково пользовались свободой или существовало бы тайное голосование, то силы государства несомненно возросли, а могущество нобилитета уменьшилось. Однако очень не легко уравнять всех в смысле значения и влияния. Некоторые унаследовали еще от предков завоеванную их доблестью славу, почетное положение, массу клиентов, другие же — и таких большинство — недавно включены в число сенаторов. Поэтому следует дать возможность всем выносить свои решения независимо и без страха. При соблюдении тайны голосования каждый будет ценить собственное мнение выше могущества других. Свобода одинаково дорога дурным и хорошим гражданам, деятельным и ленивым; большинство людей изменяет ей лишь из чувства страха. Безрассудные люди! вследствие своей бездеятельности они, уже словно побежденные, принимают рабство, тогда как если бы они боролись, то еще неизвестно, каков бы был исход этой борьбы! Итак, я полагаю, что сенат можно укрепить двумя способами: увеличением числа сенаторов и введением голосования (sententiam) на табличках[2]. Голосование табличками облегчит независимое высказывание мнений, а увеличение числа сенаторов послужит им самим как бы защитой и на пользу дела. Ибо в последнее время одни из них, занятые в судах, другие — ведением своих частных дел или дел своих друзей, не принимают достаточного участия в обсуждении государственных вопросов. Но, по существу, их удержива-

[1] Если во времена предков factio создавалась только contra hostes, то начало разложения государства ознаменовано борьбой factiones внутри его. См. Sall., Iug., 41: «ceterum mos partium popularium et senati factionum, ac deinde omnium malarum artium, paucis ante annis Romae ortus est» или: «ita omnia in duas partes abstracta sunt».

[2] Под «голосованием на табличках» Саллюстий подразумевает тайное голосование. Обычно голосование в сенате было открытым и осуществлялось путем discessio, т. е. сенаторы, оставляя свои места, переходили на сторону того, с чьим предложением они были согласны (pedibus ire in sententiam alicuius). Относительно мероприятий Цезаря по увеличению числа сенаторов (Ps.-Caes., B. Afr., 28; Suet., Div. Iul., 41; Dio, XLII, 51).

ют от этого не столько частные занятия, сколько господство надменной клики. Люди знатного происхождения с небольшим количеством сенаторов, которых они вовлекли в свою партию, одобряют, отвергают, постановляют все, что им угодно, действуя исключительно по собственному произволу. Но когда будет увеличено число сенаторов и введено голосование табличками, то они утратят всю свою надменность, ибо им придется подчиниться тем, над которыми они до сих пор столь безжалостно господствовали.

12. Может быть, император[1], прочтя это письмо, ты захочешь узнать, насколько следует увеличить число сенаторов и каким образом распределить между ними разнообразные занятия и обязанности. Кроме того, поскольку я считаю нужным передать судебную власть первому классу, ты, может быть, захочешь также узнать, как организовать ведение судебных дел и каково может быть число судей для каждого рода судопроизводства. Все это я мог бы описать без труда и подробнейшим образом, но я решил прежде всего изложить свои принципиальные соображения и представить их на твое усмотрение: если только ты изберешь этот путь, все остальное будет к твоим услугам. Я хочу, чтобы мои советы оказались благоразумными и принесли наибольшую пользу, ибо если твои дела пойдут успешно, то и мне от этого будет добрая слава. Но мое самое страстное желание состоит в том, чтобы каким угодно способом и как можно скорее государство было восстановлено; свободу я ценю более славы. Но, прошу и заклинаю тебя, прославленный полководец, покоритель галльских племен[2], не допусти, чтобы могущество великого и непобедимого народа римского истлело как бы от дряхлости и погибло вследствие внутренних смут. В самом деле, если б только это случилось, то угрызения совести не дали бы тебе покоя ни днем, ни ночью. Терзаемый бессонницей, в бешенстве, ты будешь гоним собственным безумием, — ибо я твердо уверен, что жизнь всех смертных открыта взору богов и ни один поступок, как дурной, так и хороший, не пропадет даром, но сама природа вознаграждает людей по заслугам. Иногда, случайно, возмездие может запоздать, но каждый в соответствии со своей совестью прекрасно знает, на что ему следует надеяться.

13. Если бы родина и предки могли говорить с тобой, *они*, несомненно, сказали бы тебе следующее[3]: О, Цезарь, мы, храб-

---

[1] Imperator — почетный военный титул.

[2] Эта фраза, быть может, является косвенным указанием на время написания «Письма» (после окончания Галльской войны), хотя она и недостаточно определенна.

[3] С этого обращения начинается заключительная часть «Письма», написанная в характерном жанре captatio benevolentiae.

рейшие мужи, породили тебя на свет в славнейшем городе, *как* украшение и защиту *для* нас, *как* ужас *для* врагов! То, *что мы* добыли с многими трудами и опасностями, все это мы передали тебе *в момент твоего* рождения, одновременно с *первым твоим* вздохом; отечество, величайшее в мире, дом и семью, знаменитейшие в нашем отечестве[1], кроме того, достойные навыки, честно *нажитые* богатства[2] *и*, наконец, все знаки отличия мирного *времени* и *все* награды войны. За эти величайшие благодеяния мы требуем от тебя не позорных *поступков*, не злодеяний, но восстановления низвергнутой свободы. *Если ты* это исполнишь, слава *о* твоей доблести разнесется по всем *странам* и народам, ибо в настоящее время, хотя *ты* свершил *много* прекрасных подвигов как на войне, так и в мирной обстановке, твоя слава равна славе многих отважных мужей; но если *ты* действительно восстановишь город со знаменитейшим именем и величайшим могуществом, *ныне* уже близкий к упадку, *то* кто на *всей* земле будет славнее, кто *будет* величественнее тебя? Потому что, если от неизлечимого недуга или *по воле* судьбы этому могуществу придет конец, *то* можно ли усомниться в том, что во всем мире начнутся опустошения, войны, убийства? Но если у тебя будет доброе желание облагодетельствовать отечество *и* предков, *то в* дальнейшем, по восстановлении государства, слава *твоя* окажется превыше *славы* всех смертных, и только твоя смерть будет славнее жизни. Ибо *пока человек* жив, он зависит *от прихотей* судьбы, *от* зависти; но когда он уходит *на покой*, завистники умолкают и *слава о его* доблести растет год от года[3]. *Итак*, *я* изложил как можно короче *то*, что мне показалось наиболее полезным *для* дела, и *то*, что тебе, *я* уверен, может пригодиться[4]. Впрочем, я молю бессмертных богов, чтобы все *твои* начинания, каким бы образом *ты ни* действовал, имели счастливый исход *как* для тебя, *так* и *для* государства[5].

---

[1] Имеется в виду древность и знатность рода Юлиев, который, как известно, возводился к легендарному Асканию-Юлу, сыну Энея, основателю Альбы-Лонги (L i v., I, 3).

[2] Таким образом, все тирады Саллюстия против богатства и денег направлены лишь против богатств, приобретенных «нечестным» и «несправедливым» путем. Ср. с высказыванием Саллюстия в главе 10 данного «Письма»: «qui per virtutem sibi divitias honorem pepererunt» и т. д.

[3] Развитие воззрений Саллюстия на роль и значение gloria. См. стр. 250, прим. 3.

[4] Ср. S a l l., Epp., I, 8: «quae rei publicae necessaria tibique gloriosa fatus sum, quam paucissimis absolvi».

[5] Ср. с заключительными строками позднего «Письма»: «relicuum est optare uti quae tibi placuerint ea di immortales adprobent beneque evenire sinant» (S a l l., Epp., I, 8).

## ПИСЬМО I

1. Раньше существовала уверенность в том, что власть и царства, а таже все остальные блага, к которым столь жадно стремятся смертные, судьба раздает как бы по своему произволу, ибо они часто достаются недостойным и ни у кого не пребывают долговечно. Но опыт учит нас тому, что прав Аппий[1], говоря в своих стихах: «каждый — кузнец своей судьбы». Это особенно справедливо по отношению к тебе, ибо ты уже настолько превзошел всех, что люди скорее устанут восхвалять твои деяния, чем ты совершать то, что достойно хвалы[2]. Впрочем, все приобретенное доблестью, как и то, что добыто трудом или искусством, следует хранить с величайшей заботливостью, дабы оно не испортилось и не погибло вследствие небрежности. Никто не уступит власть другому по собственному желанию и как бы ни был добр и милостив (clemens) тот, кто стоит на вершине могущества, он всегда вызывает опасение тем, что может употребить свою власть во зло[3]. Это происходит потому, что нередко власть имущие превратно судят об этом вопросе и считают свое положение тем прочнее, чем ничтожнее те, которыми они управляют. Но тебе, поскольку ты милостив и вместе с тем достаточно решителен, тебе следует стремиться к тому, чтобы управлять наиболее достойными, ибо на самом деле неспособны подчиняться именно испорченные люди.

Тебе гораздо труднее, чем всем твоим предшественникам, воспользоваться плодами своей победы: ты вел войну мягче, чем поступают другие в мирное время, и вот теперь победители требуют награды, а побежденные — твои же соотечественники[4]. Эти затруднения тебе следует разрешить и затем укрепить

---

[1] Аппий Клавдий Цек (Caecus), цензор 312 г., консул 307 и 296 гг. Этот крупный государственный деятель ранней Римской республики считался у древних также первым римским писателем. Ему приписывались два прозаических произведения: речь против заключения мира с Пирром, произнесенная в сенате в 280 г. (C i c., Brut., 16; S e n., Epp., 114, 13; T a c., Dial., 18; 21) и юридический трактат «de usurpationibus», Dig., I, 2, 36 (Pomp.). Кроме того, он считался автором собрания изречений, написанных сатурническим стихом и называвшихся sententia. Приводимое Саллюстием изречение входило в этот сборник.

[2] Начиная с этой фразы и до конца главы — captatio benevolentiae. Ср. Sall., Epp., II, 1: «sed per ceteros mortalis illa res clarior est, quod prius defessi sunt homines laudando atque admirando munificentiam tuam quam tu faciundo quae gloria digna essent».

[3] Общий контекст этой фразы (см. дальнейшее обращение к Цезарю) заставляет думать, что это не только общее рассуждение, но конкретный намек на самого Цезаря.

[4] Так как смысл этой фразы не оставляет сомнений в том, что в ней идет речь о гражданской войне, то она может служить косвенным указанием для датировки этого, более позднего «Письма к Цезарю» (см. вводную статью).

государство уже не силой оружия и не в борьбе против явных врагов, но, что гораздо важнее и гораздо труднее, разумными средствами мирного времени. Столь важное дело требует того, чтобы каждый в меру своих возможностей высказал о нем свое мнение. Что касается меня, то мне кажется, что в будущем все будет зависеть от того, как ты используешь результаты своей победы.

2. Мне хочется, дабы укрепить и облегчить твои решения, изложить в немногих словах то, что я думаю по этому вопросу. Ты вел войну, император, с человеком знаменитым, располагающим огромными средствами, жадным до власти, обязанным своими успехами скорее счастью, чем уму[1]. К нему примкнули некоторые, настроенные к тебе враждебно, вследствие личных обид или те, кого он привлек благодаря родственным и иным связям. Он не допускал мысли о разделе власти с кем бы то ни было; если бы он согласился на это, то не к чему было потрясать вселенную войной[2]. Масса же черни следовала за ним отнюдь не по убеждению, но по своей привычке идти за тем, кто впереди и кто в силу этого кажется толпе более опытным и сведущим.

В то же самое время вследствие клеветы твоих врагов люди, рассчитывающие на захват государственной власти, запятнанные позором и разложением, сбегаются и в твой лагерь. Они открыто угрожают мирным гражданам смертью, грабежами и всем тем, на что их наталкивает извращенный ум. Однако большая часть этих людей, видя, что ты вовсе не намерен оправдать их надежды и не обращаешься с согражданами как с врагами, уже схлынула; остались лишь немногие, для которых лагерь оказался более надежным убежищем, чем Рим, — такая масса

---

[1] Имеется в виду, конечно, Помпей. Интересно с этими словами Саллюстия сопоставить характеристику, которую дает Помпею К. Маркс в письме к Ф. Энгельсу от 27 февраля 1861 г. (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXIII, 1932, стр. 15): «Помпей же незаслуженно вошел в славу сначала благодаря присвоению успехов Лукулла (против Митридата), затем успехов Сертория (в Испании) и т. д., потом «young man» Суллы и т. д. Как генерал — римский Одилон Барро. Как только пытается показать в борьбе против Цезаря свои таланты — ничтожество. Цезарь делает ряд самых крупных военных ошибок, намеренно экстравагантных, для того, чтобы сбить с толку противостоящего ему филистера. Любой римский генерал, какой-нибудь Красс, уничтожил бы Цезаря шесть раз во время Эпирской войны. Но с Помпеем можно было себе позволить все. Мне кажется, что Шекспир, когда писал комедию „Love's Labour lost", имел уже некоторое представление о том, чем Помпей был на деле».

[2] Несомненный намек на переговоры между Цезарем, с одной стороны, сенатом и Помпеем — с другой, перед началом гражданской войны и на компромиссные предложения Цезаря Caes. (Hirt.), BG, VIII, 24; Caes., BC, I, 9; Cic., ad Att., VII 8, 5; ad fam., XVI, 11, 2; Plut., Pomp., 59; Caes., 80—91; Suet., Div. Iul., 29—30; App., BC, II, 32.

кредиторов им угрожала![1] Немыслимо и сказать, сколько людей по этим же причинам примкнуло к Помпею. Его лагерь стал для должников на все время войны как бы священным и неприкосновенным убежищем.

3. Теперь тебе как победителю следует решить вопрос о войне и мире: ты должен окончить первую, как подобает гражданину, и добиться самого справедливого и продолжительного мира. Но прежде всего размысли, какой образ действий является наилучшим для того, что ты намерен совершить. Что касается меня, то я полагаю, что жестокая власть скорее тягостна, чем продолжительна: ибо тот, кто внушает страх многим, тот и сам многих страшится[2]. Его жизнь похожа на постоянную войну, ведомую с переменным успехом, опасности грозят ему спереди и сзади и со всех сторон, он постоянно в страхе и тревогах. Наоборот, те, кто пользуется властью умеренно и милостиво, для тех жизнь счастлива и радостна, и *они встречают* бо́льшую признательность среди врагов, чем иные среди сограждан. Но, может быть, меня упрекнут в том, что вышесказанным я хочу как бы уничтожить результаты твоей победы и советую совершенно излишнюю снисходительность по отношению к побежденным? Но я полагаю, что согражданам следует предоставить то, в чем мы сами и наши предки не отказывали даже иноземным народам, нашим врагам по природе, и не следует, по обычаю варваров, воздавать убийством за убийство и кровью за кровь.

4. Разве уже забыто, сколько шума и возмущения вызывали перед нынешней войной и Гней Помпей и сулланская победа? Домиций[3], Карбон[4], Брут[5] и многие другие погибли не на поле

---

[1] Здесь впервые звучит некоторая тревога относительно окружения Цезаря. Последующее сравнение с лагерем Помпея мало что меняет по существу. О мероприятиях Цезаря для разрешения долговой проблемы (S u e t., Div. Iul., 38; 42; D i o, XL, 51) см. стр. 94—95.

[2] С этой фразы и до конца главы — в известной мере повторение мотива captatio benevolentiae. См. стр. 257, прим. 2.

[3] Очевидно, имеется в виду Гней Домиций Агенобарб, зять Цинны, приверженец Мария. При Сулле был в опале, в 82 г. в Африке начал военные действия против сулланцев, но был разбит Помпеем и погиб (V a l. M a x., 6, 2, 8; P l u t., Pomp., 10).

[4] Очевидно, имеется в виду Гней Папирий Карбон, марианец, консул 85 и 84 гг. Пытался организовать отпор Сулле во время его похода на Рим после окончания войны с Митридатом. В 83 г. вынужден был бежать в Африку, где попал в руки Помпея и по распоряжению последнего был казнен (C i c., Sest., 3; ad fam., IX, 21; P l u t., Pomp., 5—10; A p p., BC, I, 67—96).

[5] Очевидно, Марк Юний Брут, народный трибун 83 г., видный марианец. Во время гражданской войны он руководил марианскими войсками в Цизальпинской Галлии, воюя на стороне Лепида, но вынужден был сдать Помпею Мутину и по приказанию последнего был убит в 77 г.

брани и не в силу военной необходимости, но были злодейски умерщвлены безоружными и беззащитными уже после окончания войны. Римский же народ подвергся избиению в общественном парке, как скот[1]. О, сколь эти тайные убийства граждан, внезапная резня, бегство женщин и отроков под защиту родителей *или своих взрослых* детей, опустошение жилищ, сколь все это было ужасно и невыносимо, вплоть до того, пока ты не достиг победы. А некоторые и тебе советуют заняться тем же, словно борьба шла за то, кто из вас двоих[2] получит более неограниченную возможность вредить республике, словно государственная власть снова досталась тебе не по заслугам, а узурпирована тобою[3]. Неужели лучшие граждане, заслуженные воины отказались бы от отдыха, после того как окончен срок службы? Неужели они подняли бы оружие против своих братьев, отцов и сыновей лишь для того, чтобы самые презренные из людей воспользовались несчастиями других как средством удовлетворения своего чревоугодия и самых низменных страстей? Неужели бы они подняли оружие, чтобы покрыть позором твою победу и запятнать доброе имя всех благонамеренных людей? Я полагаю, что от тебя не ускользнуло, каковы были нравы и поведение этих людей тогда, когда еще было неясно, на чьей стороне окажется победа, и как некоторые из них в самый разгар военных действий занимались куртизанками и пирами, хотя их возраст делал подобные развлечения для них позорными даже и в мирное время. Но о войне сказано уже достаточно.

5. Что касается укрепления мира, о чем заботишься ты *сам* и все твои *единомышленники*, то, прошу *тебя*, сперва обдумай, каково то, о чем ты рассуждаешь; таким *образом*, отделив благие *средства от* дурных, открытым путем ты пойдешь к истине.

Я полагаю так: поскольку все рожденное на свет погибает, *то* Римскому государству рок уготовал гибель *в* тот *самый* час, когда граждане поднимут руки на граждан[4]; ослабевшие и обескровленные, *они* станут добычей *какого-либо* царя или народа.

---

до н. э. (Cic., ad Att., IX, 14; Plut., Pomp., 16; App., BC, II, III). Он был отцом знаменитого Марка Юния Брута, одного из убийц Цезаря.

[1] О каком избиении римских граждан говорит здесь Саллюстий — неясно (ср. Epp., II, 4, стр. 246, прим. 4). Едва ли здесь он имеет в виду известный факт массового избиения, организованного Суллой после победы у Коллинских ворот, поскольку последнее происходило в центре города у храма Беллоны (Plut., Sulla, 27), причем избиению подверглись в этом случае главным образом самниты.

[2] Т. е. Помпей или Цезарь.

[3] Очевидно, Саллюстий, желая здесь показать, что Цезарь отнюдь не узурпатор, хочет подчеркнуть то обстоятельство, что он и раньше занимал руководящие государственные посты и пользовался государственной властью.

[4] Т. е. предупреждение против новых гражданских войн и опасение их возможности.

В противном случае весь мир и все племена, собранные *воедино*, не смогут поколебать или уничтожить это могущество.

Итак, следует укреплять доброе согласие, а раздоры следует изгонять. Этого можно достичь, если *ты* обуздаешь неистовую расточительность и грабежи, однако не путем возврата к древним обычаям, которые уже давно вследствие испорченности нравов стали *предметом* насмешки[1], но твердо установив, что пределом расходов каждого *человека является* его собственное состояние[2].

Однако *уже* распространился такой обычай, что молодые люди почитают за особую доблесть растрачивать *не только* свое, *но* и чужое *и* не отказывать ни *в* чем *как своим* страстям, так и другим, просящим *у них*. *Именно в* этом *усматривают теперь* добродетель и величие духа, *а* стыд и скромность расцениваются как тупоумие. И вот *такой* необузданный дух, вступив *на* гибельный путь и ощутив недостаток в привычных уже средствах, бросается то на союзников, то на сограждан, колеблет устои и жаждет переворотов.

Поэтому ростовщик должен быть истреблен, чтобы впредь каждый из нас довольствовался *только* своим *собственным* состоянием. Это наиболее простой и верный путь *к тому*, чтобы магистраты действовали *в интересах* народа, *а* не кредиторов (ea vera atque simplex via est magistratum populo, non creditori gerere) и *чтобы* величие духа проявлялось в умножении *средств* государства, *а* не *в их* уменьшении.

6. Я знаю, насколько суровой и тяжкой, особенно вначале, покажется эта мера и, в первую очередь, для тех, кто после победы рассчитывал на еще бо́льшую свободу и произвол, а отнюдь не на еще бо́льшую стесненность[3]. Однако если ты будешь иметь в виду их истинное благо, а не прихоти, то этим обеспечишь и для них и для нас, а также для союзников, прочный мир. Но если те же самые дурные привычки и наклонности останутся у нашей молодежи и впредь, то твоя слава и доброе имя окажутся столь же недолговечными, как и самое существование города Рима.

Мудрые люди ведут войну ради мира, выносят труды и тяготы в надежде на отдых, — но если ты не добьешься установления прочного мира и спокойствия, то, собственно говоря, чем

---

[1] Данное рассуждение является зародышем саллюстиевой теории упадка нравов, развиваемой им под влиянием Посидония, главным образом в историческом экскурсе «Заговора Катилины» (S a l l., Cat., 6—13).

[2] С этого места начинается изложение и обоснование главного предложения Саллюстия в этом «Письме» — денежной реформы. Ср. Epp., II, 7—8.

[3] Здесь снова у Саллюстия дает себя чувствовать некоторая тревога по поводу окружения Цезаря. См. стр. 259, прим. 1.

же тогда будет отличаться положение победителей от побежденных? Поэтому ради богов прими на себя труд восстановления государства и, как ты это умеешь, преодолей все препятствия (quare capesse, per deos, rem publicam et omnia aspera, uti soles, pervade)[1]. Ибо только ты один в состоянии залечить его раны, и больше некому об этом позаботиться (namque aut tu mederi potes aut ommitenda est cura omnibus). Тебя никто не призывает к жестоким казням и суровым приговорам, которыми, кстати говоря, государство скорее опустошается, чем восстанавливается, но твоя задача — удержать молодежь от гибельных страстей и наклонностей. В том и проявится истинное милосердие, если граждане не будут без вины изгоняться из отечества, если их удержат от глупостей и обманчивых наслаждений, если будут упрочены мир и согласие. Наоборот, снисходя к нашим порокам и проявляя терпимость к преступлениям, ты, может быть, доставишь нам этим минутную радость, но за нею вскоре последуют неисчислимые бедствия.

7. Что касается меня, то те начинания, которые страшат других, меня, наоборот, чрезвычайно воодушевляют. Я подразумеваю обширность и величие твоей задачи, поскольку тебе предстоит установить мир и спокойствие во всех частях государства. Гений, подобный твоему, не должен разменивать себя на малые дела, но велика награда за великие предприятия.

Итак, тебе следует принять меры, чтобы плебс, уже развращенный подкупами и хлебными раздачами, имел определенное занятие, которое не давало бы ему возможности участвовать в гражданских смутах (igitur provideas oportet, uti plebs largitionibus et publico frumento corrupta habeat negotia sua, quibus ab malo publico detineatur)[2] и чтобы наша молодежь стремилась не к богатству и расточительности, но к добропорядочной и полезной деятельности. Это произойдет лишь тогда, когда деньги (si pecuniae), которые и являются источником всех зол, потеряют свой блеск и значение (usum atque decus dempseris)[3].

Нередко размышлял я о том, каким путем великие люди достигают славы (nam saepe ego quom animo meo reputans, quibus quisque rebus clari viri magnitudinem invenissent), как возвышались народы с помощью выдающихся правителей, какие причины влекли гибель обширных государств, и всегда приходил к выводу, что одни и те же добродетели или одни и те же пороки были причиной этих противоположных явлений: все

---

[1] С этой фразы и до конца главы — снова captatio benevolentiae.

[2] Ср. с утверждением, высказанным в раннем «Письме» (Epp., II, 5), о неспособности народа «ad capessendam rem publicam» см. также о занятии плебса bonis negotiis (Epp., II, 5).

[3] Ср. «si studium pecuniae aut sustuleris aut quoad res feret, minueris» (Epp., II, 7) и «ergo in primis auctoritatem pecuniae demito» (там же).

вышедшие победителями из борьбы презирали богатства, все побежденные страстно стремились к ним[1].

Да и как иначе человек может возвыситься и, будучи смертным, коснуться божества, как не презрев богатства и телесные наслаждения? Только посвятив себя духовной жизни, не домогаясь превратных радостей, не уступая пагубным желаниям, он может добиться этого путем постоянного упражнения в трудах, терпении, благих начинаниях и отважных подвигах.

8. Ибо соорудить дом или виллу, украсить ее статуями, пурпуровыми покрывалами и другими произведениями *искусства или роскоши* и допустить, *что* все *это* будет заслуживать большего внимания, чем ты сам, это значит владеть богатствами не *к своей* чести, но самому быть *благодаря* им *выставленным на* позор. И те, у кого существует обычай дважды *в* день отягощать свой желудок, *не* проводить *ни* одной ночи без блудниц, те свой дух, которому надлежит господствовать, поработили *телу*[2]. Напрасно захотят они в дальнейшем воспользоваться им, *уже* шатким и ослабевшим, чтобы *заставить его* служить себе. Так, в своем неразумии они опрометчиво губят и себя и все, что их касается. Впрочем, эти *явления*, *равно как* и всякое *иное* зло, искоренятся одновременно с почитанием денег, если магистратуры и все то, *чего* жаждет чернь, перестанет быть продажным[3].

Кроме того, тебе следует позаботиться *о том*, чтобы обезопасить Италию и провинции, а то, что *именно здесь* нужно делать, совершенно ясно. Ибо всё опустошают одни и те же *люди*, которые бросают свои дома и несправедливостью захватывают чужие. Нельзя допустить, как это существует, несправедливости и неравномерности сроков военной службы: тогда как одни служат тридцать лет, другие вовсе *избавлены от нее*. Хлебные *раздачи*, которые раньше были наградой *за* праздность, следует проводить по муниципиям и колониям для тех, кто, выслужив *свой* срок, возвратился домой.

*Таким образом*, я изложил, как можно короче, свои соображения относительно того, что принесет государству пользу, а

---

[1] Ср. с Epp., II, 7: «saepe iam audivi, qui reges, quae civitates et nationes per opulentiam magna imperia amiserint, quae per virtutem inopes ceperant».

[2] Здесь Саллюстий впервые высказывает свое мнение о приоритете души над телом. Этот тезис получает дальнейшее развитие в prooemia к «Заговору Катилины» и «Югуртинской войне» (ср. стр. 253, прим. 2).

[3] Заключение рассуждения о вреде богатства и денег, а также изложения проекта «денежной реформы». Далее Саллюстий суммарно перечисляет проекты «частных реформ»: меры по безопасности Италии и провинций, упорядочение сроков военной службы, изменение порядка хлебных раздач. В данном «Письме» по сравнению с основным проектом денежной реформы это, несомненно, частные, текущие мероприятия.

тебе — славу (quae rei publicae necessaria tibique gloriosa ratus sum, quam paucissimis apsolvi). Теперь, кажется, будет уместно сказать несколько слов, почему я так поступил.

Большинство смертных имеет или делает вид, что имеет, достаточно данных для осуждения *других*; поистине, все пылают желанием порицать чужие поступки или слова; *иногда* кажется, что самый язык не *настолько* подвижен, чтобы выразить *все то*, что *готово* вылететь у них из груди. То, *что я* подставляю себя этим людям как бы *в качестве мишени*, меня не беспокоит, я более сожалел бы о невозможности высказаться. Изберешь ли ты этот, намеченный мной, или иной и, быть может, лучший путь, — это твое дело[1], но я считал своим долгом подать тебе совет и оказать помощь по мере своих сил. Остается только молить бессмертных богов, чтобы они благословили твои начинания и привели их к благоприятному концу (relicuum est optare uti quae tibi placuerint ea di immortales adprobent beneque evenire sinant).

---

[1] С этой фразы и до конца «Письма» заключительная captatio benevolentiae. Ср. с заключением более раннего «Письма».

## Марк Туллий Цицерон

# ПЕРЕПИСКА С ГАЕМ МАТИЕМ

*(AD FAMILIARES, XI, 27—28)*

*XI. 27. Марк Цицерон — Матию привет*

1. *Я* еще не вполне решил, *не* печаль ли скорее, чем радость доставил мне наш Требатий[1], человек сколь вполне услужливый (homo quum plenus officii), столь и преданнейший нам обоим друг. Ибо как только вечером *я* прибыл в Тускулан[2], он *на* следующий день, хотя *и* не был еще достаточно здоровым (nondum satis firmo corpore quum esset), пришел *ко мне чрезвычайно* рано (mane venit). Когда *я* упрекнул его, что *он так* мало щадит *свое* здоровье, он *ответил, что* ничего ему так *не* хотелось, как увидеть меня. Ну, что нового? — спросил я (num quidnam, inquam novi?). *Тогда он* изложил мне твою жалобу (querelam)[3]; прежде, чем ответить *на нее*, я *хотел* бы сказать несколько *слов* предварительно (pauca proponam)[4].

2. Насколько *я* могу снова вызвать в памяти (memoria repetere) прошлое, *у* меня нет более старого друга, *чем* ты. Однако давность *знакомства* распространяется на многих, *но* отнюдь

---

[1] Гай Требатий Теста происходил из города Велии (Лукания). Пользовался покровительством как Матия, так и Цицерона. Последний рекомендовал его Цезарю в 54 г., когда Цезарь находился в Галлии (Cic., ad fam., VII, 5). Сохранился ряд писем Цицерона, адресованных Требатию (VII, 6—22). О Требатии упоминает Плутарх (Cic., 37), причисляя его к друзьям Цезаря. Светоний говорит о том, что Цезарь ценил Требатия за его юридические познания (Div. Iul., 78). Во времена Августа Требатий, видимо, сблизился с Горацием (Sat., II, 1).

[2] Одна из вилл Цицерона в окрестностях города Тускула в Латии (см., например, ad Att., IV, 2, 5).

[3] Содержание этой жалобы становится ясным из дальнейших ответов Цицерона (27, 7) на конкретные пункты этой querela.

[4] Эти «несколько слов» (pauca) выливаются в длинное отступление (27, 2—7), посвященное главным образом перечислению тех officia amicitiae, которые были проявлены Матием в отношении Цицерона.

не любовь. Тебя *же я* оценил с того дня, *как* узнал, и полагаю, *что* был ценим тобою. Затем *ни* твое отсутствие, *хотя* и *весьма* продолжительное (discessus isque diuturnus)[1], *ни* моя политическая карьера (ambitio) и несходство *нашего образа* жизни (vitae dissimilitudo)[2] не помешали нашей *взаимной* склонности укрепляться день ото дня (consuetudine conglutinari). Твое же отношение ко мне *я* узнал *за* много лет до гражданской войны (multis annis ante bellum civile), когда Цезарь был в Галлии[3]. Так как *ты* считал, что это чрезвычайно полезно *для* меня и небесполезно *для* самого Цезаря, *ты* добился того, что он меня ценил, уважал и причислял к своим. *Я* обхожу многое из того, что мы говорили, писали и сообщали друг другу *в* те времена самым доверительным образом (familiarissime), ибо последовало *нечто* гораздо более важное (graviora)[4].

3. *В* начале гражданской войны, когда *ты* направлялся в Брундизий[5] к Цезарю, *ты* заехал (venisti) ко мне в Формиан[6]. Как дорого *мне* было это (hoc ipsum), особенно *в* те времена! Итак, *можешь ли* полагать, *что* я забыл твои советы, *твои* беседы, *твою* доброту (humanitatis tuae)? *Я* помню, *что к* этому был причастен *и* Требатий. Тем более *я* не забыл твоего письма, которое *ты* прислал мне, когда выехал навстречу Цезарю, как полагаю, в Требуланскую область (in agro, ut arbitror, Trebulano)[7].

---

[1] Причины этого продолжительного отсутствия Матия в Риме точно неизвестны. Можно лишь предположить, что они были близки тем причинам, по которым долгое время не жил в Риме другой друг Цицерона и, кстати, почти ровесник Матия — Аттик. Это — напряженная обстановка и политическая борьба в Риме времени Мария — Суллы. Срок discessus diuturnus Матия нам также неизвестен.

[2] Это несходство образа жизни (vitae dissimilitudo), возможно, было таким же, какое существовало между жизнью Цицерона и опять-таки Аттика, т. е. полное отсутствие интереса у Матия (как и у Аттика) к политической деятельности и карьере.

[3] Т. е., видимо, в 53 г., когда Матий был у Цезаря в Галлии (Cic., ad fam., VII, 15), хотя слова «multis annis ante bellum civile» могут указывать и на более раннее время.

[4] Несомненно, имеются в виду события, предшествовавшие гражданской войне, а также сама гражданская война.

[5] Город и важная гавань в юго-восточной Италии (Калабрия). Гавань играла важную роль в военных операциях гражданской войны, в особенности в период борьбы между Цезарем и Помпеем (Cic., ad Att., VIII, 3, 7; 6, 2; Caes., BC, I, 25; III, 2; Liv., Epp., 110; Plut., Caes., 56; App., BC, II, 48, 52; Dio, XLI, 39).

[6] Вилла Цицерона в окрестностях города Формии, в Лации (см., например, Cic., ad Att., II, 14; ad fam., XVI, 10), вблизи которой он и был убит.

[7] In agro...Trebulano — или в Кампании или близ Реате. Вообще говоря, Требула — название трех городов, местоположение двух из них указано выше, где был расположен третий — неизвестно.

4. Затем наступило то время, когда мое чувство чести (pudor) или долг (officium) или судьба понудили меня отправиться к Помпею[1]. *В* какой *дружеской* услуге (officium), *в* какой заботе *ты* отказал в *это время* как мне, находящемуся в отсутствии, так и моим *близким*, остававшимся *в Городе*? Кого все мои считали *за* моего и их лучшего друга, *чем* тебя? *Я* прибыл *в* Брундисий. Неужели *ты* полагаешь, *что я* забыл, *с* какой быстротой ты, как только услышал *об этом*, поспешил ко мне *из* Тарента[2], как ты сидел *у меня*, говорил *со мною*, ободрял мой дух, надломленный страхом всеобщих бедствий.

5. Наконец, *мы* снова оказались в Риме[3]. Чего не доставало нашей близости? В важнейших делах (in maximis rebus), например, *в том*, каким образом *я должен* держать себя по отношению к Цезарю, я пользовался твоими советами. В остальных делах (officiis) кому ты кроме меня, исключая Цезаря, уделял *такое внимание*, что приходил домой и часто тратил многие часы *на* приятнейшую беседу? *как*, *например*, тогда, когда ты меня, если помнишь, побуждал заняться философскими штудиями (ut haec φιλοσοφούμενα scriberem)[4]. После возвращения Цезаря[5], что доставляло тебе бóльшую заботу, как *не то*, чтобы я стал как *можно* ближе (quam familiarissimus) к нему. И ты достиг этого.

6. *К* чему, однако, эта речь, более пространная, чем *я сам* предполагал? Потому что *я* удивлен, *что* ты, который должен знать это, *можешь* поверить, *что* мною допущено что-либо, противоречащее нашей дружбе. Ибо, кроме того, *о* чем я упомянул, что засвидетельствовано и очевидно, *я* располагаю многими более скрытыми *фактами* (multa occultiora), которые *я* едва могу выразить словами. Все *в* тебе меня восхищает, но более всего величайшая верность в дружбе, благоразумие, серьезность,

---

[1] После довольно долгих колебаний (Cic., ad fam., VII, 3; VIII, 7; Plut., Cic., 37) Цицерон уехал к Помпею в Грецию 7 июня 49 г. (Cic., ad fam., XIV, 7), хотя и не питал особых надежд на его победу (VI, 6; VII, 3; 6, 1; ad Att., II, 12, 1; Plut., Cic., 38; Dio, XLI, 18).

[2] Очевидно, это свидание в Брундисии, на которое Матий прибыл из Тарента, произошло после возвращения Цицерона из Греции, т. е. после Фарсальской битвы. Следовательно, это было в сентябре 48 г.

[3] Цицерон и Матий оказались вместе в Риме после возвращения в Рим Цезаря, т. е. после сентября 47 г. (Caes., BAfr. 78; Cic., ad fam., XIV, 23). По Плутарху, Цицерон долгое время ожидал Цезаря в Брундисии, и, когда Цезарь, после своей египетской экспедиции и войны с Фарнаком, прибыл в Тарент, Цицерон выехал ему навстречу и был весьма любезно принят Цезарем (Plut., Cic., 39).

[4] Это указание характеризует самого Матия как типичного представителя эллинистической культуры, живущего в мире философских идей, искусства и т. п.

[5] Очевидно, здесь снова имеется в виду период «совместного пребывания» в Риме, т. е. осень 47 г.

постоянство, а так же *твой* вкус, *твоя* интеллигентность, *твоя* образованность (lepos, humanitas, literae)[1].

7. Поэтому *я* возвращаюсь теперь к *твоей* жалобе. Сперва я не поверил, *чтобы* ты голосовал за тот закон (illa lege)[2], *а* затем, если б и поверил, *то* никогда *не* предположил бы, *что* ты это сделал без какой-либо основательной причины. Твое высокое положение (dignitas) содействует тому, что обращается внимание *на все*, что бы *ты ни* делал, а недоброжелательство людей *многое* преподносит в худшем свете, чем это было сделано тобой (ut nonnulla durius, quam a te facta sint)[3]. Если ты *сам ничего такого* не услышишь (ea tu si non audis), *то* не знаю, что *и* сказать; *я* же, конечно, если когда-либо услышу *нечто порочащее тебя, встану на твою защиту* так, как *ты*, — *а мне это* известно, — обычно защищаешь меня от моих недругов. *Способ* защиты, *однако*, будет двояким: кое-что *я* постараюсь просто отрицать, например, то самое голосование[4], другое буду объяснять тем, *что* это было сделано тобой из благочестия и человеколюбия (a te pie fieri et humane), как, *например*, попечение *об* играх[5].

8. Но *от* тебя, ученейшего человека (sed te, hominem doctissimum), не *может* ускользнуть, *что* если Цезарь был тираном (rex fuerit)[6], — а таково мое мнение, — *то вопрос* о твоем *дружеском* долге (de tuo officio) можно решать и в ту и в иную сторону: или так, как я *это* обычно делаю, *что*, мол, следует прославлять твою верность и человечность (fidem et humanitatem), так как ты *продолжаешь* любить даже мертвого друга (amicum);

---

[1] Любопытные черты характеристики Матия, главным образом — указание на lepos, humanitas, literae. Это отнюдь не «древнеримские добродетели»! (ср. с gravitas Romana!).

[2] Так как ни Цицерон, ни Матий не говорят о данном законе более конкретно, то чрезвычайно трудно определить, что за закон имеется в виду. Некоторые исследователи (например, H. Dahlmann, NJADB, 1938, H. 6, стр. 225—239) считают, что его невозможно идентифицировать с теми или иными законодательными мероприятиями Цезаря; другие полагают, что имеется в виду lex Iulia de pecuniis mutuis, на который ссылается в своем ответе Матий (см. ниже, стр. 273).

[3] Следует отметить, что и сам Цицерон в письмах к Аттику (XIV, 11; XV, 2) дает гораздо менее благоприятную оценку действий Матия, чем в данном письме, адресованном самому Матию.

[4] Т. е. голосование за вышеупомянутый закон, который Цицерон рассматривает как антигосударственное мероприятие.

[5] Однако именно по поводу организации этих игр и участия Матия в их подготовке Цицерон в письме к Аттику высказывается совершенно в ином духе: «ludorumque eius apparatus, et Matius ac Postumus mihi procuratores non placent», «и роскошь игр в честь него, а также Матий и Постумий в качестве прокураторов мне не нравятся» (ad Att., XV, 2).

[6] С этого утверждения начинается развитие основной мысли Цицерона об officia amicitiae и соотношении их с интересами государства. Если Цезарь был тираном, то все officia в отношении него отпадают, ибо они в этом случае неизбежно начинают противоречить интересам res publica (см. Cic., Lael., 40—43).

или так, как *это* делают некоторые (nonnulli), *что* свободу отечества должно предпочитать жизни друга (libertatem patriae vitae amici anteponendam)[1]. О если бы тебе были переданы мои рассуждения из речей подобного *рода*! Кто упоминает охотнее или чаще, чем я, те два *славных деяния*, которые являются величайшими *из* твоих заслуг (laudum): *что* ты выступал самым решительным противником развязывания гражданской войны и *ярым поборником* умеренности *после* победы (te et non suscipiendi belli civilis gravissimum auctorem fuisse, et moderandae victoriae)[2]; *я не* найду никого, кто в этом *со* мной не согласится.

Итак, я *весьма* признателен нашему другу Требатию, который дал мне повод *для* этого письма; если *же ты* не поверишь ему, *ты должен* считать меня лишенным всякого *чувства* долга и человечности (me omnis officii et humanitatis expertem iudicaris); ничто не может быть более тяжелым *для* меня, *чем* это, *для* тебя ничто — более чуждым.

*XI. 28. Матий — Цицерону посылает привет*

1. *Я* получил большую радость от твоего письма, так как *из него я* узнал, *что* ты имеешь обо мне *такое* мнение, как *я* надеялся и желал. Хоть *я* и не сомневался относительно него, но старался, чтобы *оно* сохранялось неизменным, так как *я его* особенно ценил[3]. Насколько мне известно (conscius autem mihi eram), мною не допущено ничего, что *могло бы* оскорбить чувства любого благонамеренного *гражданина* (quod boni cuiusquam offenderet animum)[4]. Тем менее *мог я* поверить, *что* тебе, *человеку*, украшенному *столь* многочисленными и прекраснейшими качествами, могли внушить нечто необдуманное, прежде всего *потому*, *что я* тебе всегда оказывал и оказываю мое особое расположение (benevolentia). Так как *я теперь* знаю, что

---

[1] Это — центральный тезис цицеронова рассуждения об officia amicitiae, и «некоторые» (nonnulli), на кого ссылается Цицерон, это, конечно, прежде всего — он сам. Аргументация, привлекающая понятия fides и humanitas,—адвокатский прием, рассчитанный на чувства слушателей, для самого же Цицерона это совершенно неубедительно и ясно, что libertatem patriae vitae amici anteponendam.

[2] В соответствии со своим пониманием officia amicitiae те laudes, которые приводит здесь Цицерон в защиту Матия, имеют характер не officia privata, но publica — это отнюдь не fides или humanitas в отношении друга, но это уже нечто содеянное в интересах res publica.

[3] Эта фраза, несомненно, должна рассматриваться как свидетельство того, что Матий сомневался (и не без оснований, как показывают вышеприведенные слова из писем Цицерона к Аттику) в отношении к нему Цицерона. Видимо, и в той querela, которую передал от имени Матия Требатий, звучали ноты подобного сомнения.

[4] Цицерон же писал Аттику в апреле 44 г., что Матий слишком открыто подчеркивает отчаянность положения после смерти Цезаря и что Оппий умнее: он тоже сожалеет о потере Цезаря, но в противоположность Матию не говорит ничего, «quod quemquam bonum offendat» (ad Att., XIV, 1).

*все* обстоит так, как *я того и* желал, *то* отвечу *на* обвинения, которым ты, как *это* соответствует твоей исключительной доброте (tua singulari bonitate) и нашей дружбе, неоднократно противостоял ради меня.

2. Мне известно, *в* чем меня обвиняли после смерти Цезаря. Мне ставят *в* вину, что *я* тяжело переношу смерть близкого человека (hominis necessarii) и негодую, *что* погиб тот, кого *я* любил (dilexi)[1]. Говорят, что отечество следует предпочитать дружбе (aiunt enim patriam amicitiae praeponendam esse)[2], как будто уже доказано, *что* его смерть была полезна *для* государства. Но *я* не хочу лукавить. *Я* признаюсь, *что* не достиг подобной степени мудрости (ad istum gradum sapientiae non pervenisse)[3]. Ибо *я* последовал не *за* Цезарем в гражданских смутах (in dissensione civili), но *лишь за* другом (sed amicum) *и*, хотя *мне вовсе* не нравилось *это* дело (quanquam re offendebar), но *я* не покинул *друга*; *я* никогда не одобрял гражданской войны[4] или даже причину *этой* вражды; наоборот, *я* стремился всеми силами истребить ее *в момент* зарождения. И после победы близкого *мне* человека (hominis necessarii) я не был привлекаем ни почестями (neque honoris), ни обаянием богатства (neque pecuniae dulcedine), каковыми наградами остальные, хотя они имели у него[5] меньшее *значение*, чем я, пользовались совершенно неумеренно. Мое состояние (res familiaris mea) даже уменьшилось *вследствие* закона Цезаря (lege Caesaris), благодаря которому большинство *из тех*, кто *ныне* радуется по поводу смерти Цезаря, остались гражданами[6]. *Я* прилагал *такие* усилия,

---

[1] Как здесь, так и на протяжении всего письма большинство позитивных высказываний Матия в отношении Цезаря сводится к тому, что он его любил (dilexi), что он не отступит ab officio aut ab humanitate, что он сохраняет fides в дружбе, что Цезарь для него не политический деятель, но только друг («sed amicum»), и поэтому все его действия, связанные с почитанием памяти Цезаря (например, организация игр и т. п.) — все это лишь privatum officium и «non ad statum rei publicae pertinet», т. е. «не относится к положению республики» (28, 6).

[2] Ср. с формулой Цицерона (27, 8). Поэтому все дальнейшее является полемикой со взглядами Цицерона на сущность officia amicitiae.

[3] Это утверждение, конечно, следует понимать в ироническом смысле. По существу же это — несогласие с формулой о предпочтении дружбе officia publica и полемика против утверждения: patriam amicitiae praeponendam esse.

[4] Ср. со словами Цицерона: «te et non suscipiendi belli civilis gravissimum auctorem fuisse et moderandae victoriae», «ты выступал самым решительным противником развязывания гражданской войны и ярым поборником умеренности [после] победы» (27, 8).

[5] Т. е. у Цезаря.

[6] Здесь, по всей вероятности, имеется в виду lex Iulia de pecuniis mutuis (Caes., BC, III, 1; Plut., Caes., 37; Suet., Div. Iul., 42; App., BC, II, 47; Dio, XLI, 37), т. е. частичная кассация долгов, проведенная Цезарем в 49 г. Не исключено, что этот закон можно отожествить с illa lex,

чтобы побежденные граждане были помилованы, как если *это касалось* моего спасения[1].

3. Итак, могу *ли я*, который хотел, *чтобы* все были невредимы, не возмущаться *по поводу* гибели того, благодаря которому это было достигнуто? особенно, когда те же самые люди были *инициаторами* и обвинений *против* него и *его* гибели[2]. «*Ты* поплатишься, — говорят *они*, — если осмелишься не одобрить наши действия». Что за неслыханное высокомерие! одним дозволено хвастаться *своим* злодеянием (in facinore), другим не *дано* и *права* скорбеть безнаказанно (impunite)! Но ведь такая свобода предоставлялась всегда даже рабам: бояться, радоваться, печалиться *по* своему *собственному*, а *не* чужому усмотрению; *а* теперь те *самые*, *кто* величает *себя* «творцами свободы» (libertatis auctores) пытаются вырвать ее у нас страхом.

4. Но *они* ничего *не* достигнут. Никогда *перед* угрозой какой бы то ни было опасности *я не* изменю долгу или *требованиям* гуманности (ad officio aut ab humanitate desciscam)[3]. Ибо *я* полагаю, *что* никогда *не* следует избегать почетной смерти, *а* часто, *наоборот*, даже стремиться *к ней*. Но почему *они* сердятся *на* меня, если *я* хочу, чтобы они раскаялись *в* своем поступке? Ибо *я* страстно хочу, чтобы смерть Цезаря была горька *для* всех (Caesaris mortem omnibus esse acerbam)[4].

Однако, что *касается моего* долга, *как* гражданина (pro civili parte), *то я*, *конечно*, должен желать блага государству. Если и *моя* прошедшая жизнь и *то*, *что* я *еще* надеюсь совершить (reliqua mea spes), молчаливо не подтверждают, *что* именно это *и* является моим желанием, *я* не хочу доказывать этого словами.

5. Поэтому убедительно прошу тебя придавать большее *значение* поступкам, *чем* словам и, если *ты* считаешь, *что это* поможет восторжествовать справедливости (si sentis expedire recte

---

в голосовании за который Цицерон упрекает Матия (27, 7), и Матий в данном случае косвенно отводит это обвинение, показывая, что он не мог быть заинтересован в принятии данного закона.

[1] Это утверждение, как и предыдущее относительно неодобрения гражданской войны, повторяет обе основные «заслуги» (laudes) Матия, отмеченные Цицероном (ср. 27, 8).

[2] С этого абзаца Матий по существу переходит в наступление и обрушивается на своих противников с позиций «чистой дружбы» (28, 3—4).

[3] Т. е. опять-таки аргументация с позиций officium privatum, humanitas и т. п. Вообще humanitas — отнюдь не типично римская добродетель, ибо если можно связать меж собой virtus Romana, iustitia Romana или populi Romani (например, Liv., XLV, 4, 7), то едва ли можно встретить humanitas Romana или populi Romani.

[4] По существу эта часть письма (28, 3—4) представляет апологию Цезаря. Если в начале письма выражалось сомнение в том, что смерть Цезаря полезна государству (28, 2), то теперь утверждается нечто обратное: «Caesaris mortem omnibus esse acerbam».

fieri), верить мне, *что я не* могу иметь ничего общего с негодными *людьми* (cum improbis). Или *от всего того*, что *я* отстаивал юношей, когда *я* еще мог ошибаться и быть извиняем, ныне, *в* преклонном возрасте, *я должен* отказаться и отречься *от* самого себя? *Этого я* не сделаю, *но* и не допущу ничего неподобающего (quod displiceat), помимо того, что *буду продолжать* оплакивать ужасный конец моего ближайшего друга (hominis mihi coniunctissimi) и выдающегося мужа (viri amplissimi) [1]. Если бы *у меня* было иное намерение, *я* бы никогда *не стал* отказываться *от того*, что сделал, дабы не сочли, *что* я *достаточно* нечестив *для того, чтобы совершить нечто* греховное (et in peccando improbus), а *вместе с тем достаточно* труслив и ничтожен, *чтобы в* этом признаться (et in dissimulando timidus ac vanus).

6. Но *я действительно* заботился *об организации* (curavi) игр, которые устроил *в честь* победы Цезаря молодой Цезарь [2]. Однако, это — частный *дружеский* долг (privatum officium) [3], *это* не относится к положению государства (non ad statum rei publicae pertinet). Во всяком случае *я* должен был оказать эту услугу (munus) памяти и почестям ближайшего друга, *пусть* даже умершего, и не мог отказать просившему *меня* об этом юноше [4], *внушающему* лучшие надежды и вполне достойному *самого* Цезаря.

7. *Я* даже часто заходил *в* дом консула Антония, чтобы приветствовать *его* [5]; *кстати те*, которые считают меня мало любящим отечество, приходили к нему, *как ты можешь* установить, в весьма большом количестве, чтобы что-нибудь выпросить или снискать *его расположение*. Но что это *за* неуместное притязание: Цезарь никогда не препятствовал *мне* общаться *с* кем *я* хотел и даже *с теми*, кого *он* сам не любил (non diligebat) [6]; эти *же люди*, которые вырвали *у* меня друга, пытаются *своими* нападками добиться *того*, чтобы я не любил *тех*, кого хочу?

---

[1] Amplissimus—не только хвалебный эпитет, но и обычный титул лиц, занимающих высшие государственные должности.

[2] Эти игры были даны Октавианом, видимо, в июле 44 г. (App., BC, III, 28; Dio, XLV, 6—7; Nic. Dam., 28; Suet., Div. Iul., 88; Aug., 10). Цицерон именно за них и упрекает Матия (ср. 27, 8).

[3] Снова ссылка на privatum officium. Концепция amicitia у Матия совсем иная, чем у Цицерона: у Матия amicitia и officia publica находятся в разных плоскостях и никогда не пересекаются; у Цицерона officia amicitiae должны отступать перед officia publica.

[4] Т. е. Октавиану.

[5] Здесь Матий либо оправдывается против такого обвинения, которое в письме Цицерона ему не предъявлялось, либо хочет показать, что он не считает себя обязанным считаться с общественным мнением и волен посещать, кого хочет.

[6] Вполне возможно, что это намек на самого Цицерона.

8. Но *я вовсе* не озабочен тем, что умеренность моего *образа* жизни (meae vitae modestia) не будет иметь в будущем достаточного значения для опровержения ложных слухов (contra falsos rumores), как и *тем, что* те, которые не любят меня из-за моего постоянства в отношении Цезаря (propter meam in Caesarem constantiam), сами предпочитали бы иметь друзей, похожих *на* меня, а не *на* них. *Что касается меня, то я*, если *все* пойдет соответственно моим *желаниям* (si optata contingent), спокойно (in otio) проведу остаток жизни на Родосе[1]; если же какой-либо случай *этому* помешает, то я останусь в Риме, всегда стремясь *к тому*, чтобы справедливость торжествовала (ut recte fieri semper cupiam). Я приношу большую благодарность нашему Требатию *за то*, что *он* сообщил *о* твоем прямом и дружеском расположении ко мне и достиг *того*, что человека, которого *я* всегда особенно любил (lubenter dilexi), *ныне* могу почитать и уважать с еще большим правом. Будь здоров и люби меня.

---

[1] Это пожелание, высказанное Матием, дает основание некоторым исследователям считать, что discessus diuturnus Матия прошел, если не полностью, то хотя бы частично на Родосе. Cichorius (Röm. Stud., 245 слл.) даже считает, что именно на Родосе в 74 г. Матий познакомился с Цезарем.

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВДИ Вестник древней истории
CIL Corpus inscriptionum latinarum
ДС ФИЛГУ Доклады и сообщения Филологического института Ленинградского Государственного Университета.
ESAR An economic survey of ancient Rome ed. by T. Frank
FGH Jacoby Fragmene griechischer Historiker
FIRA Fontes iuris Romanae antiquae
ГАИМК Государственная академия истории материальной культуры
«Herm» Hermes
HZ Historische Zeitschrift
ИАН СИФ Известия Академии Наук СССР, Серия истории и философии
ILS Inscriptiones latinae selectae, ed. Dessau
JRS Journal of Roman Studies
NGGW Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
NJADB Neue Jahrbücher für Altertumswissenschaft und Deutsche Bildung
NJPH Neue Jahrbücher für Philologie
Peter HRF Historicorum romanorum fragmenta ed. Peter
RE Pauly — Wissowa — Kroll Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft
RGDA Res Gestae divi Augusti
RH Revue Historique
ROL Remains of old Laton newly edited and translated E. H. Warmington
SWAW Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften
УЗСУ Ученые записки Саратовского университета

# УКАЗАТЕЛЬ ИМЕННОЙ И ПРЕДМЕТНЫЙ


Авгуры 95
Август, император, до 44 г. до н. э. Гай Октавий, с 44—27 г. до н. э. Гай Юлий Цезарь Октавиан 42—52, 58, 69, 77, 159[1], 160, 171, 204[3], 212, 214, 221—225, 225[1], 226, 227, 227[1], 231—234, 241, 242, 252[4], 265[1], 272[4]
Авентин, холм 125, 125[6]—126, 137
Авл, см. Постумий Альбин, Авл
Автроний Петус, Публий, квестор 75 г. до н. э., катилинарий 123
Аграрное движение 35
Аграрные реформы Гракхов 32, 81; проект Саллюстия 86, 107
Аграрный вопрос 28, 36
Аграрный закон Т. Гракха 32, 88
Адгербал, внук нумидийского царя Массинисы 140, 141, 148
Азия 95, 110; Азия Малая 61; Азия Передняя 61
Акций, битва при А. 233, 241
Александрийская война 95
Альба-Лонга, город 256[1]
Альбин, см. Постумий Альбин, Спурий
Альбуций, Тит, претор 104 г. 60
Амитерн, город в Италии 91
Анналистика, анналисты 70—71, 72; старшие 71—74, 76; младшие 72—76, 221[2]
Анналы понтификов 73
Анний, Квинт, сенатор, катилинарий 123
Анний Милон, Тит, народный трибун 57 г. до н. э. 92, 95, 180, 181
Антиох Аскалонский, философ, учитель Цицерона 63
Антиох III Великий, сирийский царь (223—187 гг. до н. э.) 66
Антоний, Марк, народный трибун 49 г. до н. э., консул 44 г. и 34 г. до н. э., триумвир 58, 95, 98[9]—99, 200, 201, 222, 241, 272
Антонины, династия 79
Аполлодор из Пергама, ретор (ок. 180—109 гг. до н. э.) 242
Аппиева дорога 215
Аппий Клавдий, см. Клавдий
Аппулей Сатурнин, Луций, народный трибун 103 и 100 гг. до н. э. 38[2], 41, 158
Аргос, город в Пелопоннесе 141
Аристарх с о. Самофракии, критик (217—145 гг. до н. э.) 181
Аристократия 9, 29, 33, 40, 50, 82, 92, 109, 114, 154, 155, 166, 183, 189, А. италийская муниципальная 49, 50; А. плебейская 18; А. римская 39, 58, 66, 77, 211; А. родовая 18[1]; А. сенатская 159
Аристотель (384—322 гг. до н. э.) 15, 21, 23, 63, 161, 165, 166, 191, 223[1]; «Афинская полития» А. 223[1]
Армия 49—51, 128, 148, 159, 221, 223, 235, 243; А. римская 50, 116
Архит из Тарента, философ и математик первой половины IV в. до н. э. 165
Асканий, см. Юл
Асконий, комментатор Цицерона 92
Аттик, см. Помпоний Аттик, Тит
Аттика, область в Греции 15, 181, 187
Афины, город 10, 10[1], 58, 60, 200, 242

Афины, государство 9, 10[1], 11, 14—15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 34, 168, 171, 172
Афиняне 9
Африка 142, 143, 148, 246[2], 259[3,4]
Африканская война Цезаря (46 г. до н. э.) 96
Ацилий, Гай, историк II в. до н. э. 73

Балканский полуостров 8
Бардт К. 202
Беллона, храм Б. 260[1]
Бибул, см. Кальпурний Бибул, М.
Блоссий из Кум, философ 33, 34, 37, 197
Борьба идейно-политическая 5, 26; идеологическая 3—5, 66, 68, 75, 78; б. партий 21, 34, 124, 135, 138, 147, 207, 233; б. патрициев и плебеев 18, 22, 125; б. полит. в афинской республике 21; б. в Риме 21[6], 27, 76, 77, 214, 215; б. сословий 125, 189; б. социально-политическая в Риме 27, 33, 35, 36, 42, 76, 77, 233
Брундизий, город в Калабрии 266, 267, 267[2,3]
Брут, см. Юний Брут, Марк
Буасье Г. 45, 45[6]
Буле, совет пятисот в Греции 23
Бэбий, Гай, трибун 111 г. до н. э. 143, 146

Вакх, см. Дионис
Валерий Анциат, анналист 75
Валерий Максим, историк 108, 109
Валерий Попликола, Луций, консул 449 г. до н. э. 125[6]—126
Варгунтей, Луций, сенатор, катилинарий 123
Веллей Патеркул, историк 110
Веллия, город в Лукании 265[1]
Вергилий Марон, Публий, поэт (70—19 гг. до н. э.) 63, 171
Веррес, Гай, претор 74 г. до н. э. 178, 230
Верцингеториг, вождь галльских племен 244[1]
Ветераны 49, 103, 234; в. сулланские 120
Ветурий, Луций, упоминаемый у Дионисия Галикарнасского 65, 65[10], 66
Вехов С. 165, 165[5], 166[1], 214[2]
Виламовиц У., историк (1848—1931 гг.) 63, 167
Виланд 202, 202[2]
Виппер Р. Ю. (р. 1859 г.) 3[1], 22, 22[1,2], 27[1], 31, 31[3,4], 32, 32[1—6], 33, 33[1—3], 36[6], 37, 37[1], 38, 45, 45[4,5], 48, 48[3], 212, 212[5]
Вицеллин, см. Кассий Вицеллин
Власть императорская 223, 224, 232[2]; в. консульская 229; в. трибунская 150, 155; в. царская 24. 162[3], 231
Военачальник 143
Военная диктатура, см. диктатура
Войско, см. армия
Волгин В. П. 116[1], 117[1]
Вольноотпущенники 179, 247[1]
Восстания, галльское в. 244[1]; в. илотов 19; в. рабов 19; в. сицилийское 19; в. Спартака, см. Спартак
Восток 58, 61
Всадники 19, 30, 32, 34, 38, 39, 42, 49, 50, 53, 97, 151, 178, 179, 179[6], 182, 183, 241, 242, 249[1]

Габиний Капитон, Публий, катилинарий 123
Галлия 13[3], 244[3], 246[3], 266, 266[3]
Галльская война (58—51 гг. до н. э.) 203, 239, 244[1], 255
Гардтхаузен В. 43
Гельцер М. 39
Геоморы, землевладельцы в Аттике 15
Геркулес 172, 246
Геродот, историк (484—425 гг. до н. э.) 21
Герусия, совет старейшин 166
Гесиод, поэт (VIII в. до н. э.) 15
Гетерии (олигархические союзы в Афинах) 223[1]
Гипподам, пифагореец 166
Главция, см. Сервилий
Голосование (на табличках) 254, 254[2], 255
Гольборн А. М. 80, 80[3]
Гомер 15, 58
Гораций, Марк, консул 449 г. до н. э. 125[6]—126
Гораций Флакк, Квинт, римский поэт (65—8 гг. до н. э.) 63, 67, 171, 265[1]
Город 11, 191; г. греческий 9; г. италийский 11
Город-государство, см. полис
Гортензий, Квинт 245[1]
Государство 87, 88, 133[2], 191

Гражданские войны I в. до н. э. 20, 42, 45, 47, 61, 62, 102, 103, 105, 107, 122, 130, 136, 158, 203, 205—208, 223, 231, 240, 244[2], 246[2], 252[4], 257[4], 258[2], 259[5], 260[4], 266, 266[4], 269, 270, 271[1]
Гражданство, см. римское г.
Гракхи; гракханское движение, см. Семпронии
Грант М. 224, 224[4], 225
Греки 23, 58—60, 67, 174, 252
Греко-персидские войны (500—449 гг. до н. э.) 21
Греция 8—10, 10[1], 12, 13, 15, 20, 57, 59, 60, 65, 67, 241, 267[1,2]

Дальман Г. 202[2]
Декелейская война 413 г. до н. э. 19
Дельфы, город в Фокиде 59
Демиурги. см. ремесленники
Демократическое движение 31; д. д. в Риме 37, 234
Демократия 29, 30, 36, 115, 144, 163, 168, 168[3], 169, 175, 177, 223; д. афинская 23, 168; д. греческая 32; д. римская 28, 32, 41, 42, 48, 51, 77, 138, 152, 182, 199, 233, 235
Демос 16—19, 22; д. афинский 16, 19, 39; д. римский 38, 41
Деньги 249—251, 256[2], 262, 263, 263[3]
Децемвиры 247[5]
Диакрии, жители гористой области Аттики 21
Диархия 43, 44
Дикеарх, ученик Аристотеля 167, 216
Диктатура 215, 216, 245[1]; д. военная 3, 20, 160, 227, 232; д. в. в Риме 3, 20, 48, 49, 51; д. Суллы 139
Диоген, философ-киник (IV в. до н. э.) 73
Диодор Сицилийский, историк I в. до н. э. 125[6]—126
Дион Кассий, историк (155—235 гг. н. э.) 232
Дионис 64; дионисийские культы 61
Дионисий Галикарнасский, историк (I в. до н. э.) 72
Диофан из Митилены, ритор 33, 34, 37
Длинные стены в Афинах 10
Должности общественные 15
Домиций Агенобарб, Гней, зять Цинны 259, 259[3]
Домиций Агенобарб, Луций, консул 54 г. до н. э. 246, 246[2,3], 252
Дрекслер Г. 131
Дьяков В. Н. 3[1]

Европа 17[3]
Египет 61

Законы, см. Lex
Зеель О. 80, 80[6], 100
Землевладельцы 98, 149, 161; з. крупные 12[2], 18, 19; з. мелкие 15, 28, 152; з. средние 16, 28, 152
Землевладение крупное 28, 29, 35; з. мелкое 35, 156
Зенон, стоик (IV в. до н. э.) 187
Знать муниципальная 50, 159[1]; з. м. италийская 159[1], 221; з. патрицианская 18; з. п. родовая 17; з. рабовладельческая римская 66; з. родовая 15, 18; з. сенаторская 222, 226; з. служилая 33; з. старая 221, 221[2]
«Золотой век» 50, 61, 63, 81, 82, 89, 92, 113, 115, 116[1], 132, 136, 137[4], 154—156, 184, 248[1]

Идеи общественно-политические 33, 34, 155; и. о народной власти 33; и. сотериологические 60; и. эсхатологические 60, 61
Идеология 5, 46, 90; и. античная 61; и. аристократическая — 213; и. греческая 33, 34, 37; и. гр. политическая 37, 173; и. греческого полиса 20; и. демократическая 41[3]; и. древнеримская (эпохи кризиса и упадка) 27, 109; и. полиса 54, 57, 69, 78[1], 90; и. римского господствующего класса 20
Илиада, поэма Гомера 241
Иллирия, область 96
Императоры римские 187, 223, 225
Империй 224[2], 229, 230, 230[1], 231, 232, 235; и. раннереспубликанских магистратов в Риме 24; и. царя 24
Империя, см. Римская империя
Интерцессия 25, 35, 36, 230, 230[1], 231
Иордан Г. 79, 79[1]
Исагор, афинский аристократ, соперник Клисфена 21
Искусство греческое и эллинистическое 69; и. римское 69
Испания 94, 215

Историки римские 71, 75
Историография греческая 70, 72; и. римская 70—74, 110; и. р. ранняя 75, 76
Италийская община 8
Италики 11, 12
Италия 49—51, 64, 72, 73, 90, 95, 98, 103, 110, 148[2], 152, 182, 215, 224, 224[2], 230, 230[3], 232, 232[2], 263, 263[3], 266[5]

Калабрия, область в ю. Италии 266
Кальпурний Бестия, Луций, народный трибун 121 г. до н. э., консул 111 г. до н. э. 123, 142, 143, 148
Кальпурний Бибул, Марк, консул 59 г. до н. э. 215, 245[1], 251, 251[5]
Кальпурний Писон, Гней, катилинарий 123
Кальпурний Писон Фруги, Луций, народный трибун 149 г. до н. э. 73, 110
Кампания, область в Италии 266[7]
Капитолий, холм 244[5]
Каркопинож 202[2]
Карнеад, философ 73
Карфаген 81, 90, 110, 112, 117, 132, 132[2], 133, 133[4], 137, 138, 154, 166, 189[1]
Кассий Висцеллин, Спурий, консул 502, 493, 486 гг. до н. э., начальник конницы 501 г. до н. э. 197
Кассий Гемина, Луций, анналист 73
Кассий Лонгин, Луций, племянник Г. Кассия 123
Катилина, см. Сергий Катилина
Катилинарии 180
Катон, см. Порций Катон, Марк
Квесторы 36
Квинт, см. Туллий Цицерон, Квинт
Квинтдецемвиры 95
Квинкций Фламинин, Тит, консул 198 г. до н. э. 59, 60, 61, 65
Киликия, область в Малой Азии 214
Клавдий Квадригарий, Квинт, анналист 75
Клавдий Марцелл, Гай, консул 50 г. до н. э. 240, 244[4]
Клавдий Марцелл, Марк, консул 51 г. до н. э. 136, 244[4]
Клавдий Пульхр, Аппий, квестор 117 г. до н. э. 247[1]
Клавдий Цек, Аппий, цензор 312 г. до н. э., консул 307 и 296 гг. до н. э. 18, 257, 257[1]
Классовая борьба 3—5, 12, 18, 19, 21[6], 28, 35, 37, 54, 74
Классы 16, 19, 21, к. в античном обществе 14; к. антагонистические 16, 19, 20; к. в Афинах 21; борьба к. в Риме 3, 4, 21[6], 40, 130; возникновение к. 9, 11, 14, 17; к. деление 15; к. основные и неосновные (переходные) 13; к. мелких производителей 12; к. рабовладельческие 20, 21, 49—51, 53, 77, 91, 138, 183
Клиентела 21[6], 23
Клиенты 17, 127, 197[5], 254
Клисфен, афинский законодатель (VI в. до н. э.) 16, 21
Клодий Пульхр, Публий, народный трибун 58 г. до н. э. 92, 158, 180, 181, 215, 234
Клуенций, Авл, сын римского всадника 178
Ковалев С. И. 3[1]
Коллегии клодиевы 102; к. политического характера 32
Коллинские ворота в Риме 260[1]
Колонии 8, 11, 86, 96, 123, 225, 248, 248[2], 249[1]
Колонисты военные 36
Комиции 41, 166
Константинов Ф. В. 13[1]
Конституция лакедемонская 166; к. псевдодраконтова 223[1]; к. римская 34, 166, 217; к. Сервия Туллия 17; к. Суллы 231; к. Тезея 15
Консулат 230, 247[1]
Консулы 26, 75, 125[6], 126, 142, 166, 180[5], 187, 213, 219, 229, 230, 230[1], 250; k. sine collega 180[5], 245[1]
Коринф, город 9, 59
Кориолан, см. Марций Кориолан, Гней
Корнелий, род 72
Корнелий Галл, Гай, катилинарий 123
Корнеллий Долабелла, Публий, народный трибун 47 г. до н. э., консул 44 г. до н. э. 47, 95, 101, 158, 200
Корнелий Сисенна, Луций, претор 48 г. н. э., историк 75, 139
Корнелий Сулла, Луций, консул 88 г. до н. э., диктатор 52, 60, 61, 75, 94, 98, 113, 116, 118,

123[2], 139, 190, 230, 231, 246, 246[1], 259[3,4], 260[1], 266[1]; законодательство С. 230; конституция С. 231; сулланский режим 144, 144[3]
Корнелий Сулла, Публий, консул 66 г. до н. э., катилинарий 123
Корнелий Сулла, Сервий, катилинарий 123
Корнелий Сципион Бородатый, Луций, консул 298 г. до н. э. 57[5]—58
Корнелий Сципион, Луций, консул 259 г. до н. э. 57
Корнелий Сципион Назика, Публий, консул 138 г. до н. э. 217
Корнелий Сципион Африканский старший, Публий, консул 205 и 194 гг. до н. э. 52[1], 65, 195, 196
Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший, Публий, консул 147, 134 гг. до н. э. 56, 58, 59, 67, 69, 163, 171, 173, 176[4], 177, 195[7], 217; кружок С. 34, 37
Корнелий Цетег, Гай, катилинарий 123
Корнелий Цинна, Луций, консул 87 г. до н. э. 145, 244[5], 259[3]
Корнеманн Э. 7
Корунканий, Тиберий, консул 280 г. до н. э. 197
Красс, см. Лициний Красс
Крестьяне 12, 13, 13[3], 15, 19, 234; к.-общинники 13
Крестьянство 32; к. аттическое 16; к. римское 35
Крит, остров 166, 172
Критолай, философ-перипатетик, оратор 73
Кролль В. 67, 80, 80[5]
Культура аристократическая 38; к. афинская 10[1]; к. восточная 64; к. греческая 10[1], 53, 60, 242; к. римская 33, 38, 53; к. эллинистическая 10[1], 34, 53, 54, 64, 68, 69
Купцы 12[1,2], 16, 19
Курий, Квинт, квестор 70 г. до н. э., катилинарий 123
Курий, Маний, упоминаемый Цицероном 197
Курия 26

Лакедемон, см. Спарта
Латины 11
Лаукнер К. 131
Лаций, область в Италии 11, 265[2], 266[6]
Легионарии 19
Лелий, друг Сципиона Младшего, из одноименного трактата Цицерона 163, 164, 192, 193, 195, 196, 217
Лентул Сура, Публий, катилинарий 123, 181
Лентул Спинтер, Публий, консул 57 г. до н. э. 214
Леонид, спартанский царь, защитник Фермопил 57
Лепид, см. Эмилий
Летописи местные 73
Ливий, Тит, историк (I в. н. э.) 71, 72, 73, 109, 110
Ливий Друз Младший, Марк, народный трибун 91 г. до н. э. 41, 84, 249, 249[1,2]
Ликторы 25
Ликург, спартанский законодатель (VIII в. до н. э.) 164, 166, 172
Литература эпохи гражданских войн и падения республики 62
Лициний Кальв Столон, Гай, народ. трибун 376 г. до н. э. 125[6]—126
Лициний Красс Муциан, Публий, консул 131 г. до н. э. 58, 181, 215, 245[4]
Лициний Лукулл, Луций, консул 74 г. до н. э. 121
Лициний Макр, народный трибун 73 г. до н. э., анналист 71, 75, 126[1], 149, 150, 151, 158, 248[3]
Лукреций Кар, Тит, поэт (98—55 гг. до н. э.) 59, 62, 241
Лукулл, см. Лициний
Луцин, см. Фабриций Луцин, Гай
Луцилий, Гай, друг Сципиона Младшего 56
Люмпен-пролетариат 12[2], 13, 16, 19, 234

Магистраты 23—24, 25, 35, 87, 97, 143, 215, 224, 228—231, 250, 251
Магистратура 23—25, 43, 45, 150, 219, 224, 228, 231, 263
Македония 59
Малая Азия, см. Азия Малая
Манилиев закон 178, 224[2]
Манилий, Гай, народный трибун 66 г. до н. э. 224[2]

Марианцы 259[4,5]
Марий, Гай, консул 107, 104—100, 86 гг. до н. э. 19, 22, 125—129, 131, 142, 149, 158, 244[5], 259[3], 266[1]
Марк, см. Туллий Цицерон, Марк
Маркс, Карл 11[2], 28, 28[1], 44[3], 49[4], 258[1]
Марцелл, см. Клавдий
Марций Кориолан, Гней 196—198
Марций Филипп, Луций, консул 91 г. до н. э. 143—146
Матий, Гай, всадник, друг Цезаря и Цицерона 5, 190, 201, 202, 202[2], 203, 204, 204[1], 205—207, 207[2], 208—211, 239, 240, 241, 265, 265[1,4], 266[1,2,3], 267[3,4], 268[1,2,3,5], 269, 269[2—4], 270[1], 270[5]—271, 271[1,2], 272[2,3,5], 273[1]
Матий Гней, современник Цицерона и Цезаря, составитель мимиямбов, переводчик Илиады 241
Машкин Н. А. (1900—1950 гг.) 3[1], 22, 22[3—4], 23[1], 27[1], 34, 34[5], 35, 35[2], 38[2], 39, 39[2], 40, 40[1—6], 41, 41[1], 44, 44[4], 45, 45[8], 46, 46[4], 47, 47[1,3], 49, 49[3], 50, 50[2], 60, 60[1], 61[1,2], 63[8], 219[3], 225[1—5], 226, 226[2—4], 227, 227[2,4,5]
Мегары, город на Коринфском перешейке 9
Мейер, Эдуард (1855—1930) 17[3], 30, 34, 44, 79, 79[5], 90, 98[9]—99, 213, 213[3]
Мелий, Спурий 197
Меммий, Гай, народный трибун 111 г. до н. э. 22, 126, 142, 146
«Менексен» см. Платон
Мессения, область в южной Греции 168
Метеки 16
Метелл Пий Сципион, Квинт, народный трибун 60 г. до н. э. 245[2]
Метелл Непот, см. Цецилий
Милет, город в Малой Азии 9
Милон, см. Анний
Минуций Терм, Квинт, консул 193 г. до н. э. 65, 66
Митридат VI Эвпатор, царь Понта (121—64 гг. до н. э.) 61, 120
Митридатова война (88—84 гг. до н. э.) 259[4]
Мишулин А. В. (1901—1948 гг.) 3[1], 34, 34[4], 35, 35[1]
Молон, глава родосского посольства 58
Моммзен Т. (1817—1903 гг.) 7[1], 29, 29[2—6], 30, 30[1—5], 31, 34, 35, 38, 39, 40[6], 43, 79, 79[2], 98[9]—99, 130, 224—229, 229[1—5], 230, 231[2], 235
Монархи эллинистические 61
Монархия 30, 43, 44, 166, 168, 168[3], 169, 212, 213, 220, 222, 250
Мунаций Планк, Луций, консул 42 г. до н. э. 92
Муниципии 91, 92, 99, 123
Мутина, город 259[5]
Муций Сцевола 195, 196
Мюнцер Ф. 31, 39

Назика, см. Корнелий Назика
Наместники провинциальные 229—232, 232[2]
Наполеон III 48
Народ 42, 80, 82, 84—86, 89—91, 96, 97, 106, 116, 127, 132, 134, 138, 139, 142, 146—147, 147[3], 148[1,3], 149, 151, 153—157, 160, 177, 180, 234, 247, 250, 252[5], 255, 261, 262; н. римский 45, 83, 260
Народное собрание 23, 24, 31, 146
Неопифагорейство 59, 62
Неоплатонизм 62
Нибур Б. Г. (1776—1831 гг.) 17[1]
Нигидий Фигул, пифагореец, ученый-грамматик (I в. до н. э.) 59, 62, 242
Нобили 33, 83, 151, 152, 249
Нобилитет 22, 29, 32, 35, 38, 52, 66, 80, 84, 92, 108, 109, 120—131, 131[1], 134—136, 138, 139, 141[1], 145—149, 151—159, 188, 244, 248, 249, 251, 254
Норден Эд. 218
Нумантинская война (143—133 гг. до н. э.) 142
Нумидия 148[1,2], 230[2]

Общество античное 12, 13, 14, 69; о. а. рабовладельческое 11—14, 16, 90, 161; о. р. афинское 16; о. р. греческое 12[3], 27; о. эллинистическое 37; о. классовое 15; о. к. в Риме 18; о. римское 12[3], 18, 27, 34, 35, 37, 53, 54, 57, 68—70, 75—78, 90, 102, 110, 116, 147, 154, 220, 227, 233—236, 242; о. римское родовое 14; о. р. в царский период 57

Община 15; о. греческая 33; о. латинская 109; о. патрицианская 17[1,2], 18; о. плебейская 17[2]; о. римская 17; о. р. гражданская 24, 56, 176[4], о. р. рабовладельческая 54
Огульний, Квинт, народный трибун, 300 г. до н. э. 58
Озанн, Ф. 167
Октавиан, см. Август
Октавий, Марк, народный трибун 133 г. до н. э. 35, 36
Олигархии, афинские 223[1]
Олигархическая верхушка 19, 249[1]
Олигархия 29, 120, 166; о. сенатская 144, 152, 158, 160, 221, 222
Оппий, Луций, римский всадник, друг Цицерона 269[4]
Оптиматы 21, 22, 29, 34, 35, 39, 40, 40[6], 42, 163, 249[1], 252[3]
Орфизм 61
Откупщики 12
Отпущенники см. вольноотпущенники

Пакувий, Марк, поэт (ок. 219—132 гг. до н. э.) 194
Панеций, стоик (180—110 гг. до н. э.) 60, 68, 77, 174, 192[6], 195[3], 216
Пап, см. Эмилий Пап, Квинт
Папирий Карбон, Гней, консул 85, 84, 82 гг. до н. э. 22, 259, 259[4]
Паралийцы, приморские жители 21
Паралия, приморская область 10
Партии 20—23, 39, 47, 48, 183, 189; п. антимакедонская 21; п. афинские 21, 22; п. греческие 22; п. демократическая 40[6], 77, 158; п. д. в Риме 29, 41, 138; п. нобилитета 21, 84; п. в Риме 22, 34, 35, 39, 40; п. промакедонская 21; п. сенатская 201, 215; п. цезарианская 158, 159
Патриции 17, 17 [1—3], 18, 22, 28, 136, 137, 175, 221[2], 247
Патронат — 197[5]
Педиаки, жители равнины в Аттике 21
Пелопоннесская война (431—404 гг. до н. э.) 16, 21, 223
Пельман Р. 4[1], 79, 79[4]
Первобытно-общинный строй 11, 13, 13[2], 14
Передняя Азия, см. Азия
Перикл, первый стратег Афин (444—429 гг. до н. э.) 34, 214
Перипатетики, ученики Аристотеля 168
Персей, македонский царь (179—168 гг. до н. э.) 58
Персидская держава 168
Пешль В. 165
Пирей, гавань Афин 10
Пирр, эпирский царь 257[1]
«Письма к Цезарю», см. Саллюстий
Пифагор, математик и философ (580—500 гг. до н. э.) 173, 192
Пифагорейство 61
Пифагорейцы 161, 166
Плавт Макций, Тит, писатель 185
Платон философ 427—347 гг. до н. э. 91, 112, 114—116, 116[2], 148,149, 152, 161, 165—168, 168[2], 169—173, 186, 216, 219, 220, 220[1], 241; «Законы» 166, 168
Платонизм 61
Платоническая система 62
Плебеи 17, 17[2,3], 18, 22, 28, 81, 125, 126, 134, 136—138, 148—150, 175, 221[2], 248
Плебс 18, 18[1], 22, 38, 40, 47, 50, 82, 99, 125, 126, 131, 134, 135, 137, 138, 146, 149, 221, 244, 248, 248[2], 249, 252, 262; п. городской 38, 42, 100, 221, 222; п. римский 19, 28, 41, 42, 46, 47, 100, 245; п. сельский 38, 42
Племена 26; п. галльские 255; п. Италии 73
Плиний Старший, римский ученый (29—79 гг.) 67
Плотий Галл, Луций, современник Цицерона, ритор 58
Плутарх из Херонеи, писатель 46—120 гг. 59, 265[1], 267[3]
Поленц М. 187[1], 192[6], 195[3]
Полибий, историк (201—120 гг. до н. э.) 25, 58, 60, 72, 75, 109, 110, 112, 119, 144, 153, 161, 164—168, 174, 216
Полис 8, 9, 13[3], 57, 90, 91, 110, 158, 159, 211; п. греческий 10—12, 40, 172; п. италийский 11; кризис п. 109; п. римский 10, 11, 219[7]

Помпей Великий, Гней, консул 70, 55, 52 гг. до н. э. 22, 58, 84, 92, 120, 139, 144, 158, 170, 180[5], 181, 203, 214—216, 222, 224[2], 240, 244, 244[4], 244[6]—245, 245, 245[1,2,4], 246[1,2], 247[1], 252[4], 258[1,2], 259, 259[1,3,4,5], 260[2], 267, 267[1]
Помпей Руф, Квинт, народный трибун 52 г. до н. э. 92
Помпей Секст, второй сын Гнея Помпея Великого 222
Помпеянцы 215
Помпилий, Нума, римский царь 173
Помпоний Аттик, Тит, римский всадник, друг Цицерона 205, 216, 241, 242, 266[1,2], 268[3,5], 269[3,4]
Понтификальные таблицы 72, 73
Понтифики 71, 95
Популяры, вожди демократии в Риме 21, 29, 32, 34, 35, 39, 40, 42, 157, 244[5]
Порций Катон Младший, Марк, претор 54 г. до н. э. 46, 59, 60, 65—67, 73, 76, 109, 123, 141, 171—173, 184, 215, 217, 234, 244[6]—245, 246, 246[2], 252, 252[2]
Порций Катон Старший, Марк, консул 195 г. до н. э., цензор 184 г. 52, 52[1], 57, 64, 65[10], 67[4] 77, 110, 252[2,4]
Порций Лека, Марк, катилинарий 123
Посидоний, греческий историк (135—51 гг. до н. э.) 109, 112, 112[4], 119, 261[1]
Поссессоры 35
Постумий Альбин, Авл, консул 151 г. до н. э. 59
Постумий Альбин, Авл, легат 109 г. до н. э., консул 99 г. до н. э. 143, 148
Постумий Альбин, Спурий, консул 110 г. до н. э. 143
Постумий (Альбин?), квестор Сицилии 49 г. до н. э. 205, 268[5]
Постумий, Луций, аристократ 252, 252[3]
Преторианцы 232[2]
Преторы 25, 35, 227—232, 250
Претура 229, 230, 244
Принцепс 44, 50, 213, 216, 223, 224, 225, 227
Принципат 3[1], 5, 43, 44, 46, 48—51, 69, 212—216, 219[7]—220, 221—225, 225[1], 227, 235, 236
Провинциалы 230
Провинции 50, 145, 225, 230, 263, 263[3]; п. восточные 224[2]; п. императорские 224[2], 231; п. Римской империи 13[3]; п. сенатские 224[6]
Проконсулы 230; проконсулат 231; проконсульский империй 232
Пролетариат римский 17[5], 30
Промагистрат 229
Пропретор 230; пропретура 231
Проскрипции 42, 159
Протасова С. И. (1878—1946 гг.) 33, 33[4-7], 34, 34[1,2], 37, 173[3], 175[3], 217[5]
Пуническая война вторая (218—201 гг. до н. э.) 70, 72, 74, 110, 136, 137
Пуническая война третья (149—146 гг. до н. э.) 70, 73, 136

Рабовладельцы 12[2], 13, 14—16, 19, 109, 161, 183, 221
Рабовладение 45, 222
Рабовладельческая верхушка 18; р. государство 9; р. г. греческое 12[3], 26; р. г. римское 12[3], 18, 19, 23, 42, 57, 59, 64, 89, 90, 110, 113, 128, 174; р. способ производства 8, 13, 13[2], 15; р. строй 14, 50, 174
Рабы, рабство 12, 12[2], 13—16, 19, 20, 50, 87, 125, 139, 149, 174, 179, 187, 248, 271; бегство р. 19; восстания р., см. восстания
Реате, город у сабинян 266[7]
Рейнхардт 62[3], 63, 63[5]
Рейценштейн Р. 213, 213[2]
Рем 11
Ремесленники 12, 13, 15, 16, 18, 19, 149, 151
Республика 19, 25, 32, 43—44, 45, 132, 145, 175, 181, 183, 200, 220, 222, 227, 247[2], 260, 270[1]; р. аристократическая 213, 216, 221; р. поздняя 233; р. полисная 158; р. римская 3, 20, 27, 29, 37, 41, 51, 53, 56, 88, 92, 141, 198, 231, 241, 257[1]; р. р. эпохи кризиса и упадка 27, 69; р., падение 4, 5, 42, 62, 160
Реторика 58; р. греческая 75; р. эллинистическая 76.
Реформы 30, 93; р. Гракхов — см. Семпронии; р. денежная 261[2], 263[3]; р. календаря 99, 100; р. проект Саллюстия, см. Саллюстий; р. сената 107, 158; р. Сервия Туллия 18; р. Цезаря 99

Рим 10, 10[1], 12, 13, 16, 17[3], 18—20, 21, 21[6], 22, 24, 26, 28, 34, 36—43, 47, 51—56, 58—62, 64, 67, 67[4], 68, 69, 72, 73, 81—83, 89—91, 94—96, 98, 99, 102, 110, 112, 126, 133, 140, 142, 143, 148, 151, 155, 157, 159[1], 160, 166, 170, 172, 174, 175, 182, 189, 213—215, 217, 224, 224[2], 228, 230—234, 239, 241, 244, 244[6]—245, 246[2], 252[4], 258, 259[4], 261, 266[1], 267, 267[5]; история Р. 31, 73, 74, 77, 79; Р. полис 90, 91, 100, 104
Римляне 23, 54, 56, 59, 60, 67, 68, 110, 112, 113, 140, 172, 187, 189, 190, 226, 227
Римская империя 13[3], 24—26, 50, 93, 99, 100, 159, 230
Римское государство 24, 46, 57, 64, 258[2], 110, 119, 136, 137, 156, 170—172, 174, 175
Римское гражданство, р. граждане 94[4], 187, 222
Род 26; родовой строй 15, 18, 18[1], 54; пережитки р. с. 18
Родос, остров 58, 210, 240, 242, 273, 273[1]
Родоссцы 250
Ростовщичество 12, 19, 103, 125, 261
Росций Америн, Секст 178
Рутилий Руф, Публий, консул 105 г. до н. э. 60

Сайм Р. 39, 49
Саллюстий Криспп, Гай, историк (86—34 гг. до н. э.) 5, 6, 77—81, 81[5]—82, 94, 95, 100—108, 110, 112, 112[4], 113—125, 125[6]—126, 126, 127[2], 129—141, 141[1], 142—147, 147[3], 148, 149, 150[1], 151—160, 174, 174[2], 175[6], 184, 188, 189, 220, 221[2], 230[2], 234, 235, 239, 240, 244[4,6]—245, 245[2], 246[1,4]—247, 247[1], 248[2], 250[3,5,6], 251[1—3], 252[4,5], 253[2], 254[2], 256[2,3], 257[1], 258[1], 260[1,3], 261[1,3], 263[2,3]; С., полит. воззрения 131, 132, 152, 155, 156, 158, 160, 235; «Заговор Катилины» 109, 112—115, 115[4], 116—120, 124—129, 131—133, 135, 136, 138—144, 149, 152—155, 188, 243[2], 246[1], 248[1], 250[3], 261[1], 263[2]; С., полит. идеал 89, 155, 157, 160; «Истории», 124, 125, 129—132, 138, 139, 143, 144, 146, 149, 150, 153—156, 159, 188; «Письма Цезарю» 116, 130, 131, 135, 146, 147[3], 151, 153, 155—158, 160, 239, 240, 243[2], 244[3], 246 [1,4], 247[1], 252[4,5], 253[2,3], 255[2,3], 256[2,5], 257[4], 261[2]—263[3]; С., проект реформ 87—91, 96, 97, 103, 104, 106, 107; С., политическая система 102, 106, 132, 157; «Югуртинская война» 62, 81, 124—127, 129—133, 135, 136, 138, 139, 140[1], 141—144, 146, 147, 147[3], 148, 149, 188, 243[2], 263[2]
Самниты 260[1]
Сардиния, остров 65
Сатурн, храм С. 35
Светоний Транквилл, Гай, писатель (70—160 гг.) 171, 265
Свободное население 12, 15, 16, 18, 23
Священная гора 137
Семпроний Азеллион, историк (род. ок. 159 г. до н. э.) 74, 75
Семпронии Гракхи 22, 29, 29[1], 30, 31, 31[2], 33, 33[4], 34—38, 40, 41, 74, 77, 81, 125, 134, 134[7], 135, 158, 175, 205, 234; движение Г. 28, 34, 39, 233, 234; реформы Г. 30, 81, 93; эпоха Г. 22
Семпроний Гракх, отец Г. и Т. Гракхов 217
Семпроний Гракх, Гай, народный трибун 122 г. до н. э. 29—32, 34, 38, 38[2], 39, 126, 198, 251, 251[2]; закон Г. Г. 86—87
Семпроний Гракх, Тиберий, народный трибун 133 г. до н. э. 29, 30, 32—36, 38, 40, 41, 58, 175, 197, 198
Семья 191; с. патриархальная 26
Сенат 24, 30, 33—35, 44, 45, 50, 58, 64, 73, 82, 82[1], 83—87, 87[4], 91, 96, 97, 106, 116, 124, 132, 139—146, 147, 147[3], 148—150, 153, 155—157, 159[1], 167, 178—180, 182, 183, 187, 198, 200, 213, 215, 219, 224, 244[4,6], 249[1], 252, 252[5], 254, 257[1], 258[2]
Сенаторы 83, 83[4], 85, 87, 97, 140, 141, 143, 145, 149, 153—156, 178, 179, 181, 245, 245[1], 246, 246[4], 249[1], 254, 254[2], 255
Сенатская олигархия, см. олигархия; сенатская оппозиция 215; сенатская система правления 30
Сервий Туллий, см. Туллий
Сервилий Главция, Гай, претор 100 г. до н. э. 158

Сервилий Исаврийский, Публий, консул 48 г. до н. э. 94
Сервилий Рулл, Публий, народный трибун 63 г. до н. э. 41
Сергеев В. С. (1883—1941 гг.) 3[1], 34, 34[3,6,7]
Сергий Катилина, Луций, претор 68 г. до н. э., руководитель заговора 41, 42, 62, 81, 114, 115, 120—123, 158, 179, 181, 182, 200, 234
Сестий, Публий, квестор 63 г. до н. э. 214
Сецессия плебеев 125[6]—126, 247, 247[5]
Сирия 13[3], 200
Сисенна, см. Корнелий
Скард 130
«Смешанная форма» государственного устройства Аристотеля 161, 165, Архита 165, 166, Гипподама 166, Дикеарха 167, Ликурга 164, 166, 172, пифагорейцев 161, Платона 161, 165—168, 168[3], 169, 170, Полибия 161, 164, 166—168, 213, Цицерона 161—172, 213
Смирна, город 9, 60
Собственность, частная 15
Совет, см. буле
Сократ, философ (469—399 гг. до н. э.) 91, 172
Солон, афинский законодатель (VI в. до н. э.) 16, 166; законодательство С. 21
Сословия 12[3], 173, 177, 179; всадническое с. 96, 219, 249[1]; сенаторское с. 71, 221; борьба с. 154; «согласие» с. 177, 178, 180—182
Сотериологические идеи, см. идеи; с. символы 60, 61
Союзники 32, 64, 249[1]
Спарта 10[1,2], 166, 168, 170
Союзническая война (91—88 гг. до н. э.) 234, 249[1]
Спартак, вождь восстания рабов 74—71 гг. до н. э. 19
Средиземное море 8, 81
Средиземноморский мир 20
Сталин И. В. 4[2], 5, 9[3], 14[1], 100[1]
Статилий, Луций, катилинарий 123
Стобей, Иоанн, составитель сборника изречений (ок. 450—500 гг. н. э.) 165
Стоики 186; стоицизм 61; стоическая школа 187; стоическая философия 246[2]
Стоя 68, 186, 216
Страбон, географ и историк (63 г. до н. э. — 17 г. н. э.) 110
Суд 249[1], 250, 251[1], 254
Сулла, см. Корнелий Сулла
Сулланцы 244[5], 259[3]
Сульпиций Лемония Руф, Сервий, консул 51 г. до н. э. 136
Сципионы, см. Корнелии

Тапс, битва при Т. (46 г. до н. э.) 80, 93, 98, 240, 246[2]
Тарент, город в Калабрии 267, 267[2,3]
Тарквиний Гордый, римский царь 136[5]—137, 137
Тацит, Публий Корнелий Т., историк (55—120 гг.) 47, 68, 245[2]
Тезей, мифический афинский герой 15
Терм, см. Минуций
Терминология политическая 189; т. п., греческая 219; т. п. Цицерона 212
Тираны 168, 204, 206, 210, 268[5]; тирания 29, 113, 121, 124, 158, 249; т. Цезаря 160, 204, 210, 268[6]
Торговля 10; торговцы 12, 18, 19, 151; т. крупные 19
Традиции демократические 92; т. римские 34, 69
Требатий Теста, Гай, друг Цезаря и Цицерона, юрист 201, 202, 205, 210, 240, 242, 265, 265[1], 266, 269[3], 273
Требуланская область в Кампании 266
Требула, назв. трех городов 266[7]
Трибунат 32, 40, 155, 247[5]; трибунская интерцессия 29, 35; т. военные 125[6]—126; т. народные 30, 35, 92, 125[5]—126, 137, 230, 249[1]; т. эрарные 151
Трибы 125[6]—126
Триумвиры 42, 158, 159, 160, 215, 221, 235, 252[4]; триумвират, второй 152, 222, 241
Тронский И. М. 178[1], 216[1], 218[6]
Троянцы 112
Туллий, Сервий, римский царь 17
Туллий Цицерон, Марк, консул 63 г. до н. э., оратор, писатель 5, 22, 23, 40, 52, 52[1], 54, 55, 58, 59, 62, 63, 67—69, 74, 75, 77, 78, 92, 98[9], 99, 134, 153, 159, 161—165, 165[5], 167—173, 173[3], 174—176, 176[4], 177—180, 180[5], 181, 182, 182[1], 183, 183[2], 184—187, 190—192,

192[6], 193, 194[5], 195, 197[2], 198—202, 202[2], 203, 203[2], 204, 204[1,4], 205—207, 207[2], 208—210, 212, 213, 214[2], 215—219, 219[7]—220, 220[1], 221, 222, 234, 235, 239—242, 245[1], 249[2], 253[1], 265[1—4], 266[1], 267[1—3], 268[2—6], 270[1], 270[2,4], 272[2,3,5,6]; полит. воззрения Ц. 221; теория смешанного государст. устройства Ц. 167, 168, 177, 194[5], 253[1]; «Лелий» 190, 192, 192[6], 199, 201, 202[4], 203, 203[2], 205, 206; «О государстве» 162, 165, 167, 169, 171, 172, 173[3], 181, 183, 188, 212, 214, 216, 216[1], 217, 218; «Об обязанностях» 186, 190, 192, 199, 201, 202[2]; «Тускуланские беседы» 62, 63
Туллий Цицерон, Квинт, претор 62 г. до н. э., младший брат Цицерона 182
Тускул, город в Лации 201, 202, 265, 265[2]
Тюменев А. И. 182[1]

Утика, город в Африке 246[2]
Утопии политические 79, 92

Фабий Пиктор, Квинт, анналист 58, 72, 110
Фабриций Луцин, Гай, консул 282 и 278 гг. до н. э. 197
Фавоний, Марк, народный эдил 53 г. до н. э., претор 49 г. до н. э. 240, 252, 252[4]
Фанний, Гай, анналист, консул 122 г. до н. э. 72, 195, 196
Фарнак, сын Митридата VI Эвпатора 95; война с Ф. 267[3]
Фарсал, битва при Ф. 48 г. до н. э. 95, 246[3], 267[2]
Фасты 73
Фасцы 25
Фельсберг Э. 31[2]
Фемистокл, архонт (493—492 гг. до н. э.) 198
Феопомп, историк (IV в. до н. э.) 15
Феофраст, ученик Аристотеля (372—287 гг. до н. э.) 192[6]
Ферреро Г. 212, 212[4]
Фессалия, область в Греции 95, 99
Фигул, Нигидий, см. Нигидий Фигул
Филипп Македонский, царь (359—336 гг. до н. э.) 110
Филипп, см. Марций Филипп
Филиппики 181, 200, 201
Филиппы, битва при Ф. 252[4]
Философы 67, 67[4], 92; ф. греческие 68
Философская система греческая 184; философия стоическая, см. стоики
Философское посольство 155 г. до н. э. 67[4]
Флавии, род 79
Фламинин, см. Квинкций Ф., Тит
Формии, город в Италии 266[6]
Фотий, историк (IX в. н. э.) 167
Фракийцы 143
Фукидид, историк (ок. 460—395 гг. до н. э.) 144, 153
Фульвий Нобилиор, Марк, консул 189 г. до н. э. 65, 123, 126
Фульвия, жена народного трибуна Клодия, затем — Марка Антония 123
Фунайоли 131

Халкида, город на острове Эвбее 9, 59
Хиос, остров 15
Христианское учение 61
Хроники римские 72, 73

Цари в Риме 24, 212, 228; царская власть 24, 25; ц. эпоха 229
Цезарианцы 158, 159, 215, 221, 247[1]; цезаризм 51; см. также партия Ц.
Цезарь, см. Юлий Цезарь, Гай
Целий Антипатр, Луций, историк, учитель Л. Красса 74, 75
Целий Руф, Марк, народный трибун 52 г. до н. э., претор 48 г. до н. э. 95, 158, 216
Ценз 98
Цензоры 67, 247[1]
Центурионы 143; центурия 87
Цецилий Метелл Непот, Квинт, народный трибун 63 г. до н. э., консул 57 г. до н. э. 131, 141[1], 143, 244[6], 245
Цетег, см. Корнелий
Цинна, см. Корнелий Цинна, Луций
Цинций Алимент, Луций, претор 210 г. до н. э., написавший историю Рима на греч. языке 58, 72
Цирта, город в Северной Африке 141
Цихориус 241[1]
Цицерон, см. Туллий Цицерон, Марк

Черное море 8

Шварц Эд. 79, 79[3], 130
Штернкопф 202
Шур В. 48, 80, 80[7], 131, 154, 213, 214

Эвпатриды (аристократия Аттики) 15, 16
Эгейское море 8
Эгерманн 115
Эгнаций Руф, Марк, эдил 21 г. до н. э. 47, 234
Эдилы 96
Эдмар Б. 80, 80[4]
Эллада, см. Греция
Эллинизм 60, 61, 69; эллинистический мир 20, 211; э. эпоха 61
Эллины, см. греки
Эмилий Публий, см. Корнелий Сципион Эмилиан II
Эмилий Лепид, М., триумвир 143—145, 155, 259[5]
Эмилий Павел, Луций, консул 168 г. до н. э. 58
Эмилий Пап, Квинт, консул 282 и 278 гг. до н. э. 197
Эмилий Сквар, М., консул 115, 107 гг. до н. э. 141—143, 148
Энгельс Ф. 9, 9[2], 10[2], 11[2], 12[1], 14, 14[2,3], 15, 15[1,6], 16, 16[2], 18[1,2], 28[1], 44, 44[3], 49, 49[4], 174[1], 258[1]
Эней 59, 72, 256[1]
Эпикурейство, эпикурейцы 60, 67[4]
Эретрия, город на острове Эвбее 9
Эсхатологические учения 60, 61
Этруски 137
Эфес, город в М. Азии 9
Эфор, историк (IV в. до н. э.) 166

Югурта, нумидийский царь 124, 127, 129, 139, 140—143, 146, 147, 148, 148[1,2], 149
Югуртинская война 111—105 гг. до н. э. 129, 139, 143, 149
Юл (Асканий), сын Энея 256[1]
Юлии, род 256[1]
Юлий Цезарь, Гай, диктатор (100—44 гг. до н. э.) 5, 20, 41, 44, 47, 58, 61, 79, 80, 84, 88, 89, 91—98, 98[9]—99, 99—101, 104—108, 141, 157—159, 159[1], 160, 180, 182, 190, 201, 204, 204[3], 205—207, 207[2], 208—210, 215, 221, 225[1], 226, 234, 235, 239—242, 244[1—6], 245, 246[2,3], 247[2], 251[5], 252[4], 254[2], 255, 261[3], 265[1], 266, 266[3,5], 267, 267[3], 268, 268[2,6], 271, 271[4], 272, 273[1]; внутренняя политика Ц. 93, 98—101, 158, 159; законодательная деятельность Ц. 94—101, 207, 259[1], 270, 270[3]; муниципальная политика Ц. 98, 99; реформы Ц. 93, 94, 96, 99, 100, 254[2]; финансовая политика Ц. 97
Юлий Цезарь, Луций, консул 64 г. до н. э. 98[9]—99
Юний Брут, Марк, народный трибун 83 г. до н. э. 219[6], 259, 259[5], 260
Юний Брут, Марк, претор 44 г. до н. э. 200

# УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ И ГРЕЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ


A dominatione factionum 221[2]
Ab urbe condita 72, 74
Acta Caesaris 98[9]— 99, 200
Ad capessendam rem publicam 151, 156, 157
᾽Αδιάφορα 186, 187
Adpetentia laudis et honestatis 188
Aequabilitas 176 magna 162
Aequitas 55, 188, 193, 220, 220[1]
Aequus 55
Ager publicus 29, 36
Αἰνεάδης 59
᾽Ακόντων ῎αρχειν 219
Alia iuria 125[6]—126
῾Αμαρτήματα 187
Ambitio 115—117, 119, 120, 153, 154, 156, 189
Ambitus 65, 66
Amicitia 23, 187, 190—195, 199, 203, 208, 211, 272[3]
Amplissimus 210, 210[2], 272[1]
᾽Ανακύκλησις 164
Αναλωτικαὶ ἐπιθυμίαι 115
᾽Αξίωματι 226[1]
᾽Ανὴρ πολιτικός 217, 218
᾽Αρίστη πολιτεία 168
᾽Αριστοι 213
᾽Αριστοκρατία 114
Auctoritas 26, 45, 55, 81, 82, 212, 213, 219, 225, 226, 226[1], 227
Auctoritas patrum 219
Auctoritas principis 219, 235
Auctoritas senatus 219
Audacia 55, 193
Auspicium 24
Auspicium imperiumque 24
Avaritia 65, 66, 115—117, 119—121, 153, 154, 156

Βασιλεία 114
Beneficia 93, 104
Benevolentia 191, 196, 269
Benificentia 190
Bona fide 197[5]
Boni 183, 198, 199
Βουλευόμενον 23

Captatio benevolentiae 88, 104, 107, 252[5], 255[3], 257[2], 259[2], 262[1] 264[1]
Caritas 169[1], 170, 191
«Carmen de moribus» 65
Cives boni 47, 48
Civitas 7, 11, 12, 19, 191
Civitas optimatium arbitrio regi dicitur 163
Civitas popularis 163
Clementia 93, 209, 210, 244[2], 246[3]
Clupeus aureus 212
Concordia civitatis 177
Concordia in civitate 176—178
Concordia ordinum 45, 47, 48, 77, 178, 183, 194[5], 221, 235
Coniunctio 194
Conlega 221[2]
Consensus bonorum 219, 221
Consensus bonorum omnium 77, 180—183, 235
«Consolatio» 63
Consuetudo 54
Consules 113
Continentia 188
Cursus honorum 184
Crudelitas 66
Cultus agri 194
Cupiditas 193

De curatione fudorum 209
De optimo cive 214, 216, 217
De optimo statu civitatis 216
De sacrificio comisso 66
Desidia 66
Dignitas 55, 190, 226[1]
Diligentia 55
Discessio 254[2]
Discessus diuturnus 242

Disciplina 26
Dissensiones 125
Domi nobiles 123
Domus 191, 192, 194
Δυναστεία 114
Duritudo 65
Ἑκόντων ἄρχειν 219
Ἐλευθερία 34, 168, 169
Elogia, elogium 57, 57[5]—58
Equus publicus 65
Ex equestri ordine 123
Exornator rerum 75

Factio 126, 254[1]
Factiones 48
Factiosi 84, 126
Fama virtusque 57
Feriae Latinae 171
Ferocia 66
Fides 55, 188, 193, 197[5], 269[1,2], 270[1]
Φιλαρχία 111
Φιλία 168, 169
Φιλοτιμία 115
Φιλοσοφούμενα 203
Φιλοχρηματίσται 115
Firmitudo 162, 176
Flagitia 65, 66, 172
Fortitudo 55
Forum Julium 98
Φρόνησις 168, 169
Fuga turpitudinis 188
Φύσις 186

Gens 191
Gens Cornelia 72
Gens Fabia 72
Γεωργοί 13[3]
Gloria 256[3]
Gloria atque ingenium 57
Graeculi 65
Gravitas 55, 67
Gravitas Romana 268[1]

Habere honorem 185
Homo doctissimus 242
Homo impense doctus 241
Homines novi 49, 52[1]
Honestum 186
Hones 185
Honor, honores 184, 185
Honos 57, 190, 242
Humanitas 205, 268, 268[1], 269[1,2], 271[3]

Ignavia 156
Illicita collegia 64
Imperator 227, 227[2], 232, 255[1]
Imperium 24, 224, 224[3], 227, 231, 235
Imperium domi 229
Imperium infinitum 224
Imperium maius 224[2], 225, 225[1]
Imperium militiae 229
Imperium populi Romani 150[1]
Imperium proconsulare 43, 224, 224[2], 227, 235
Impudentia 65, 66
In contraria vitia 162
Industria 55, 66
In laboribus et periculis fortitudo 188
In optimis quibusque 196
In libertatem vindicavi 221[2]
Integritas 193
Iuterregnum 214
Iudicia hominum 185
Iudiciis hominum comprobatae 185
Iudicium 55
Iuris dictio inter privatos 229
Ius provocationis 230
Iustitia 188, 191
Iustitia populi Romani, Iustitia Romana 271[3]

Καθῆκον, καθήκοντα 186, 187
Κατορθώματα 187
Καλόν 185, 186
Κύριος τῆς πολιτείας 23

Labor 66
Λαοί 13[3]
Latini rhetores 58
Laudes 269[2], 271[1]
Lectio senatus 96, 100, 247[1]
Leges de maiestate 230
Lepos 268, 268[1]
Lex agraria 111 г. до н. э. 29
Lex Antonia de proscriptorum liberis 49 г. до н. э. 94
Lex Antonia de provocatione 44 г. до н. э. 200
Lex Antonia iudiciaria 44 г. до н. э. 200
Lex Caesaris 270
Lex Aurelia 70 г. до н. э. 245[4]
Lex de civitate sociis danda 91 г. до н. э. 249[1]
Lex frumentaria 123 г. до н. э. 38[2]
Lex in amicitia 206
Lex Julia de civitate Gaditanis danda 49 г. до н. э. 94
Lex Julia de civitate Transpadanis danda 49 г. до н. э. 94
Lex Julia de mercedibus habitationum annuis 46 г. до н. э. 95

Lex Yulia de modo credendi et possidendi intra Italiam 49 г. до н. э. 95
Lex Julia de pecuniis mutuis 49 г. до н. э. 94, 95, 204[1], 268[2], 270[6]
Lex Julia de praetoribus decem creandis 46 г. до н. э. 95—96
Lex Julia de provinciis 44 г. до н. э. 99, 100
Lex Julia de sacerdotiis 47 г. до н. э. 95
Lex Julia iudiciaria 46 г. до н. э. 99, 100
Lex Julia municipalis 45 г. до н. э. 98, 98[9]—99, 100, 159[1]
Lex Julia sumptuaria 46 г. до н. э. 99
Lex Pompeia de ambitu 52 г. до н. э. 94
Lex sacrata 36
Liberalitas 191, 193
Liberi 192
Libertas 33, 34, 45, 170
Linguae 191
Litterae 242, 268, 268[1]
Lubido, lubidines 137, 139, 154, 189, 193,
Luxuria 65, 66, 115, 121

Magna constantia 193
Μέσα 187
Merita 185
Μετριότης 168
Metus hostilis 133, 137, 138, 154, 155
Metus Punicus 111—112
Moderator 220
Modestia Modestus 55
Monumentum Antiochenum 224, 226[1]
Mores 217
Mores hominum 196
Μόρια, μόριον 23, 23[3]
Mos maiorum, mores maiorum 45—46, 50, 52[1], 67, 90, 223, 223[1], 235
Multitudo 81[5], 147[3]
Munificentia 244[2]

Narrator rerum 75
Natio 191
Negotiatores 19
Nobilitas 127, 128
Nova flagitia 52[1], 64, 65

Officia, 186, 187, 192, 199, 201, 206, 268[6]
Officia amicitiae 187, 190, 192, 201, 202, 202[2], 205, 210, 211, 265[4], 268[6], 269[1,2], 270[2], 272[3]
Officia civilia 201
Officia humanitatis 209
Officia privata 190, 201, 269[2], 271[3], 272[3]
Officia publica 190, 269[2], 270[2], 272[3]
Opificium 187
Oppida 11
Orbis terrarum 100
Ὀρθος λόγος 187
Origines 73
Origo populi 172
Otium 68

Pagi 11
Parentes 192
Πάροικοι 13[3]
Pars 23
Pars Clodiana 23
Pars Pompeiana 23
Pater familias 26
Patria 192, 199
Patria potestas 26
Patres 80—82, 113, 154, 155, 175
Πάτριος πολιτεία 223[1]
Pauci potentes 138
Pax Romana 50
Pecuniae cupiditas 196
Pedibus ire in sententiam alicuius 254[2]
Pietas 55, 188, 205
Plebs 80, 81, 81[5], 147[3]
Plebs urbana 32, 77, 147[3], 152
Πλεονεξία 111
Πόλια 26
Πόλις 7
Πολιτικά 218
Πολιτικός 218
Peccatum 206
Populares 92, 157
Populus 81[5], 147[3]
Populus Romanus 17
Populus Romanus Quiritium 150[1], 151
Post reditum 214
Potestas 226
Praefectura morum 98
Prae+ itor 25
Praetor urbanus 98
Praestans vir 218
Princeps 212—214, 217, 218, 221
Principis auctoritas 225
Prisci mores 64, 65
Proletarii 183[1]
Prooemia 62, 242[2]
Propinqui 192
Προστάτης τοῦ δήμου 219
Provincia 230[1]
Prudens 55
Prudentia 55
Pudor 188
Pudicitia 110

Querela 201, 204, 265[1], 269[3]
Quirites 81[5], 147[3]

Rector 218—220, 223
Rector et gubernator civitatis 219
Rector et moderator rei publicae 170
Rector rei publicae 212, 213, 217
Religio 55, 188
Res divinae 24
Res humanae 24
Res gestae 185
Res populi 163, 170
Res publica 57, 71, 163, 170, 185, 196, 199, 206, 211, 268[6], 269[2]
Res publica Romana 242
Res publica restituta 44
Reverentia 55
Rex 25

Sapientia 55
Senatorii ordinis 123
Senatus consultum 244[6]—245
Senatus consultum de Bacchanalibus 64
Sententia 254, 257[1]
Severitas 55
Sine ira et studio 71
Societas 191
Societas quaedam 193
Sphaera graecanica et barbarica 62
Studium 55
Suffragium 209
Συμβουλευτικὸς λόγος 107
Summa auctoritas 80, 82
Summum bonum 194
Superbia 66, 156
Superstitio 62

Tabulae novae 95
Terminus technicus 218
Τέχνη 218
Τεχνίτης 218
Titulus 57[5], 58
Τὸ περὶ τὰς ἀρχάς 23
Tresviri agris dandis assignandis 36
Tribunicia potestas 43, 224, 225
Τυραννικὸς ἀνήρ 115
Tutor et moderator rei publicae 219

Urbs 194
Utilitatis 177, 203
Uxoria conditio 196

Venus Genetrix 98
Vera clementia 105, 107
Vera gloria 134
Verecundia 55
Vir amplissimus 210
Vir bonus 184, 190, 193, 194, 199, 201
Viri 217
Virtus 33, 55—57, 66, 116, 119, 153, 185, 188[1], 191, 194, 203, 217, 220, 220[1]
Virtus Romana 271[3]
Virtutis praemia 185
Vis 80—82
Vis omnis 150, 151
Vulgus 92, 139, 147[3], 151

# ИСТОЧНИКИ, УКАЗАННЫЕ В ТЕКСТЕ КНИГИ. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

## ЛАТИНСКИЕ НАДПИСИ

Corpus inscriptionum Latinarum (CIL)
1,2,6—9 — 57[2]
2, 9, 10 — 57[1,3]
1[2], 206 — 98[7,9]
1[2], 581 — 64[1]

Bruns Fontes Juris Romanae antiquae[7] (FIRA)
102 — 110—98[7,9]

Dessau Inscriptiones latinae selectae (ILS) 1, 18 — 64[1]

Res gestae divi Augusti (RGDA)
212, 212[2], 225, 227[2]
1 — 48[1]
6 — 45[1]
8 — 44[5], 98[5]
28 — 227[1]
34 — 45[2,3], 212[3], 226[1]

## СВОДЫ ЗАКОНОВ

Digestae (Dig) 1, 2, 36—257[1]

## ДРЕВНИЕ АВТОРЫ

Aelianus Claudius (Ael.)
Variae Historiae (V. H.)
IX, 12 — 67[4]

Appianus (App.)
Bella civilia (B. C.)
I, 12 — 35[3], 36[2]
13 — 36[4]
35 — 249[1]
67 — 96 — 259[4]
II, 3 — 259[5]—260
19 — 22 — 215[1,3,4]
23 — 245[1,2]
24 — 247[1]
24 — 25 — 245[2]
31 — 244[4]
32 — 258[2]
47 — 270[6]
48 — 94[6,8]
48, 52 — 266[5]
82 — 246[3]
93 — 98[5]
III, 1—249[1] 102 — 98[1,3,4,7]
III, 28 — 272[2]
IV, 5 — 95[1]
20 — 200[5]
V, 130 — 47[4]

Aristotelis (Arist.)
Ethica Nicomachaea (Eth. Nic.)
II, 7, 1108a 32 — 186[3]
V, 3, 1129b 24 — 176[3]
1130b 9 — 186[3]
Politica (Polit.)
II, 3, 10, 11 — 166[4,5]
7, 1—8 — 166[6]
8, 1—9; 9, 4 — 166[7]
IV, 11—13 1298a — 1301a — 23[2,3]
V, 2 1302a 9 слл. — 112[5]
Res publica Athenarum (Resp. Ath.)
8, 5 — 21[1]
13, 4 — 21[2]
20—21 — 21[3]

Asconius (Asc.),
16—30 — 245[4] — 246
32 слл. — 215[3]
33 слл. — 215[4]
36 — 215[3]
42 — 215[3]
43 — 215[4]
46 — 215[4]
48 — 215[2]
53 — 245[4] — 246

54 — 215[3]
55 — 215[4]
67 — 245[4] — 246
71 — 36[3]
78 — 245[4] — 246
90 — 245[4] — 246

Athenaeus (Athen.)
VI, 265b — c — 15[4]
XII, 68 стр. 574 — 67[4]

Aurelius Victor (Aur. Vict.)
De viris illustribus (Vir. ill.)
36 — 249[1]
64 — 36[3]

Caesar, C. Julius (Caes.)
«Anticato» 246[2]
Bellum Africanum (B. Afr.)
28—96[3], 254[2]
78 — 267[3]
De bello civili (B. C.)
I, 2—4 — 244[4]
6 — 246[2] 9 — 258[2]
25 — 266[5]
III, 1 — 94[2,3,6], 270[3]
2 — 266[5]
56 — 252[4]
58 — 252[4]
99 — 246[3]
De bello gallico (B. G.)
VII, 1—9 — 244[1]
VIII, 24 — 258[2]
55 — 244[1]
Marcus Porcius Cato (Cato)
De agricultura (De agr.)
2 — 184[1]

Cicero M. Tullius (Cic.)
*Epistolae*
Ad Atticum (Ad Att.)
I, 14, 3—4 — 182[1]
16, 3—245[4]—246
II, 12, 1—267[1]—268
14 — 266[6]
27 — 215[7]
IV, 2, 5 — 265[2]
V, 7 — 215[7]
VI, 2, 9 — 217[4]
9, 5 — 247[1]
VII, 3, 2 — 217[4]
8, 5 — 258[2]
VIII, 3, 7 — 266[5]
6, 2 — 266[5]
IX, 14 — 259[5] — 260
14, 2 — 94[1]
X, 4, 8 — 94[1]
XIII, 19 — 246[2]
XIV, 1 — 205[2], 269[4]
6, 2 — 159[2]
11 — 268[3]
13 — 247[1]
XV, 2 — 205[3], 268[3,5]
7, 1 — 99[1]. 11, 4 — 200[2]
18, 1 — 201[2]
20, 1 — 200[2]
15, 3 — 200[1]
XVI, 7 — 200[3]
8 — 200[8]
11, 1 — 200[9]
14, 3 — 187[2]
Ad Brutum (Ad Brut.)
I, 10, 4 — 200[3]
15, 5 — 200[3]
15, 5 — 200[3]
16 — 257[1]
104 — 37[4]
Ad familiares (Ad fam.)
I, 9 — 215[6]
9, 25 — 231[1]
III, 6, 3 — 231[1]
VI, 6 — 267[1]
18, 1 — 98[9]
VII, 3 — 267[1]
5 — 265[1]
6—22 — 265[1]
15 — 242[2], 266[3]
VIII, 7 — 267[1]
8 — 215[7]
8, 8 — 231[1]
IX, 21 — 259[4]
27 — 201[3], 202[3,4], 203[1,3], 204[1,2,5], 205[1], 242[1,3]
27, 2 — 7 — 265[4]
7 — 265[3]
8 — 270[3,4], 270[6], 271, 271[1]
27—28 — 201[2,3], 240[4]
28 — 206[2], 207[1,3], 208[1,2], 210[1], 241[3,4]
28, 2 — 271[4]
3—4 271[2,4]
6 — 270[1]
XII, 2, 1 — 200[7]
25, 3 — 200[3]
XIII, 8, 2 — 98[5]
68, 2 — 95[5]
XIV, 7 — 267[1]
23 — 267[3]
XVI, 10 — 266[6]
11, 2 — 258[2]
XIX, 15, 5 — 99[1]
Ad Quintum fratrem (Ad Quint. fr.)
III, 5, 1 — 162[1]

*Orationes*
De haruspicum responsis (De haruspic. resp.)
28, 60 — 180[4]
De petitione consulatu (De pet. cons.)
13, 53 — 182[2]
De provinciis consularibus (De prov. cons.) — 214
47 — 180[6]
In Catilinam (In Cat.)
I, 13, 32 — 179[1,2]
IV, 7, 14 — 179[4,5]
7, 15 — 179[6]
7, 15—8, 16 — 179[7]
8, 16 — 179[3]
9, 19 — 180[1]
In Pisonem (In Pis.)
7 — 219[4]
In Vatinium (In Vat.)
16 — 246[2]
Philippicae (phil.)
I, 4, 11 — 200[4,6]
7, 16 — 200[6]
8, 19 — 99[3,4]
8, 20 — 245[4]—246
11, 27 — 200[6]
30, 37 — 181[4]
II, 11 — 200[7]
21 — 215[3]
29, 71 — 246[3]
45, 118 — 200[10]
III, 13 — 181[4]
15, 38 — 99[4]
V, 3, 7 — 99[4]
30; 36 — 181[4]
VI, 4 — 247[1]
VII, 9, 28 — 99[4]
IX, 8 — 181[4]
X, 11 — 247[1]
XI, 27 — 200[6]
XIII, 12 — 247[1]
12, 27 — 215[4]
34 — 181[4]
Post reditum ad Quirites (P. red. ad Quir.)
I, 1 — 180[2]
Post reditum in senatu I, 2
II, 27 — 180[2]
Pro Cluentio (Pro Cluent.)
55, 152 — 178[2]
Pro domo sua (De domo)
15 — 251[5]
35, 94 — 180[3]
Pro lege Manilia (Pro leg. Man.)
60 — 54[1]
Pro Milone (Pro Mil.)
7 — 249[1]
9, 25 — 181[2]
10, 28 слл. — 215[3]
13, 33 — 215[4], 247[1]
14, 37 — 215[2]
15, 39 — 181[3]
20, 53 слл. — 215[3]
22, 87 — 181[1]
27, 72 — 36[3]
32, 86 — 215[4]
33, 90 — 215[4]
Pro Sestio (Pro Sest.)
3 — 259[4]
12, 27 — 180[6]
14, 36 — 180[6]
50, 106 — 180[6]
Pro Sexto Roscio Amerino
III, 203[2]
*Tractatus*
Consolatio (Cons.) — 63
De finibus bonorum et malorum (De fin.) — 186
I, prooem. — 67[3]
1 — 68[3]
III, 20 — 186[4]
De legibus (De leg.)
II, 3 слл. — 56[2]
6 — 249[1]
De natura deorum (De nat. deor.)
1, 6 — 68[3]
38, 106 — 36[2]
De officiis (De off.) — 186, 190, 192, 199, 201, 202[2]
I, 5, 14 — 186[1]
20 — 190[1]
23, 73 — 218[2]
42 — 190[3]
42—43 — 190[4]
42—60 — 190[2]
44 — 190[5]
45—49 — 191[1]
54 — 191[2]
55 — 191[4]
56 — 192[1]
57 — 192[2,3], 199[1]
58 — 192[4]
II, 30—31 — 192[5]
De oratore (De or.) — 217
I, 7 — 249[1,2]
211 — 217[3]
II, 347 — 185[3]
III, 1 — 249[1]
93 — 67[4]
De re publica (De rep.) — 162, 167, 169, 171, 172, 181, 183, 188, 212, 214, 216—218

I, 2 — 188[1]
12 — 188[1]
19, 31 — 175[5]
21, 34 — 174[3,4]
23, 34 — 171[1]
24, 41 — 11[1]
24, 42 — 177[2]
26, 42 — 163[2,3]
26, 42—29, 45 — 164[6]
26, 42—32, 48 — 153[1]
26, 44—29, 45 — 164[3]
27, 43 — 176[5], 253[1]
28, 44 — 163[4]
28, 44—29, 45 — 164[8]
29, 41 — 171[2]
29, 45 — 163[5], 177[2]
30, 46 — 163[6]
30, 46—41, 64 — 164[7]
31, 47—34, 53 — 163[7]
32, 49 — 175[1], 176[4], 177[1]
35, 54 — 153[1], 163[8], 164[1], 177[2]
35, 55 — 169[1], 170[1]
38 — 191[3]
40, 62—41, 64 — 153[1]
41, 64 — 164[6]
42, 65 слл. — 164[2]
42, 65—43, 67 — 153[1]
42, 65—44, 58 — 164[8]
42, 66 слл. — 170[3]
45, 69 — 153[1], 162[2,3], 163[1], 170[2], 174[5], 176[1,2,6], 177[2], 253[1]
46, 70 — 174[6]
51 — 220[3]
69 — 219[5]
II, 1, 1 — 172[1]
1, 2 — 172[3], 175[2]
1, 3 — 172[1,4]
3, 5—6 — 172[6]
12, 24 — 172[7]
15, 29 — 173[1]
17, 27 — 212[2]
21, 37 — 175[3]
23, 41 — 177[2]
23, 42—43 — 173[2]
40 — 217[6]
41 — 218[2,3]
42, 69 — 177[3]
46 — 218[1], 219[6]
51 — 219[7]
III, 34 — 56[3]
V, 7 — 218[4]
8 — 218[3]
VI, 16 — 212[2]

De republica, «Somnium» (De rep. Somn.) 62, 63, 171
26 — 63[2]
27—28 — 63[7]

Laelius (De amicitia) (Lael.) — 190, 199, 201, 202[2]
17 — 192[7]
18 — 192[8], 193[1,3]
19 — 193[3,4]
20 — 193[5], 194[1]
21 — 194[2]
22 — 194[3,4]
23 — 194[6]
24 — 195[1]
25 — 195[2]
26 — 195[4]
26—32 — 192[6]
27 — 195[5]
29—30 — 195[7]
30 — 196[1]
31 — 196[2]
32 — 196[3]
33—34 — 196[4]
35 — 196[5,6]
36 — 197[1]
37 — 37[4], 197[3], 201[1]
38 — 197[4]
39 — 197[6], 201[1]
40 — 197[7], 198[1], 201[1]
40—41 — 198[2]
40—43 — 268[6]
42 — 198[3,4]
43 — 198[5], 201[1]

Orator (Or.)

Tusculanarum disputationum (Tusc.)
I, prooem. — 67[3]
2, 3 — 67[2]
51 — 63[3]
66 — 63[4]

Dio Cassius Cocceianus (Cass. Dio)
XV, 43 — 247[1]
53 — 247[1]
XL, 33—41 — 244[1]
48 — 215[3]
49 — 215[4]
50 — 245[1,2]
51 — 259[1]
64—66 — 244[4]
XLI, 18 — 94[5], 267[1]
24 — 94[1]
36 — 94[4]
37 — 94[6], 270[3]
38 — 94[7], 95[4]

39 — 266[5]
52 — 96[4]
XLII, 6 — 95[1]
41 — 227[2]
51 — 95[2,3,5], 96[1,3], 230[3], 254[2]
XLIII, 21 — 98[1,2,3,7]
22—24 — 98[4]
25 — 98[8]—99
XLIV, 47 — 94[1]
XLV, 6—7 — 272[2]
XLVII, 15 — 160[1]
ΦP, 83b — 335[5]
Diodorus (Diod.)
Bibliotheca Historica (Bibl. Hist.)
XXXIV, 27 — 36[6]
Dionysius Halicarnasensis (Dion.)
(A. R.)
I, 6 — 72[4]
IV, 20, 2—3 — 17[4]
VII, 71 — 72[2]
Festus (Fest.)
333 M — 67[2]
Florus (Flor.)
III, 3, 14 — 36[3]
14 — 36[4]
Gellius Aulus (Gell.)
Noces Atticae (N. A.)
I, 3, 11 — 192[6]
II, 13 — 74[2]
V, 6, 24 — 65[9]
18 — 74[2]
VI, 3 — 66[2]
6 — 241[5]
VII, 6, 5 — 241[6]
14 — 73[1]
18 — 247[1]
X, 3, 15 — 66[1]
XI, 2 — 65[6]
2, 5 — 67[2]
14 слл. — 241[6]
18, 18 — 65[7]
XII, 18 — 247[1]
21 — 74[2]
XV, 11 — 67[4]
11, 1 — 67[4]
XVI, 1, 3 — 66[3]
10, 1—5 — 17[5]
XVIII, 9 — 65[3]
Herodotus (Herod.)
V, 121 — 21[4]
124 — 21[4]
Hesiodus (Hes.)
Opera et dies (Op. et dies.)
465—471 — 15[3]
Homerus (Hom.)
Odyssea (Od.)
VII, 103—106 — 15[2]
XX, 105—110 — 15[2]
XXII, 721—723 — 15[2]
Horatius Flaccus, Quintus (Hor.)
Carmina (Carm.)
III, 5; 30 — 171[4]
Saturae (Sat.)
II, 1 — 265[1]
Livius Titus (Liv.)
Ab urbe condita
I, 3 — 256[1]
43, 10 — 17[4]
44 — 72[1]
II, 32 слл. — 247[5]
III, 50 слл. — 247[5]
XXV, 39 — 73[2]
XXIX, 25 — 65[8]
XXXIX, 6, 7 — 110[3]
8 слл. — 64[1]
41, 4 — 64[3]
44 — 65[2]
XLII, 27 — 65[4]
XLV, 4, 7 — 271[3]
Epitomae (Ep.)
58 — 36[3,4,5]
107 — 215[3], 244[1]
110 — 94[5], 266[5]
115 — 98[2,7]
Lucilius (Luc.)
Fragmenta (Fr.)
φp., 1337 слл. — 56[1]
Macrobius (Macr.)
Saturnalia (Sat.)
III, 14, 7 — 67[1]
Nicolaos Damascenus (Nic. Dam.)
28 — 272[2]
Orosiusm Paulus (Oros.)
Historiarum adversus paganos
V, 8 — 36[3]
Lucius Calpurnius Piso Frugi (Piso Frugi)
Fragmenta (Fr.)
fr., 38 — 110[5]
Plato
Politica (Pol.)
219e — 219[2]
410 — 186[2]
441 — 186[2]
Leges (Legg.)
III, 677e—680e — 114[3]
680e—681d — 114[4]
681d — 166[3]
681e—682e — 115[1]
683b — 168[2]

692—693 — 168[4]
693d — 168[3]
701a—702a — 115[1]
701e — 168[1,5]
Plautus (Plaut.)
Trinummus (Trin.)
622 слл. — 185[2]
642 слл. — 185[2,4]
Plinius Secundus, C. (Plin.)
Naturalis Historia (N. H.)
VII, 30, 112 — 67[4]
XXII, 13 — 241[1]
XXIX, 7, 11 — 67[5]
8, 1 — 67[6]
Plutarchus (Plut.)
Vitae parallelae
Brutus (Brut.)
29 — 215[1]
Caesar (Caes.)
5 — 244[5]
25—26 — 244[1]
28 — 215[1], 245[1,2]
37 — 94[1,6], 270[6]
48 — 95[1]
55 — 98[2]
56 — 266[5]
80—81 — 258[2]
Cato Maior
3 — 65[8]
5 — 65[5]
17 — 65[10]
18 — 65[2]
22 — 67[4]
23 — 65[1], 67[5]
Cato Minor (Cato Min.)
6 — 246[2]
26—29 — 244[6]—245
32 — 252[4]
42, 44 — 246[2]
45 — 215[1]
46 — 252[4]
47 — 245[1], 251[5]
65 слл. — 246[2]
Cicero (Cic.)
24 — 200[5]
35 — 215[3]
37 — 265[1]
38 — 267[1]
39 — 267[3]
43 — 200[2,4]
48 — 200[5]
Demosthenes (Dem.)
13 — 21[5]
24 — 21[5]
Caius Gracchus (C. Gr.)
5 — 250[5]
Pompeius (Pomp.)
5—10 — 259[3,4]
16 — 259[5]—260
54 — 215[1,5], 245[2]
55 — 245[2], 247[1]
58 — 244[4]
59 — 258[2]
67 — 252[4]
71 — 252[4]
Sulla
27 — 260[1]
Tiberius Gracchus (Ti. Gr.)
8, 17 — 37[4]
10 — 35[4], 35[5]
11 — 36[1]
12 — 36[2]
13 — 36[4]
Theseus (Thes.)
25 — 15[5]
Titus Flaminius (Tit.)
5 — 59[3]
10 — 59[6]
12 — 59[2]
Polybius (Polyb.)
I, 14, 58 — 72[3]
III, 8—9 — 72[3]
VI, 5—9 — 164[9]
10 — 166[9], 167[1]
11 — 167[2,3]
57 — 111[1]
57, 5 — 110[8]
XII, 25a; b; i — 144[2]
XXXI, 25 — 110[4]
25, 5 — 65[2]
XXXIII, fr. 2 — 67[4]
(?) Pseudo-Caesar (Ps.-Caes.)
Bellum Africanum (B. Afr.)
28 — 254[2]
Pseudo-Xenophontus (Ps.-Xen.)
Res publica Athenaeensis (Resp. Ath.)
1, 2 — 16[3]
Quintilianus (Quint.)
III, 1, 18 — 242[4]
Sallustius Crispus, Caius (Sall.)
De coniuratione Catilinae (Cat.)
1, 1 — 62[4]
2 — 253[2]
3 — 250[3]
4 — 250[3]
1—6 — 115[2]
2, 9 — 250[3]
3—4 — 243[3]
5, 1 — 121[3,4]

2 — 121[5]
4 — 121[6]
6 — 120[6], 122[1]
8 — 121[2]
9 — 122[2]
6—12 — 112[7]
6, 1—2 — 112[8]
3—5 — 112[9]
6—7 — 113[1]
7 — 155[4]
13 — 81[4], 261[1]
7 — 248[1]
7, 1 — 113[2]
1—7 — 184[2]
4—6 — 113[3]
8, 1 — 243[2]
9, 1 — 113[4], 117[2,3]
10 слл. — 110[6], 112[6]
10—11 — 251[4]
10, 1 — 113[5], 117[4]
1—2 — 155[4]
3 — 113[6,7]
4 — 117[6]
5 — 117[5]
6 — 113[8], 120[1]
11 — 246[1]
11,1 — 113[6], 117[7]
4 — 113[9,11], 120[5]
4—7 — 118[1]
5—7 — 113[10]
12, 1 — 118[2], 121[1]
1—2 — 113[12]
2 — 118[3], 121[1]
3—5 — 118[4]
13, 1—2 — 118[4]
2—3 — 113[13]
3 — 118[5]
14, 1 — 114[1], 123[1]
2—7 — 114[2]
16 ,4 — 120[6]
17, 3—4 — 123[2]
4 — 123[4]
4—5 — 123[5,6]
18, 4 — 123[8]
23, 1 — 123[9]
38, 1—4 — 155[1]
2—3 — 120[3]
39, 1—2 — 120[4]
50—52 — 140[1]
52, 22 — 250[3]
24 — 133[1]

«Epistulae duae ad Caesarem senem de re publica» — 79 — 108; 239 — 264.

Epistolae (Epp.)
I, 1 — 104[1], 105[1], 243[2], 244[3]
2 — 105[3,4]
3 — 105[2,5], 240[4]
3, 6 — 105[2]
4 — 101[3], 102[1], 105[2]
5 — 81[5]—82, 101[1], 103[1,2], 250[4]
5—6 — 240[4]
6 — 103[3], 105[2,6], 247[2]
7 — 101[2], 102[2], 116[3], 243[3], 248[4], 250[1,3]
8 — 103[4], 253[2], 256[4,5]
II, 1 — 257[2]
1, 2 — 88[1]
2 — 84[4], 88[2], 240[1,2]
3 — 84[3], 120[2], 134[4]
4 — 260[1]
4, 5—10 — 81[5]
5 — 80[9], 81[1,2], 83[1,2], 85[1,2], 86[2], 116[2], 151[1,2], 154[2,4] 155[4], 184[2], 245[3], 252[3] 262[2]
6 — 84[3]
6, 8, 11 — 84[6]
7 — 86[3], 87[1], 262[3], 263[1]
7—8 — 261[2]
8 — 84[1,5]
9 — 240[3], 256[4,5]
10 — 82[1], 83[3], 85[3,4], 86[2], 87[2], 149[3], 154[2], 253[2]
10—11 — 87[3]
11 — 83[4], 87[4], 120[2]
11, 3 — 120[2]
12 — 88[3],239[3]
13 — 89[1]
XXIII, 3 — 123[10]
LII, 24 — 123[11]

Historiae (Hist.)
1 — 243[2]
I, 6 — 136[1]
6—7 — 188[3]
7 — 125[4], 136[2]
fr. 7 — 248[2], 251[3]
11 — 110[6], 112[6], 125[5,6], 136[4,5], 137[1,2,3], 138[1],

189[1], 247[3,5]
11—13 — 188[3]
fr. 11 — 247[3,5]
12 — 138[2]
13 — 138[3]
16 — 138[4], 188[3]
55, 23 — 155[2]
77, 1—4 — 145[1,2,4]
12 — 145[6]
13 — 145[5]
17 — 145[3]
20—21 — 145[7,8]
III, — 248[3]
fr. 4, 6—20 — 248[3]
48, 6—7 — 150[2]
8 — 150[3]
11—12 — 150[4]
13 — 150[5]
14—17 — 150[6]
19—20 — 151[3]
Bellum Jugurthinum (Jug.)
1—2 — 253[2]
2 — 63[1]
3 — 133[2]
4 — 243[3]
4, 4—5 — 130[1]
5, 1—2 — 125[1], 156[1]
13, 5—6 — 148[1]
7—9 — 140[2]
14 — 140[3]
15, 1—2 — 140[4]
4—5 — 141[2]
5 — 141[3]
16, 1—2 — 141[4]
20,1 — 142[8]
24, 1—10 — 141[5]
25, 2—4 — 141[6]
27, 2 — 142[1], 146[1]
2—5 — 142[2]
3—4 — 148[2]
29, 1—7 — 142[3], 143[1]
30 — 147[3]
30, 1—3 — 148[3]
2—3 — 142[4]
31 — 148[4]
31, 1—5 — 126[1]
2—4 — 146[2]
6—9 — 126[2]
8 — 146[3]
10—16 — 126[3]
11—12 — 149[5], 248[3]
18—19 — 126[4]
20—22 — 127[1]
25—26 — 142[7]
32, 2—4 — 143[3]
33, 2—3 — 143[2]
34 — 147[3]
2 — 146[4]
35, 10 — 143[7]
36, 3—4 — 143[4]
37, 3 — 143[5]
38, 3, 7 — 143[6]
40 — 147[3]
1—4 — 149[1]
3 — 146[5]
3—5 — 147[1,2]
41 слл. — 110[6], 112[6], 247[3], 251[4], 254[1]
1—2 — 133[5]
2 — 154[2], 155[3]
2—3 — 130[2], 155[5]
3—4 — 133[3]
5—7 — 134[1,2,3,5]
10 — 134[6]
41—42 — 81[3,4], 132[1], 188[3]
42, 3—4 — 135[1]
4 — 125[3], 135[2]
43, 1 — 141[1]
44, 2 — 144[4]
63, 2—6 — 141[1]
64, 5 — 144[4]
65, 3 — 144[4]
73, 4—7 — 142[5]
6—7 — 149[2]
83, 1 — 144[4]
84, 3 — 142[6]
85, 4—9 — 127[3,4]
14—15 — 128[1,2]
15—16 — 128[3]
18—24 — 128[4]
25; 29—50 — 128[5]
37—43 — 129[1]
44—50 — 129[2]
106, 3 — 144[4]
Seneca L. Annaeus (Sen.)
Controversiae (Contr.)
I, 8 — 67[1]
Epistolae (Epp.)
114, 13 — 257[1]
Strabo
V, 3, 1 — 110[1]
Scholia Bobiensia in Orat. de aere allien. Mil. ed. Orelli., (Schol. Bob.)
275; 280 — 215[3,4]
Stobaeus Joannus, Florileg., 261—166[2]
Suetonius Tranquillus, Caius (Suet.)
Vita XII Caesarum
Augustus (Aug.)
10 — 272[2]
11, 21 — 171[5]
13 — 252[4]
34 — 45[4]

Divus Julius (Div. Jul.)
5, 6 — 244[5]
9 — 251[5]
14 слл. — 244[6] — 245
24—25 — 244[1]
26 — 215[3], 245[1]
28 — 244[4]
29—30 — 258[2]
38 — 95[2], 98[1,3,5], 259[1],
41 — 94[1,3], 96[2,3], 98[7], 99[3], 254[2]
42 — 94[6], 95[3], 99[2], 259[1], 270[6]
43 — 99[1]
78 — 265[1]
88 — 272[2]
Tacitus, P., Cornelius (Tac.)
Annales (Ann.)
1, 2 — 47[5]
8, 28 — 245[2]
IV, 16 — 95[4]
XI, 24 — 94[4]
XII, 60 — 241[1]
Dialogus de oratoribus (Dial.)
10 — 67[1]
18 — 257[1]
21 — 257[1]
Thucydides (Thuc.)
I, 22 — 144[1]
Valerius Maximus (Val. Max.)
II, 2, 2 — 59[4]
IV, 7, 1 — 38[1]
VI, 2, 8 — 259[3]
IX, 5, 3 — 245[2]
12 — 110[2]
Velleius Paterculus (Vell).
II, 1 — 110[7]
2 — 36[3,4]
47 — 215[3]
89 — 46[1], 47[4]
Vergilius Maro, Publius (Verg).
Aeneis (Aen.)
II, 269 — 171[3]